

A detailed still life painting. In the center, a bird's nest is built on a branch, filled with several small, round, light-colored eggs. The nest is surrounded by various fruits: a bunch of green grapes in the top left, several red apples on the right, and two bright red cherries hanging from a branch. The background is dark, making the vibrant colors of the fruit stand out. The overall style is realistic and detailed, typical of 17th-century still life painting.

Своими Словами

о маргинальности

2022

выпуск 3

18+

студенческий научный журнал

Картина на обложке

Джузеппе Арчимбольдо «Четыре сезона в одной голове» (1590)

Джузеппе Арчимбольдо (1526–1593) — итальянский художник эпохи маньеризма, для которой характерны такие черты художественной выразительности, как живописная вычурность, напряженность, преувеличенность, деформированность. Таковой была Европа XVI века — на смену уверенности и рациональности, присущим мировоззрению и живописной манере эпохи Ренессанса, пришли нестабильность и опасность. Исследователи связывают возникновение маньеризма с разграблением Рима, произошедшим в 1527 году¹.

Автор картины с нашей обложки, безусловно, выделяется из ряда художников периода своими уникальными портретами в коллажном стиле. Некоторым его работы могут показаться несерьезными, слишком странными, пугающими или отталкивающими. Однако, рассмотрев их более детально, мы заметим, с какой тонкостью Арчимбольдо вырисовывает фрукты и флору. Перед нами художник, повествующий о смене сезонов через плоды, которые они дают: яблоки, сливы, виноград и вишни. Работа довольно резко отличается, в первую очередь, за счет темных тонов и общей мрачной атмосферы: портреты Арчимбольдо полны света, игриво и радостно переливающегося на сочных фруктах и цветущих растениях. Однако художник пишет не только их: книги, свитки, загадочные образы также зачастую становятся частью его яркого и эклектичного живописного мира.

Исследователи полагают, что «Четыре сезона» суммируют всю карьеру художника². Картина была написана по заказу поэта и историка из итальянского города Мантуя — Грегорио Команини. В одном из опубликованных диалогов он так описывает особенную картину: «Очень узловатый ствол представляет грудь и голову с отверстиями рта и глаз и выступающей веткой носа; борода сделана из прядей мха, а несколько веток на лбу образуют рога. Этот пень, лишенный собственных листьев или плодов, олицетворяет зиму, которая сама по себе ничего не производит, но зависит от производства других времен года. Маленький цветок на его груди и на плечах символизирует весну; вязанки на ветках у ушей и плащ из плетеной соломы, покрывающий его плечи, и две вишни, свисающие с ветки, образующей его ухо, и два цветка на затылке символизируют лето. А две виноградины, свисающие с ветки, белая и красная, и несколько яблок, спрятанных среди вечнозеленого плюща, растущего из его головы, символизируют осень. На одной из ветвей посреди головы повреждена кора, и ее кусочки согнуты и отваливаются; на белом участке этой ветви написано “ARCIMBOLDUS P.”»³.

Анна Хачатурян

1. *VeryImportantLot.com*. URL: [link](#) (25.03.2022).

2. *National Gallery of Art, Washington*. URL: [link](#) (25.03.2022).

3. *Web Gallery of Art*. URL: [link](#) (25.03.2022).

Своими Словами

о маргинальности

Школа гуманитарных наук и искусств
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург

svoimi.slovami.journal@gmail.com
<https://spb.hse.ru/humart/svoimislovami/>

2022

выпуск 3

студенческий научный журнал

Редакторы

Анастасия Гревцова

adgrevtsova@edu.hse.ru

студентка бакалаврской программы *Филология НИУ ВШЭ СПб*
интересы: *эмпирическая лингвистика, прагматика, перевод и переводоведение*

Татьяна Кочнева

tany-kotschneva@mail.ru

студентка магистерской программы *Русская литература в кросс-культурной и интермедиаальной перспективах НИУ ВШЭ СПб*
интересы: *эго-документы, memory studies, советская субъективность*

Анна Кротова

avkrotova@edu.hse.ru

студентка магистерской программы *Глобальная и региональная история НИУ ВШЭ СПб*
интересы: *социальная история медицины, история родовспоможения, гендерная история*

Анастасия Попова

avporova_8@edu.hse.ru

студентка бакалаврской программы *Филология НИУ ВШЭ СПб*
интересы: *детская литература, онтолингвистика, творчество Оскара Уайльда*

Иван Сапогов

st-sapogov.i@rggu.ru

студент *Центра социальной антропологии РГГУ (Москва)*
интересы: *городская антропология, молодёжная культура, советская архитектура*

Ксения Севастьянова

sevastianovakseniya@mail.ru

студентка бакалаврской программы *Филология НИУ ВШЭ СПб*
интересы: *теория феминизма, современная поэзия, графические стихи, гендерные исследования*

Анна Смирнова

aosmirnova_1@edu.hse.ru

студентка магистерской программы *Глобальная и региональная история НИУ ВШЭ СПб*

интересы: *история науки, межвидовая этнография, death studies*

Елена Хохлова

elenahohlova705@gmail.com

студентка магистерской программы *Русская литература в кросс-культурной и интермедиаальной перспективах НИУ ВШЭ СПб*

интересы: *творчество Ф.М. Достоевского, теория адаптации, музеология, нарратология*

Юлия Чернышёва

yuliya.charnyshova@gmail.com

студентка магистерской программы *Русская литература в кросс-культурной и интермедиаальной перспективах НИУ ВШЭ СПб*

интересы: *англоязычная, русская и беларусская литература XX–XXI веков, философия XX века*

Выпускающий редактор

Ирина Капитонова

iakapitonova@edu.hse.ru

студентка магистерской программы *Русская литература*

в кросс-культурной и интермедиаальной перспективах НИУ ВШЭ СПб

интересы: *современная русская литература, memory studies*

Дизайнер

Александра Арсентьева

aiarsenteva@edu.hse.ru

студентка бакалаврской программы

Коммуникационный дизайн НИУ ВШЭ СПб

интересы: *теория и история шрифта, история искусств, типографика, дизайн коммуникаций*

*In your
own **Words***

about marginality

The School of Arts and Humanities
of the HSE University – St. Petersburg

svoimi.slovami.journal@gmail.com
<https://spb.hse.ru/humart/svoimislovami/>

Editors

Yuliya Charnyshova

yuliya.charnyshova@gmail.com

Student of Master's programme *Russian Literature in Cross-cultural and Intermedial Perspective* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *Anglophone and Slavic literatures of the 20th–21st centuries, 20th-century philosophy*

Anastasia Grevtsova

adgrevtsova@edu.hse.ru

Student of Bachelor's programme *Philology* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *empirical linguistics, pragmatics, translation and translation studies*

Elena Khokhlova

elenahohlova705@gmail.com

Student of Master's programme *Russian Literature in Cross-cultural and Intermedial Perspective* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *Dostoevsky's studies, theory of adaptation, museum studies, narrative studies*

Tatiana Kochneva

tany-kotschneva@mail.ru

Student of Master's programme *Russian Literature in Cross-cultural and Intermedial Perspective* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *ego-documents, memory studies, Soviet subjectivity*

Anna Krotova

avkrotova@edu.hse.ru

Student of Master's programme *Global and Regional History* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *social history of medicine, history of midwifery, gender history*

Anastasia Popova

avpopova_8@edu.hse.ru

Student of Bachelor's programme *Philology* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *children's literature, ontolinguistics, Oscar Wilde's works*

Ivan Sapogov

st-sapogov.i@rggu.ru

Student at *Centre for Social Anthropology* (Russian State University for the Humanities), Moscow

Research interests: *urban anthropology, Soviet studies, youth culture*

Kseniya Sevastianova

sevastianovakseniya@mail.ru

Student of Bachelor's programme *Philology* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *feminist theory, contemporary poetry, graphic poetry, gender studies*

Anna Smirnova

aosmirnova_1@edu.hse.ru

Student of Master's programme *Global and Regional History* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *history of science, multispecies ethnography, death studies*

Executive editor

Irina Kapitonova

iakapitonova@edu.hse.ru

Student of Master's programme *Russian Literature in Cross-cultural and Intermedial Perspectives* at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *modern Russian literature, memory studies*

Designer

Alexandra Arsenteva

aiarsenteva@edu.hse.ru

Student of Bachelor's programme

Communication Design at HSE University – St. Petersburg

Research interests: *design for educational projects, theory and history of type*

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции третьего выпуска 16–18

От наркотизма до менструации: маргинальные темы в историческом поле. Интервью с Павлом Васильевым 20–35

1 Изображая маргинальное

Вероника Никифорова. **Посмертные фотографии XIX века: к вопросу о методах изучения и понимания** 37–47

Ксения Беспалова. **Кино как «забота» о реальности: маргинальность в медленном кино** 49–67

Ирина Антушева, Ян Левченко. **Феномен порномема в современной интернет-культуре** 69–81

2 Не/вписываясь в рамки

Руфина Красильщикова. **Развлекательная периодика на границе достойного чтения: редактор журнала «Иллюстрация» В. Р. Зотов и его читатели** 83–100

Таисия Фролова. **Сюрреалистические черты драматургии Анны Ры Никоновой-Таршис** 102–115

Людмила Короткова. **Жизнь между: лиминальность и аморфность в художественном мире А.В. Иличевского** 117–131

Том Томас. **Эдвард Саид и границы.** Перевод Татьяны Гринюк 133–151

3 Археология сексуальности

Франциска Лоец. **Сексуализированное насилие в Европе 1520–1850 годов. К истории понятий «изнасилование» и «домогательство».** Перевод Елизаветы Гайдуковой 153–201

СОДЕРЖАНИЕ

Илья Малафей. Позиционируя асексуальную идентичность в Центральной и Восточной Европе: качественное исследование 203–219

4 Семинар «Маргинальные тексты»

Степан Попов. Несколько слов о семинаре «Маргинальные тексты» 221–223

«Как читать маргинальные тексты?» 224–243
Запись семинара от 20 марта 2021 года

Дневники Владимира Васильевича Щастного, 1970–1971 гг. По публикации Льва Боярского, подготовила Мелания Калинина 245–268

Степан Попов. Монстры и маргиналы письма, а также откуда они берутся — читая дневники Владимира Васильевича Щастного 269–281

5 Рецензии

Полина Гуккина. Дамы покидают обочину. Рецензия на книгу Натали Земон Дэвис «Дамы на обочине: Три женских портрета XVII века» 283–288

Алина Тайбулатова. Гендерный порядок и повседневность советских андеграундных художниц и художников. Рецензия на книгу Олеси Авраменко «Гендер в советском неофициальном искусстве» 290–296

6 Вместо заключения

Ксения Черкаева. Мощи советского императора 298–309

Авторам 311–316

TABLE OF CONTENTS

From the Editorial Board of the Third Issue	16–18
From Narcotism to Menstruation: Marginal Topics in the Historical Field. Interview with Pavel Vasilyev	20–35
1 Depicting the Marginal	
Veronika Nikiforova. Postmortem photograph in the 19th Century: The Question of Research Methods and Understanding	37–47
Kseniia Bespalova. “Taking Care” of Reality: Marginality in Slow Cinema	49–67
Irina Antusheva, Jan Levchenko. The Phenomenon of Porn Meme in Modern Internet Culture	69–81
2 In / Out of Frames	
Rufina Krasilshchikova. Entertaining periodicals on the margin of decent reading: V.R. Zotov publisher of the “Illyustratsiya. Vsemirnoye obozreniye” and his readers	83–100
Taisiia Frolova. The Features of Surrealism in the Plays by Anna Ry Nikonova-Tarshis	102–115
Lyudmila Korotkova. Life Between: Liminality and Amorphousness in the Artistic World of A.V. Ilichevsky	117–131
Tom Thomas. Edward Said and the Margins. Trans. from English by Tatiana Grinyuk	133–151
3 The Archeology of Sexuality	
Francisca Loetz. Sexualised Violence in Europe 1520–1850. On the Historicisation of “Rape” and “Abuse” Trans. from German by Elizaveta Gaydukova	153–201

TABLE OF CONTENTS

Ilya Malafei. Negotiating an Asexual Identity in Central and Eastern Europe: A Qualitative Study 203–219

4 “Marginal Texts” Seminar

Stepan Popov. Several words about “Marginal Texts” seminar 221–223

“How to read Marginal Texts?” 224–243
Script of the Seminar from March 20th, 2021

Vladimir Vasil’evich Schastny’s Diaries, 1970–1971. 245–268
First publ. by Lev Boiarskii. Prep. by Melania Kalinina

Stepan Popov. Monsters and marginals of literature and where they come from: reading the diaries of V.V. Schastny 269–281

5 Reviews

Polina Gukkina. Women Leaving the Margins. Review on Natalie Zemon Davis’ Book “Women on the Margins. Three Seventeenth-Century Lives” 283–288

Alina Taybulatova. Gender order and everyday life of Soviet underground artists. Review on Olesya Avramenko’s Book “Gender in Soviet Unofficial Art” 290–296

6 Instead of conclusion

Xenia Cherkaev. The Soviet Emperor’s Relics 298–309

For Authors 311–316

ОТ РЕДАКЦИИ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА

Год назад, когда редакция «Своими словами» впервые встрети­лась на общем зуме, у нас не было сомнений, что одной из пер­вых тем ближайших выпусков будет маргинальность. Редакторы-филологи хотели привлечь внимание к не входящим в канон текстам, историки — к выходящим за рамки привычного исследовательским направлениям. Вместе мы задавались вопросами: что значит «маргинальное» и как об этом писать?

Как исследователи, мы давно заметили значительный интерес к темам за пределами внимания обычной науки. Как редакторы, мы хотели на него указать. Но невозможно в рамках одного номера ответить на все вопросы, которые возникали у нас до и во время работы над материалами. Поэтому наша цель — показать проблемные поля новых исследований и начать дискуссию.

Мы делали этот выпуск, будучи очарованными меняющимися отношениями между двумя категориями — центрального и периферийного, — постоянными миграциями между ними, а также соответствующими режимами чтения, которые рождаются из непрерывного переключения внимания между сфокусированным и расфокусированным видением. Джейкоб Эдмунд описывает чтение романа как движение по темному пространству с тусклым фонариком в руках — так чувствовали себя и мы, составляя этот выпуск и стремясь максимально широко воспринять «маргинальное», но не потерять остроту и интенсивность зрения.

Задаваясь вопросом о том, что вытесняется сегодня на поля историко-культурных процессов, мы обнаружили, как конфликтны те отношения, в которых мы всегда находимся с маргинальностью, и как тяжело бывает порой не скатиться в самые банальные трактовки. Да, мы писали и о том, что, вероятно, приходит на ум первым: о смерти и сексе, о старении и лиминальности, — но в своем познании стремились также сохранить память о том, что не определяемо само по себе, так как оно пребывает на периферии прямо сейчас, незамеченное и пропущенное, аккумулирующее внутри себя ту силу, которую Тынянов назовет «текучим центром литературы». Мы раз за разом спрашивали себя: что нам, исследователям, с этим делать и как найти продуктивный режим работы с этим понятием, не превращая его в затасканную этикетку, синоним «не-мейнстримного» или «угнетенного».

Тем, кто ищет в выпуске идейную целостность и смысловую гомогенность, стоит выбрать другое чтение. Отказываясь от унификации и сглаживания, мы презентуем здесь те социокультурные сюжеты, которые не дают полной картины или исчерпывающего набора инструментов. Они дразнят и манят, но не даются в руки, а если их все же удастся поймать, они колют, задевают и надрезают плотную пленку нашего якобы зрения, якобы «понимания» устройства так называемых «гуманитарных наук». Под пленкой обнаруживается уязвимость всякого метода. В попытке уйти от (ничего не значащих больше) железобетонных и зубодробительных утверждений реальности, мы выступаем за разжижение знания, за случайные находки и интересные истории, которыми спешим поделиться с читателями.

На сегодняшний день «О маргинальности» — самый «толстый» среди всех выпусков журнала. Мы уверены, что каждый найдет в нем что-то увлекающее и полезное. По традиции, открывает номер интервью — редакторы журнала побеседовали с Павлом Васильевым, к.и.н., старшим преподавателем Департамента истории НИУ ВШЭ СПб, который рассказал о маргинальных темах в историческом поле и своих исследовательских интересах: от истории борьбы с наркотиками до истории менструального цикла в советской и постсоветской России, а также об опасностях, подстерегающих тех, кто занимается маргинальными направлениями.

На страницах журнала вы найдете статьи о посмертных фотографиях и медленном кино, о творчестве Александра Иличевского и Анны Ры Никоновой-Таршис, о порномемах и об издательских практиках середины XIX века, а также перевод статьи об интеллектуальном проекте Эдварда Саида. Мы также рады представить вниманию заинтересованного читателя блок материалов об исследованиях сексуальности: статью об асексуальной идентичности (на английском языке), а также впечатляющий перевод немецкоязычной работы о сексуализированном насилии в Европе XVI–XIX веков.

Наконец, специальный гость третьего выпуска — семинар «Маргинальные тексты», который с октября 2020 года проводят студенты магистерской программы «Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах». Участники семинара предложили опубликовать запись одной из встреч, на которой обсуждались теоретические рамки работы с неконвенциональной литературой. Второй материал семинара, вошедший в этот номер — дневник тюменского пенсионера В. Щастного, уникальный в стилистическом и содержательном отношении текст, дополненный эссе о стратегиях анализа маргинального письма.

Завершают выпуск две рецензии на книги из новой серии НЛО — «Гендерные исследования»: «Дамы на обочине» Натали Земон Дэвис и «Гендер в советском неофициальном искусстве» Олеси Авраменко. И last but not least — захватывающая история Ксении Черкаевой, старшего преподавателя Департамента истории НИУ ВШЭ СПб, о странствиях чучела пингвина, сыгравшего важную роль в практиках «обхождения» закона на советском и постсоветском пространстве.

Встреча с читателем для третьего выпуска оказалась как никогда долгожданной. Путь к публикации занял много времени и потребовал немало усилий — тем ценнее вклад каждого из тех, кто принимал участие в подготовке материалов этого номера. Мы хотим поблагодарить всех авторов, не сошедших с дистанции и терпеливо редактировавших свои тексты в течение последних месяцев; всех рецензентов, анонимно трудившихся над развитием исследовательских компетенций наших авторов; наших любимых переводчиц Елизавету Гайдукову и Татьяну Гринюк, а также Татьяну Перегудову, потративших немало сил, чтобы представить русскоязычному читателю две важных статьи о маргинальных исследованиях; и, конечно, команду верстальщиков: Екатерину Кисляк, Наталью Попову и Софью Ткачук, оказавших неоценимую помощь в подготовке номера. И наши самые искренние благодарности — Илье Александровичу Калинин и Маргарите Михайловне Дадыкиной.

*Анастасия Гревцова, Татьяна Кочнева,
Анна Кротова, Анастасия Попова,
Иван Сапогов, Ксения Севастьянова,
Анна Смирнова, Елена Хохлова,
Юлия Чернышёва*

ОТ НАРКОТИЗМА ДО МЕНСТРУАЦИИ: МАРГИНАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В ИСТОРИЧЕ- СКОМ ПОЛЕ

Материал
подготовили:

Анна Кротова
Анна Смирнова

Маргинальные исследования — какие они? Когда мы говорим о маргинальности, имеем ли мы в виду исключительно табуированные темы, или любое исследование может быть маргинальным? Вместе с Павлом Васильевым, кандидатом исторических наук и старшим преподавателем Департамента истории НИУ ВШЭ СПб, мы разбираемся в маргинальности, методах исторического исследования и советской истории менструации.



Павел Васильев — старший преподаватель Школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ СПб, кандидат исторических наук. Сфера научных интересов: советская история, гендерная история, история эмоций, история медицины, история преступности и права, история алкоголя и наркотиков, история Центральной и Восточной Европы в Новое и Новейшее время, история Санкт-Петербурга.

Анна Кротова: Расскажите немного о своем научном пути: где вы получали образование и о чем писали и пишете сейчас?

Павел Васильев: Я расскажу, наверно, издалека. Я поступил в 2004 году на исторический факультет СПбГУ на кафедру новейшей истории России. На втором курсе у меня появился интерес к маргинальному сюжету, связанному с употреблением и распространением наркотиков (или наркотизмом, как я часто пишу) в ранний советский период. Появился он довольно случайно: я на одном из курсов встретил информацию о том, что оказывается, в годы Гражданской войны в Петрограде был популярен кокаин. Для меня это было неким открытием, шоком в каком-то смысле, потому что это не укладывалось в привычные рамки историописания, которые мне были на тот момент известны. Поэтому показалось, что тема перспективная и можно ее дальше исследовать, чем я и занимаюсь на протяжении более чем 15 лет. Это, наверно, первая маргинальная тема, которая меня заинтересовала и с тех пор не отпускает. В той или иной степени мои интересы связаны с историей борьбы с наркотиками, с алкоголем, а в последнее время меня интересуют лекарственные средства в более широком понимании, так что тенденция продолжается. Я занимался сюжетами, которые связаны с историей наркотических средств, на специалитете в Петербурге, в СПбГУ, затем в магистратуре в Центрально-Европейском университете в Будапеште, и затем снова по возвращении в аспирантуру в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Моя кандидатская диссертация как раз посвящена истории борьбы с наркотиками на примере раннесоветской России в Петрограде-Ленинграде. Это достаточно маргинальный блок исследований, который связан с темой, табуированной и в современном общественно-политическом дискурсе, и в исторических исследованиях.

Второй блок, который я могу для себя выделить, тематически связан с моим постдоком в Центре по истории эмоций в Берлине, в рамках которого я занимался исследованием эмоций в раннесоветском уголовном праве. История эмоций — это тоже достаточно странное, маргинальное направление, которое появилось относительно недавно. И хотя сейчас оно модное и развивающееся, при этом оно как будто должно постоянно доказывать свое право на существование. Оно подвергается зачастую резкой, но опять же зачастую справедливой критике.

Третья маргинальная тема — это мой второй постдок, который я сделал в Академии Полонского в Иерусалиме с 2017 по 2019 год, до того как я попал в Питерскую Вышку. Он посвящен менструации

в Советском Союзе или, шире — истории менструального цикла в советской и постсоветской России. Здесь тоже есть маргинальная табуированная тематика, которая и сегодня достаточно редко обсуждается, хотя какие-то изменения в последнее время прослеживаются. Но что касается истории — существует очень мало исследований, которые фокусируются именно на менструации. Поэтому можно сказать, что многие темы, которые я исследую, достаточно маргинальны.

Анна Смирнова: Вы сами как-то объясняете себе, почему у вас именно такой набор тем, почему ваши исследования связаны с чем-то маргинальным? Почему не политическая история, не культуральная история, а такие темы, которые всегда на грани, в которых есть упоминание табу и прочих сложных вопросов?

П.В.: Отличный вопрос. Я считаю, что занимаюсь культуральной историей, и не отрицаю, что нахожусь под влиянием новой культуральной истории. Вопросы, которые я задаю своим источникам и текстам, это отражают.

Я думаю, что мне как исследователю немного комфортнее работать в ситуации, когда я чувствую себя первопроходцем, и эта ситуация возможна далеко не в каждом поле. Понятно, что есть весьма исследованные сюжеты, и что каждое новое поколение может поставить новые вопросы к источникам. Но источники все хорошо известны, и любое открытие совершает некий переворот. Мне в таком поле сложнее работать — мне интереснее открывать какие-то вещи, о которых никто ничего или почти ничего не знает. Мне, видимо, эвристически проще работать с такого рода вопросами.

Хотя здесь есть обратная сторона — высокий риск у такого рода проектов: риск, что результат будет нулевым, что не найдутся источники, что не получится применить те или иные подходы.

В этом плане может быть показательным пример с моим вторым постдоком, который я делал в Иерусалиме. Там был довольно интересный бывший директор Института Ван Лира — Габриэль Моцкин, достаточно эксцентричный человек. Он говорил, что он специально отбирал высокорисковые проекты, понимая, что проект может как выстрелить, так и совершенно не оправдаться. Но эта была его осознанная стратегия — он считал, что такие проекты заслуживают поддержки.

Мне кажется, что моя исследовательская интуиция помогала искать сюжеты, которые вызывают эффект: «Ничего себе! Это было в истории, и это было вот так!». Наверное, это рискованная стратегия, и я не всем ее могу посоветовать, она может не оправдаться.

А.К.: А легко ли пропускали такие темы для защиты ВКР в бакалавриате и магистратуре? Кажется, что на постдоке с этим было свободнее.

П.В.: Вы знаете, это удивительно, но мне часто этот вопрос задавали коллеги за границей — видимо, есть представление, что в России очень консервативный академический климат. Но во время обучения в СПбГУ и в Институте истории, честно говоря, у меня не было ни одной хоть сколько-нибудь серьезной конфронтации со старшими коллегами, которые сказали бы, что тема истории наркотиков несерьезна и не может быть принята к защите. Мне либо повезло, либо сообщество в то время (а это была середина 2000-х годов и начало 2010-х), было готово к такого рода темам. Может быть, еще не было пресловутой консервативной волны, но у меня не было никаких инцидентов.

А.С.: Это подводит нас к вопросу о существовании маргинальных сюжетов. Что мы под ними подразумеваем? Зачастую кажется, что внутри академии их вообще не может быть: мы как ученые смотрим на разные объекты и субъекты, и у нас к ним не может быть или, по крайней мере, не должно быть предвзятого отношения. Мы просто выбираем тему, исследуем ее, и, если она маргинальна в обществе или культуре, для нас она может такой и не быть. Как тогда применять эту категорию?

П.В.: Я с вами согласен. Но я боюсь, что на практике маргинальный статус темы в обществе выливается в маргинальный статус темы в академических исследованиях. По поводу менструации и менструального цикла — это хорошо заметно. Само табу на разговоры о менструации, которое существует во многих обществах (несмотря на некоторые изменения, скажем, в последние пять лет), влияет существенным образом на финансирование подобных проектов, и в конечном итоге на выбор исследовательской стратегии.

Нет смысла заниматься темами, которые плохо финансируются и которые никто не поддерживает. Может показаться, что здесь есть противоречие с тем, о чем только что спросила Анна, но вопрос о том, допускать ли тему до защиты на бакалавриате на втором курсе, имеет достаточно низкие ставки для принятия решения, деньги тут не выделяются. А финансирование проекта — это серьезные деньги. Если кажется, что тема маргинальна, не особо хочется вкладываться. Хочется вложиться во что-то прибыльное, то, что на слуху. Хотя все постепенно меняется, и есть определенный хайп. Может, и менструальный хайп тоже помогает исследованию менструации поднять некоторые деньги.

А.С.: Это интересно, потому что я сразу подумала про разницу между естественными науками и гуманитарными. Это предположение, конечно, но интересно, насколько финансируются подобные исследования в медицине и фармакологии, то есть естественных науках, в сравнении с гуманитарными? Можно ли говорить о каком-то глобальном влиянии патриархата в целом: мы не говорим об этом в контексте культуры, но какая-то помощь женщинам в этом вопросе оказывается с более материальной точки зрения — лекарствами и гигиеническими средствами.

П.В.: Я с вами согласен. Медикализация в теме менструального цикла — это единственная рамка, сквозь которую мы вообще способны о теме говорить. Это меняется, но достаточно медленно, и это неоднозначный и неоднонаправленный процесс — это зигзаги публичной политики и кампаний.

А.К.: Мне кажется, самая большая разница в этих исследованиях — в их характере. Гуманитарные исследования более фундаментальные, а исследования менструации с точки зрения медицины имеют более прикладной характер. Возможно, такие исследования и финансируются более охотно. Тогда получается, что маргинальность состоит в том, что нам нужно доказать, почему нам стоит это изучать.

П.В.: Да, это стратегия, которой многие исследователи и исследовательницы придерживаются — как вы и сказали, они пытаются доказать свою полезность (хотя не всем нравится логика, что надо доказывать свою практическую полезность, иначе гуманитарное знание не заслуживает финансирования или уважения). У меня есть коллега из Шотландии, Хилари Критчли. Она занимается гинекологией, работает в этой медицинской рамке, и она тоже считает, что существование менструального табу влияет на финансирование медицинских исследований в том числе. Так что, возможно, не только в гуманитарных науках такая ситуация.

А.С.: Получается, что мы имеем право говорить о том, что маргинальность существует внутри научного поля. Некоторые темы могут быть считаны как маргинальные. Но у меня есть предположение, или даже предубеждение о том, что если бы что-то было маргинальным — это бы запретили. Насколько я знаю, такие кейсы есть — например, когда студенты пытаются в своем исследовании изучать запрещенные организации, а их не допускают к защите (это пример из опыта знакомых).

П.В.: Да, понятно, что есть требования законодательства, которые, возможно, выливаются в такие ситуации — темы выпадают из поля зрения исследователей вообще. Но если задуматься,

то это опасно. Тогда, даже если мы понимаем, что какая-то организация или феномен однозначно деструктивны, получается, что с практической точки зрения мы не знаем, что это за организация, сколько в ней участников, какая у нее идеология. И как без этого, условно, бороться с ней — неясно. Либо нужно все это делегировать специализированным учреждениям (и, может, так и происходит) — тогда это другой разговор.

А.С.: Следующий вопрос будет тоже касаться науки, но скорее в контексте образования и студенческого восприятия. Вы недавно упоминали интересный кейс, который произошел с несколькими курсами, которые вы ведете — вы могли бы рассказать о нем подробнее для наших читателей? Он был связан, насколько я помню, с текстами, которые вы давали для прочтения к семинару, и реакцией на них.

П.В.: Этот кейс воплощает некое противоречие. С одной стороны — устойчивый интерес к маргинальным темам, который я наблюдаю, и, с другой стороны, ощущение, что во многих курсах чувствительные темы (связанные с насилием или сексуальностью) становятся неприемлемыми. Понятно, что это связано с изменениями в культуре в целом и в культуре восприятия — ср. дискуссии о новой этике. Но для меня стало интересным открытием, что появляются люди, которые занимаются историей профессионально или изучают ее, но при этом не готовы соприкоснуться с ее темными сторонами. Здесь у меня нет однозначного ответа. **Когда мы говорим: «Мы не будем читать тексты про сексуальное насилие»; «мы не будем читать про убийства в такие-то годы» или «мы не будем читать про скотобойню и убийства животных», — насколько мы готовы сделать допущение, что все эти темные стороны исторического процесса должны изучаться только по желанию?** Для меня это сложно представить, ведь тогда получается, что многие важные трагические события истории станут опциональными для изучения, в том числе и для тех, кто профессионально собирается заниматься историей. Наверно, какие-то пути разрешения есть, но я пока не вполне понимаю, как это сделать. Может, через какую-то систему предупреждений (trigger warning).

А.К.: А можете рассказать, что это были за тексты?

П.В.: Первый текст был на курсе по гендерной истории, и он содержал в себе в том числе описание инцеста. Было предупреждение о том, что текст содержит некоторый потенциально травмирующий контент, но в результате большинство просто отказались его читать, и пришлось заменить его на другой. Может, это было не лучшим выходом из ситуации, таким ad hoc решением, которое не вызвало полного удовлетворения. А второй текст, и его

обсуждение было раньше, еще в 2020 году, на семинаре по истории для экономистов. Текст был по истории животных, и у ребят с первого курса, вероятно, было представление о том, что история животных — это что-то такое милое, плюшевое, про кошечек и зайчиков. А мы читали про скотобойню, и это глубоко их шокировало. Тогда я еще не давал предупреждений, и это была моя ошибка, которую я усвоил. Хотя, как видно из первого примера, предупреждение — это не всегда эффективное средство.

А.С.: Интересно, как в таком случае изучать историю, ведь она вся в той или иной степени наполнена страшными и кровавыми событиями — войнами, болезнями и жестокостью. Если исследователь находится в историческом поле, он знает, что существовали казни, пытки, эпидемии, неравенство и не всегда было так хорошо, как сейчас. Как в этом случае проходить блокаду Ленинграда, Холокост, Первую и Вторую мировые — весь XX век! Каким образом обсуждать эти темы? Или же людей в большей степени задевают подробности и детальное описание — погружение в глубины контекста, а не просто перечисления количества погибших? Насколько существует граница между неэмоциональным и эмоциональным восприятием травмирующих тем?

П.В.: Может быть, более безопасная стратегия заключается в том, чтобы давать максимально отвлеченные статистические данные, которые не пробуждают в человеке висцеральный ужас. Но вопрос, который у меня возникает: насколько много мы узнаем из таких текстов, в которых мы просто читаем столбцы, где перечислены, например, сотни или сотни тысяч погибших, и они для нас сливаются? В этом плане человеческие истории, связанные в том числе с эмоциями, телесностью и насилием, больше нам рассказывают о непосредственном опыте. Это дискуссионный момент — я знаю, что у коллег есть разные подходы, и не все смотрят позитивно на саму категорию опыта и на то, как можно ее использовать в написании истории. Но мне кажется, что это важный вопрос, и поэтому я зачастую предлагаю тексты, которые направлены на то, чтобы достучаться до человеческого (или нечеловеческого, как в случае с животными) опыта. Но у этого есть обратная сторона, которую я открыл для себя.

А.К.: Маргинальность — это еще и разговор про границы, про объекты и субъекты, которых не видно в привычных рамках, в источниках. Можно ли сказать, что, изучая маргинальность, мы учимся читать между строк — видеть тех, о ком не пишут напрямую, но кто точно существует на периферии и все равно имеет влияние на исторический процесс? Если говорить проще, то как делаются маргинальные исследования?

П.В.: Мне кажется, что в целом это классический вопрос социальной истории, или, скорее, критиков социальной истории, который задавался в 1960-е годы в Америке: «Замечательно изучать историю женщин или историю афроамериканцев, но где вы найдете источники о них?» Мне кажется, что социальная история продемонстрировала, что такие источники существуют. Другое дело, что нужно быть более изобретательными. В социальной истории довольно часто использовались судебные документы, эго-документы, создавались архивы интервью устной истории. И я призываю действовать так же — не ограничиваться классическим набором источников, а мыслить шире, возможно, создавать самостоятельно источники (например, интервью). И таким образом проливать свет на жизнь людей, которые, как вы сказали, находятся между строк.

Конечно, не все эти документы будут в полном смысле слова документами от первого лица — там будут различные ограничения. Судебные или медицинские записи иногда представляют право прямой речи историческим субъектам, которые находились в тени, но это все равно опосредованная речь. В контексте полицейского участка или больницы речь остается не совсем свободной, и это надо понимать.

А.С.: Я бы тогда хотела перейти, если можно так сказать, к настоящей маргинальности, которая может существовать в научном поле. Можно выдвинуть предположение о том, что если даже в науке нет маргинальных тем, то точно есть маргинальные личности и поступки, например, плагиат. Это в большей степени вопрос личного опыта. Сталкивались ли вы с подобным? Как внутри сообщества происходит взаимодействие с подобными кейсами?

П.В.: На самом деле, у меня не так много было негативного опыта. Может, это и к лучшему. Понятно, что есть какие-то персонажи, которые считаются несколько необычными, может, их идеи не всегда приняты. Их могут относить не к науке, а, скажем, к паранауке — та же самая Новая хронология. Здесь есть хороший вопрос: если направление исследования настолько популярно, чуть ли не популярнее ортодоксального варианта, то может ли оно быть маргинальным? Я не знаю однозначного ответа.

Мне в данном контексте скорее вспомнился тот бывший директор Института Ван Лира, Габриэль Моцкин, который отбирал проекты весьма стратегически. Помимо проектов, которые связаны с табуированными темами (типа истории менструации), он считал важным финансировать проекты с малоизученными эпохами и регионами. Какой-нибудь Сасанидский Иран, который, может, никто не изучает. Но если вдруг появлялся проект, посвященный этому региону, то он его одобрял.

В этой стратегии, мне кажется, тоже есть какая-то маргинальность. Здесь речь идет не о нечестных людях, которые обманывают и выдвигают лжетеории. Это некая маргинальность, когда человек занимается сюжетами, которые никого особо не интересуют, которые при этом маргинальны в общественно-политическом дискурсе. Это может быть какой-то регион, который не особо интересен — никаких войн там не идет, ресурсов там нет, и поэтому он неинтересен. Или удаленными хронологически — какая-нибудь древняя история. И здесь появляется достаточно интересный вопрос, на который нет однозначного ответа. Получается, что человек занимается темами, которые не востребованы, и в современной логике не должен получать финансирование. Но тогда мы теряем большой пласт гуманитарного знания, который, может быть, окажется востребованным, в том числе и в практическом плане, но гораздо позже. Может, там в будущем найдут какой-то ресурс. В этом плане очень показательным является пример Арктики — и Россия, и другие страны заинтересованы в развитии данного региона, поэтому арктические исследования приобретают актуальность (передаю привет коллегам, которые занимаются данным направлением!).

А.К.: Можем тогда перейти к следующему вопросу, касающемуся вашего проекта «Устная и культуральная история менструации в советской и постсоветской России». Как проводилось исследование? Как студенты вам помогли, и какое у них осталось впечатление?

П.В.: Я проект начал еще в Ван Лире во время пост-дока. Я изначально хотел писать скорее о раннесоветском периоде, опираться на медицинские источники и эго-документы, но постепенно мне стал интересен другой период, особенно время перехода от позднесоветского к постсоветскому, поэтому я решил собирать массив интервью устной истории. Так совпало, что в этот момент я пришел в Вышку и подал проект на Ярмарку проектов. За два года в общей сложности мы собрали порядка восьмидесяти интервью. Интервью разные, какие-то достаточно короткие, какие-то длились больше двух часов и не хотели заканчиваться. Они собраны и мной, и студентами с разных образовательных программ из разных кампусов. И сейчас у нас есть комплекс документов, который я считаю в некоторой степени уникальным и который надеюсь использовать в дальнейших исследованиях. Хотелось бы, чтобы в итоге он нашел какой-то формальный институциональный дом, и я над этим работаю.

Ребята должны были после знакомства с исследовательской литературой, основными принципами устной истории и уже существующим корпусом интервью, провести и расшифровать порядка двух

интервью, создать определенные теги и выделить ключевые моменты, которые собеседницы в интервью указывали. Я считаю, что работа была сделана хорошо.

Было много студенток, которые восприняли ее с энтузиазмом и вдохновились тематикой в силу своей активистской или феминистской деятельности. Как я сказал, в последние пять лет тема менструации довольно часто обсуждается. И в Москве, и в Петербурге, и в кампусах было довольно много студенток, которые были, что называется, «в теме» и были заинтересованы. Не только историки, но и другие гуманитарные и социальные специальности.

А.К.: А насколько сложно было искать людей, которые готовы были дать вам интервью?

П.В.: Я бы не сказал, что это было очень сложно. Изначально я был готов к тому, что никто не согласится мне дать интервью. Как я говорил выше, высокорискованные проекты — это high risk, high reward. На самом деле ситуация вышла неплохая. Начал я по методу снежного кома, когда ты в Фейсбуке¹ и в других социальных сетях пишешь объявление и по нему откликаются люди, друзья и друзья друзей через репосты. Так пришло около пятидесяти человек. А дальше сарафанное радио, и набралось еще больше. В этом смысле внедрение проекта с помощью Ярмарки проектов в Вышке было полезным, потому что многие ребята приехали из разных городов (и даже разных стран постсоветского пространства), и их контакты довольно обширны. Это помогло расширить географическую выборку, чтобы не ограничиваться интервью, взятыми только у жительниц Москвы и Ленинграда.

А.С.: А есть, может быть, пара основных выводов, которые вы сумели сделать на основе этих интервью? Что вы нашли? Какие в них основные дискурсы и основная риторика? Можем ли мы погрузиться сейчас в этот проект, если мы в нем не участвовали?

П.В.: Скоро будет публикация, я надеюсь, что выйдет статья в первой половине 2022 года. Она в процессе, поэтому я осторожно ее анонсирую. Она написана мной в соавторстве с Александрой Коноваловой — студенткой из Московского кампуса, она участвовала в проекте все два года. В этой статье мы смотрим на эволюцию менструальных практик с особым вниманием к эпохе перехода из советского в постсоветское состояние. И здесь некоторые выводы для тех, кто в тот период жил, могут показаться очевидными:

1. Деятельность организации Meta Platforms Inc и ее продукта Facebook была запрещена в Российской Федерации значительно позже того момента, когда состоялась эта беседа.

Советский Союз был в каком-то плане уникален в силу того, что, будучи достаточно развитым индустриальным государством, не имел налаженного производства прокладок или тампонов. Не только на западе, но и в Китае, например, была эпоха 1920-х и 1930-х годов, когда появляются первые прокладки и тампоны в широкой продаже, в то время как в СССР только в конце 1980-х годов появляются эти продукты, закупувавшиеся из-за рубежа в рамках широкой экспансии товаров массового потребления. В статье мы пытаемся проследить, каким образом происходит эта перенастройка на новый постсоветский лад. Мы видим, что прокладки и тампоны были восприняты с большой эйфорией, хотя существовали и различные опасения по поводу их использования, которые отчасти сохраняются до сегодняшнего дня. Также существовали и финансовые ограничения — не будем забывать, что 1990-е годы — это период серьезного экономического кризиса, и товары, которые были способны обеспечить постсоветским женщинам мобильность и эффективность в любой день месяца, были доступны не каждой женщине, особенно в регионах.

А.С.: Это очень интересно, спасибо! Вы упомянули, что в исследованиях менструации часто бывает феминистский подтекст. Можно ли в таком случае сказать, что за каждой маргинальной темой стоит социальная или гражданская позиция? Желание своим исследованием поднять важный вопрос, дать ответы, в которых нуждается современное общество? Можно ли назвать это активизмом?

П.В.: Это сложный вопрос. Не все соглашались, когда исследования называют активистскими, некоторые стараются провести грань между активизмом и исследованием. По теме исследования менструации я работаю с коллегами из Британии, и там это довольно активно обсуждаемая тема. Мне кажется, что не всегда маргинальные исследования (если мы используем этот термин) являются активистскими, но, наверно, они хотя бы базируются на признании ценности той или иной табуированной темы. То есть утверждают, что имеет смысл говорить о менструации, имеет смысл говорить об эмоциях, о наркотиках, что это важные темы, заслуживающие разговора, а не просто какие-то бессмыслицы.

А.С.: Мы уже немного говорили об истории эмоций, поэтому сейчас хочется поговорить более направленно. Мне кажется, что она тоже во многом относится к практике «чтения между строк» и попытке найти что-то скрытое от глаз, интимное, при этом очевидно существующее в социальном поле. Как вообще происходит работа в исследовании истории эмоций? Можно ли сказать, что исследователь берет на себя ответственность говорить

о том, как чувствовали себя люди из других эпох — трактовать их эмоции и чувства?

П.В.: Отличный вопрос! В целом есть разные позиции и внутри самой истории. Есть жесткие критики, которые говорят о том, что мы не можем сказать ничего осмысленного об эмоциональном мире людей прошлого (опять же, потому что нет документов). Мне кажется, что такая жесткая позиция просто не обусловлена практикой, потому что мы видим, что документы по меньшей мере свидетельствуют нам о тех нарративах, которые присутствовали в отношении чувств и эмоций в ту или иную эпоху. Мы можем узнать, как люди прошлого говорили о своих эмоциях и чувствах. Это доступно в целом для практически любой эпохи, и история эмоций за последние 20 лет показала это на самом разном историческом материале. Другой вопрос, насколько мы можем проникнуть непосредственно в человеческий опыт и узнать, что эти люди «на самом деле» чувствовали. Здесь вопрос более дискуссионный, я не готов занимать какую-либо сторону, есть аргументы в пользу более мягкой позиции (когда мы говорим, что нам доступны только дискурсы), и есть аргументы в пользу более радикальной версии (когда мы претендуем на то, чтобы проникнуть вглубь человеческого опыта). Я могу порекомендовать недавнюю статью известного историка эмоций Яна Плампера в журнале American Historical Review про российскую революцию 1917 года как про чувственный опыт в плане запахов, звуков и прочего. Мне кажется, что он поднимает интересные методологические вопросы и достаточно удачно использует свои источники.

В подвопросе вы спрашивали, берет ли исследователь на себя ответственность за трактовку. В каком-то смысле да, это неизбежно, не только в поле истории эмоций. Мы трактуем слова, высказывания, пытаемся интерпретировать знаки вслед за каким-то из поворотов (семиотическим, лингвистическим, антропологическим, постмодернистским, культуральным...). Поэтому мы всегда берем на себя ответственность и иногда ошибаемся, а иногда нет.

А.С.: Я хочу сравнить две ваши статьи: статью 2018 года «Секс, наркотики и революционная справедливость» и недавнюю статью о рейв-культуре и телесности, которую вы презентовали в том числе на семинаре «Маргинальное в гуманитарных науках»². Несмотря на то, что они крайне отличаются

2. «Маргинальное в гуманитарных науках» — ежегодный семинар СНО Департамента истории НИУ ВШЭ СПб, посвященный изучению и проблематике различных исторических, антропологических и культурологических вопросов, которые касаются маргинальных тем — насилия, сексуальности, преступности и всего, что остается и оставалось в истории за границами нормального и обыденного.

друг от друга, два объекта исследования повторяются — это наркотики и эмоции. В революционном Петрограде люди прибегали к использованию наркотических средств, как вы пишете, исходя из висцеральных, то есть телесных, эмоций и переживаний. Эти персонажи были маргиналами в какой-то степени, при этом их защита в суде опиралась на их эмоции, они надеялись не на наказание, а на помощь. В кейсе с рейвами в 1990-х годах, рейверы уже не являются очевидными маргиналами — это люди, вероятно ведущие обычный образ жизни? Как концептуализируется их употребление, как оно уходит (и уходит ли) из категории маргинального? Как оно отрефлексовано ими несколько десятилетий спустя? Каково наказание за подобные практики?

П.В.: Я сразу скажу, что я не на все вопросы смогу пока что ответить. Как меняется восприятие, это очень интересный вопрос. Мы с моей соавторкой Викторией Винокуровой пытались найти людей, которые ходили на рейвы в 1990-е, и поговорить с ними сегодня. Но это оказалось достаточно сложно. Когда потенциальные контакты понимали, что мы хотели спросить прежде всего про употребление наркотических веществ и наркоконтроль, то сразу исчезали. Мы рассчитываем в этом направлении продвигаться: из потенциально интересных источников это могут быть интернет-форумы, а также различные видеоисточники, которые доступны в интернете (например, документальные фильмы). Там, как мне и Виктории кажется, можно наблюдать как меняется восприятие рейвов в 1990-е, 2000-е, 2010-е и даже 2020-е годы. В целом я тоже не до конца уверен, что рейв в 1990-е — это нормальное или догмоцентричное место. В социальном и культурном ландшафте Петербурга эта практика остается довольно непривычной — нельзя сказать, что она стала мейнстримной. Другое дело, может быть, что конкретные вещества, которые употреблялись тогда, действительно как бы оказывались в рамках более уважаемой культуры рейва, чем если мы говорим о публичных домах Петрограда периода Гражданской войны, где тоже употребляются наркотики.

Сейчас я все больше думаю, что, может, и 1990-е годы порождали маргиналов (в социально-экономическом плане), в том числе тех, кто употреблял наркотики, и они тоже заслуживают того, чтобы их истории были рассказаны. И это может быть задачей для будущих поколений. Я знаю, что коллега Петр Мейлахс такой проект затевал — «Устная история употребления наркотиков в России в 1990-е годы». Но, насколько я понимаю, в этой теме еще можно много исследовать.

А.С.: Я бы хотела еще спросить о том, каково изучать тему, связанную с незаконной деятельностью? У преступлений есть срок давности, могут ли информанты бояться каких-то последствий?

П.В.: Да, это может даже не быть напрямую связано с употреблением наркотиков. Я думаю, что люди в основном переживают страхи. Они не столько боятся уголовного преследования, сколько обладают уже другим миром — работа, семья, и далеко не всем хочется раскрывать какую-то свою персону, которая в 1990-е ночи напролет танцевала на рейвах и употребляла определенные наркотики. Это, может быть, не самое желанное воспоминание для тех, кто изменил свой социальный статус. Но и юридические ограничения есть, и для многих людей это будет важный фактор — мы это можем только уважать и не можем заставлять рассказывать.

А.К.: Подходя к концу, хочется спросить про современную и, к сожалению, все еще актуальную тему — эпидемию COVID-19. Вы вели у нас курс по истории эпидемий, мы много говорили о болезнях, обществе и маргинальности в том числе. Мне кажется, до пандемии сама история эпидемий немного попадала в поле маргинального, каким бы оно ни было. Можем ли мы говорить, что эпидемии выходят из нее? Если смотреть на современную ситуацию — что сейчас относится к категории маргинального? Насколько она вообще стала подвижной в течение эпидемии?

П.В.: По истории эпидемий есть важный момент, который стоит подчеркнуть. Когда-то женская или гендерная история, экологическая история тоже были чем-то экзотичным и, может даже, маргинальным. Сейчас все это, по крайней мере в западном каноне, находится в мейнстриме и в отдельных странах даже относится к числу наиболее востребованных тем. И мы понимаем, что тематика неравенства или глобального потепления будет все более востребована в XXI веке. Поэтому, конечно, маргинальное исследование может в определенный момент выстрелить, оказаться очень полезным.

Вот в качестве примера мем, который я очень люблю — есть такой известный автор Ной Юваль Харари, и у него в книгах встречаются частые утверждения, что человечество в начале XXI века победило главные свои бичи, и в том числе болезни³. А на самом деле мы видим, что не может быть ничего дальше от правды. Получается, что мы в середине 2010-х годов были уверены, что мы все победили, а

3. К сожалению, мы не можем опубликовать мем в журнале, не нарушив авторского права, поэтому прибегнем к словесному описанию. Мем представляет собой два изображения с подписями. Слева: фотография Н.Ю. Харари и подпись «Over the past century, humankind has managed to do the impossible and rein in famine, plague and war». Справа: изображение коронавируса и подпись «Hold my beer».

потом внезапно некая маргинальная область — история эпидемий, которой занимались, грубо говоря, два-три историка, оказывается востребованной.

Поэтому мы не знаем, что может выстрелить. Если будет какая-то новая катастрофа или новый вызов, с которым человечеству придется столкнуться, то ранее маргинальные области исследований (например, история роботов) станут востребованными в практическом плане.

А.С.: А если говорить о самой эпидемии в контексте того, о чем мы говорили на курсе, есть ли у вас какие-то интересные замечания? Мы уже в течение практически двух лет наблюдаем пандемию, может, у вас есть какие-то выводы?

П.В.: Со своей стороны я могу сказать, что из-за моего давнего интереса к истории медицины у меня была абсолютная уверенность в том, что Харари называет победой над болезнью. Я думаю, что во многом это было продиктовано опытом относительно легкой победы над эпидемией лихорадки Эбола в 2014–2015 гг. (хотя стоит отметить, что она хоть и была относительно локальным заболеванием, но при этом привнесла огромные разрушения, прежде всего, в Западной Африке). И мне кажется, что пандемия COVID-19 обнажила наши (в том числе мои) несколько наивные представления о современной западной медицине, прогрессе и безопасности. Ну и, конечно, глобальное переформатирование — то, что мы с вами говорим в таком цифровом формате⁴, это масштабный сдвиг, который я не мог полностью предвидеть. Для меня это два главных вывода, но их, конечно, больше.

А.К.: Последний вопрос будет про вашу актуальную деятельность. Стоит ли студентам в следующие несколько лет ждать каких-то интересных проектов? Есть ли у вас наработки какой-то маргинальной темы, которую никто не изучал?

П.В.: У меня есть список идей того, что можно в будущем исследовать, и я стараюсь этим списком со студентами делиться. Как я сказал, я в последнее время много занимаюсь проблематикой лекарственных средств. Не уверен, насколько это маргинально, потому что лекарства не попадают ни под какое табу. Как исследовать лекарства с точки зрения экономической или технологической истории тоже понятно, здесь нет какой-то методологической новации. Хотя, если мы говорим уже о потреблении лекарств и о том, как это влияет на человеческие тела, тут есть интересный выход на историю тела,

4. Интервью проводилось в MS Teams. Из-за плохой связи не было возможности включить камеры, что придало определенный антураж беседе о маргинальном.

историю эмоций и историю человеческого опыта — темы, которые мы уже обсуждали. Мне хотелось бы, с одной стороны, в ближайшее время заниматься исследованиями, связанными с историей лекарств в советском контексте. С другой стороны, мне интересны сюжеты, которые связаны с гендерной историей (прежде всего военные и спортивные институты в гендерном измерении), и я пытаюсь в этом направлении тоже какую-то исследовательскую повестку придумать. Но это все пока в процессе формулирования. Так что оставайтесь на связи. Может, в следующем году на маргинальном семинаре будет что-то новое.

1

ИЗОБРАЖАЮЩАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ

ПОСМЕРТНЫЕ ФОТОГРАФИИ XIX ВЕКА: К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ИЗУЧЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ

**Вероника
Никифорова**

УДК: 76.03.

Ключевые слова:
история фотографии, смерть,
Викторианская эпоха,
фотографии post-mortem.

Аннотация

Автор статьи предлагает возможные способы изучения и интерпретации посмертных викторианских фотографий, основываясь на теориях Сьюзен Зонтаг, Розалинд Краусс и Ролана Барта. Особое внимание уделяется истории восприятия и производства посмертных фотографий в Викторианскую эпоху и проблемам ее изучения в наши дни. В результате выявляются основные трудности изучения посмертных фотографий и предлагается оптика восприятия этого непростого объекта исследования.

Postmortem photography in the 19th Century: The Question of Research Methods and Understanding

*Veronika
Nikiforova*

*Keywords:
history of photography,
death, Victorian era,
postmortem photography.*

Abstract

In this paper, the author aims to highlight possible ways of studying and interpreting postmortem Victorian photographs, referring to the theories of Susan Sontag, Rosalind Krauss, and Roland Barthes. Particular attention is paid to the history of perception and production of postmortem photographs in the Victorian era, and to the problems of studying them today. As a result, the main difficulties of studying posthumous photographs are revealed, and a new research perspective of the perception of this difficult subject is proposed.

В 1840-х годах новая технология фотографии нашла коммерческое и практическое применение в портрете. Фотография начала механизировать давно установившуюся и процветающую торговлю изображениями ручной работы. Для этого фотографы использовали набор методик и практик, которые веками разрабатывались художниками, работающими с маслом на холсте: построение композиции, работа со светотенью и др. Посмертный портрет был одной из устоявшихся художественных практик, унаследованных фотографами от своих предшественников. Викторианская Англия традиционно считается страной, в которой посмертный жанр расцвел в полную силу на заре истории фотографии. Посмертная фотография была подвидом дагерротипа, дополнением к популярному в викторианском мире фотографическому процессу. В Викторианскую эпоху копии посмертных снимков распространялись среди семьи и друзей. Таким образом их можно было сохранить во многих семейных альбомах, фотографии вешали на стены в гостиных и спальнях [Linkman 2011: 20–21].

Однако у посмертной викторианской фотографии недолгая история существования: к концу девятнадцатого века, в первую очередь из-за изменения взглядов общества на смерть, эта практика прекратилась. В наши дни практика создания посмертных фотографий не распространена, однако в Викторианскую эпоху (1837–1901 гг.) такие фотографии были доступным и популярным способом запечатлеть умершего родственника. Из-за высокой детской смертности в этот период было создано большое количество посмертных детских фотографий. Историк Одри Линкман писала, что в наши дни очень трудно оценить степень распространенности этой практики: за время своих исследований ей удалось найти около двухсот-трехсот посмертных викторианских фотографий, в то время как число обнаруженных обычных портретов живых превысило сотню тысяч [Linkman 2006: 311]. Однако автор полагает, что многие посмертные фотографии были уничтожены с течением времени: люди, которые дорожили этими снимками, погибли, и новые наследники не захотели иметь с такими снимками ничего общего. Фундаментальные изменения в социальном и культурном отношении к смерти или даже глубокие различия в отношении людей в одной семье могли привести к уничтожению большого количества подобных портретов.

Трудность изучения посмертных фотографий заключается в том, что большинство сохранившихся посмертных портретов поступают в архив в отрыве от своего первоначального контекста и лишены какой-либо документации или информации, которые могли бы пролить свет на их происхождение, цель или последующую судьбу. Джей

Руби, американский антрополог, первым опровергнул представление о том, что посмертные фотографии были редкостью на заре истории этой технологии. Чтобы подтвердить это, он обратился к записям фотографов о том, сколько раз они приезжали к семьям, чтобы сделать такие фотографии [Ruby 1999]. **Практика создания посмертных портретов была распространена в различных классах общества. В то время как относительно немногие люди могли позволить себе картину или рисунок умершего родственника, фотография сделала портреты доступными для большей части общества [Linkman 2006: 312].** Посмертные фотографии заказывали как состоятельные люди, так и люди более скромного достатка. К причинам, по которым люди заказывали посмертные портреты близких, можно отнести отсутствие какого-либо портрета, сделанного при жизни человека. Также вероятно, что посмертные портреты служили утешением для тех, кто не мог соблюдать викторианский обычай навестить усопшего и лично отдать последние почести [Linkman 2006: 347].

В Викторианскую эпоху были очень распространены как статьи с техническими рекомендациями по фотографическому процессу, так и рекламы фотоателье. Однако найти в британской периодике материал, связанный с посмертными фотографиями — непростая задача; можно предположить, что лишь немногие британские фотографы были готовы публично связывать свое имя с занятием посмертной фотографией. Фотографам было неудобно обсуждать эту тему публично: большинство тех, кто решился указать свои имена в статьях о посмертной портретной фотографии, старались в некоторой степени дистанцироваться от работы, называя ее неприятной. Фотограф Джордж Брэдфорд, который среди прочих жанров делал посмертные фотографии, публично высказывал отвращение к результатам своей собственной работы:

«Я не могу понять, как родственники могут смотреть на эти фотографии, если только они не испытывают особой любви к ужасному. Со своей стороны я вообще не вижу необходимости фотографировать мертвых. Если усопшие действительно были любимыми, ничто в этом мире не способно когда-либо стереть дорогие черты из мысленного взора: ему не нужна холодная, грубая фотография, представляющая последнюю унылую стадию человечества, она не поможет вспомнить эти черты, приятную улыбку или беззаботный смех, а покажет только подобие упыря, похожее на что угодно, только не на приятную натуру» [The Photographic News 1882: 394–395].

Особенностью посмертных фотографий было то, что сфотографированный человек был показан спящим или в ином положении, способном замаскировать истинный характер ситуации. Детей, одетых в праздничную одежду, клали на подушки, чтобы они выглядели так, как будто они только что заснули, на фотографиях такого типа мертвых детей трудно отличить от живых. Благодаря разнообразным обработкам некоторые посмертные фотографии создавали идеальную иллюзию жизни. Нередко фотограф ретушировал фото таким образом, чтобы глаза мертвого человека оставались открытыми — в то время такая процедура использовалась часто. Начиная с 1860-х годов до начала XX века заказы на посмертную фотографию составляли значительную часть деятельности коммерческого фотографа [Краусс 2014: 33].

Изображение физической смерти на фотографиях во многом связано с метафизикой страдания. Возвышение драматизма, сакрализация травмы — это процессы, в которых фотография (в частности, посмертная фотография) играет важную роль. Вполне возможно, что викторианские фотографы стремились притупить страдания семьи, создавая идеальную иллюзию жизни. На многих ранних изображениях этот эффект усиливался за счет добавления румяного оттенка щекам умершего или рисования зрачков на фотопринте. Более поздние примеры этого жанра (конец XIX — начало XX века) не демонстрируют того же усилия по созданию идеальной иллюзии жизни и изображают мертвых, лежащих в гробу в окружении присутствующих на похоронах. Можно предположить, что снижение популярности посмертных фотографий связано со снижением смертности. Продолжительность жизни стала увеличиваться, и, следовательно, семьи реже горевали из-за смерти членов семьи или родственников. Смерть стала явлением, связанным прежде всего с пожилыми людьми, изменилась культура и траурные традиции вокруг смерти и умирания.

Исследования фотографии в контексте смерти уже успели приобрести интеллектуальный фундамент в научном дискурсе. В своих текстах эту проблему рассматривали такие влиятельные теоретики, как Сьюзен Зонтаг [Зонтаг 2013], Розалинда Краусс [Краусс 2014] и Ролан Барт [Барт 1997]. В настоящей работе мы обратимся к этим авторам с целью создать комплексную оптику для изучения и понимания феномена посмертных фотографий. Нельзя не обратить внимание на сильное влияние, которое оказали авторы на формирование восприятия фотографии «вообще» как неразрывно связанной со смертью. Частое цитирование в научной литературе основных положений этих теоретиков способствовало

закреплению определенного образа мышления. Получается, когда мы рассматриваем различные проблемы фотографии, мы часто думаем о них через высказывания Зонтаг, Краусс и Барта. Освободиться от сформированного на такой почве мышления трудно, однако возможно при изобретении совершенно нового метода описания этой проблемы, способного ввести новую оптику и другой набор интерпретаций. Впрочем, в настоящем исследовании мы беремся только рассмотреть основные положения теоретиков о фотографии и попытаемся дополнить предложенные теоретиками концепции.

Американская писательница Сьюзен Зонтаг настаивала на тесной связи между фотографией и смертью. Она воспринимала фотографию как искусство сумеречное, элегическое. Известное высказывание Зонтаг гласит, что каждая фотография — это «памятка о смерти» («*memento mori*»). Действительно, делая человека объектом фотографии, фотограф фиксирует незащитность снимаемого перед быстротечным временем¹. С одной стороны, искусство фотографии взывает к нарциссическим началам, но в то же время обезличивает наши отношения с миром. Зонтаг сравнивает двойственные функции камеры с биноклем: если мы посмотрим с одной стороны, то далекие, экзотические вещи могут показаться близкими. Если же мы перевернем бинокль, то близкое станет казаться далеким. Так же может произойти и с камерой, которая наделяет привычные вещи ореолом чуждости и отдаленности. Эта смесь близости и отчуждения привела к необратимому слиянию войны и фотографии. Катастрофы и бедствия притягивают людей с фотоаппаратами. Остается только удивляться тому, как общество, нацеленное на благополучную и счастливую жизнь, отрицающее смерть и пытающееся не думать о ней, стремится удовлетворить свое любопытство посредством просмотра фоторепортажа с места катастрофических событий. Ощущение, что бедствия далеко и не способны вас коснуться, стимулирует интерес к мучительным картинам, и, разглядывая их, вы укрепляетесь в понимании своей защищенности [Зонтаг 2013: 218–219]. Иллюзия защищенности возникает отчасти по той причине, что предполагаемый зритель — «здесь», а не «там», отчасти же потому, что эти события, обращенные в фотографии, приобретают характер неизбежности. В реальном мире что-то происходит прямо сейчас, и никто не знает, что еще произойдет, в то время как в мире фотографии все уже случилось. Исследовательский интерес Зонтаг сконцентрирован в первую очередь на предсмертных фотографиях², сделанных

1. См. эссе Сьюзен Зонтаг «Взгляд на фотографию». URL: [link](#) (14.07.2021). Впервые текст был опубликован на русском в книге: Стигнеев В., Липков А. Мир фотографии М.: Планета, 1998.

2. Англ. *pre-mortem photography*.

незадолго до гибели снимаемых. Поэтому автор приводит в пример фотографии с мест военных действий и природных катаклизмов. На основе исследований Зонтаг мы можем выделить две категории фотографий: на которых либо запечатлены мертвые люди (посмертные фотографии), либо запечатлены люди, которые вскоре будут убиты или умрут (предсмертные фотографии).

В своей последней прижизненной книге «Смотрим на чужие страдания» Зонтаг вновь обращается к темам, которые она обсуждает в сборнике эссе «О фотографии». Значимая часть книги уделена обсуждению гравюр Гойи из серии «Бедствия войны», изображающих военные страдания, под которыми художник оставляет эмоциональные комментарии, такие как «А это ты вынесешь?», «Видеть [это] невозможно» [Зонтаг 2004: 35–38] и др. Мы не можем себе вообразить, что кому-то придет в голову подписывать подобным образом фотографию. Мы можем сомневаться, действительно ли это репрезентативная фотография, но обычно мы не сомневаемся, правдива ли она. Сегодня мы все еще предполагаем, что то, что мы видим на фотографии, является проявлением света, попавшего в объектив, и ничем иным. Зонтаг в свою очередь говорит о подделке фотографий, в том числе военных — перестановке тел или имитации военных действий после их фактического завершения, чтобы все выглядело так, как, в нашем представлении, это должно выглядеть — но даже тогда, хоть в качестве постановочного мероприятия, мы все равно думаем о фотографии как о некоторой правде, даже если она требует объяснения и уточнения [Зонтаг 2004].

Розалинд Краусс, размышляя над историей фотографии, видела причину возникновения жанра посмертной фотографии не только в практических соображениях (сохранение памяти о погибшем), но и в мистическом ореоле таинственности, который окружал новый медиум. В наши дни многие могут усомниться в ореоле таинственности, который окружал фотографию в первые годы ее существования, однако Краусс считает, что именно непостижимая для общества тайна рождения фотографического оттиска и обусловила возникновение жанра посмертных фотографий [Краусс 2014: 33]. Процесс фотофиксации сопоставляли с действиями тайных неведомых сил, считая его техническое происхождение связанным с алхимией и магией. Фотограф Надар, чьи работы стали одной из центральных тем исследований Розалинд Краусс, писал в своих воспоминаниях о подозрительном отношении к фотографии со стороны священнослужителей:

«Поводов для охоты на ведьм было предостаточно: магия обаяния, вызов духов и призраков. Страшная Ночь, дорогая всем колдунам и волшебникам, безраздельно властвовала в темных уголках камеры, построенной по заказу храма Князя Тьмы. Требовалось лишь небольшое усилие воображения, чтобы вообразить фотографический реактив колдовским зельем» [Nadar 1978: 8].

Подразумевая феноменологию объективности, фотография восхваляет Другого. Фотография — это не реальность. Она отказывается от реальности и окружающей среды. Несмотря на иллюзию визуального сходства и легкости перехода, они четко разделены [Васильева 2013: 84]. По отношению к окружающему миру снимок оказывается другой формой существования, если понятие «существования» вообще применимо к фотографии. Статику фотографии трудно приравнять к бытию. Вы можете видеть себя в кадре, но не можете быть в нем. У нас есть опыт в фотографии, но мы с трудом признаем фотографию как значимое явление. При всей своей очевидности и близости фотография оказывается опытом, которого мы никогда не достигнем. Как и смерть, фотография становится одной из форм Другого.

Бескомпромиссная видимость фотографии, ее буквальная зримость сбивает с толку, но не устраняет проблему отчуждения фотографии по отношению к реальному миру. Обращение к Другому предполагает утаивание, которое изначально противоречит идейной программе этого медиума. В фотографии связь с Другим предстает в свете и на публике. Обращение к тайне, к неизвестному становится абсолютно зримым, очевидным и в то же время абсолютно скрытым. Очертания предметов, их внешние границы становятся в фотографии невидимыми. Фотография противоречит своей собственной функции — отображению внешнего. Бесстрастно фиксируя внешние границы, снимок стирает различие между формой и сущностью. Следовательно, по отношению к реальному миру фотография является абсолютной формой Другого.

Ролан Барт полагал, что каждая фотография — это объект, принадлежащий к той же категории, что и посмертные маски. По мнению французского философа, фотография должна быть нравственным искусством, потому что на каждой фотографии есть главенствующий знак нашей будущей смерти [Барт 1997: 51–52]. Более того, Барт убежден, что фотография должна иметь отношение к «кризису смерти» в нашей культуре. Следовательно, вместо того, чтобы искать истоки кризиса в экономических и социальных причинах, следует задать вопрос об антропологической связи меж-

ду новым типом визуального образа и смертью. Свидетель нашей эпохи — фотографическое изображение — не имеет ничего общего с бессмертием памятников, благодаря которым древние общества сохранили свои самые важные воспоминания, — продолжает Барт. Наш медиум — фотография — хрупка и не уверена в себе, и по этой причине ей нельзя слишком доверять [Барт 1997: 3].

Возможно, выявление неразрывной связи между фотографией и смертью говорит больше о нас самих, чем о фотографии как о медиуме. Страх неизбежного, осознание хрупкости жизни и неуверенность в будущем заставляют нас задуматься о смерти. Фотография наталкивает на такие мысли больше, чем другие виды искусства. Достаточно взглянуть на собственные фотографии, сделанные несколько лет назад, чтобы заметить изменения, происходящие в каждом из нас. Глядя на любую фотографию, мы знаем, что на ней сохранился «световой отпечаток» чего-то, что существовало в течение короткого времени и было запечатлено на светочувствительном материале. Однако не следует читать фотографии только через объявление о смерти, которое они несут — как непрерывный *memento mori*. Мы можем перестать отождествлять изображенного с его изображением и, тем самым, сместить интерпретацию фотографии с уровня физического на уровень метафизики: от уровня смерти к уровню жизни.

Предсмертные фотографии, на которых напряженные глаза пациентов направлены прямо в объектив, вызывают у смотрящего сильную эмоциональную шокирующую реакцию. Посмертные фотографии удивляют благородством и спокойствием лиц умерших. Лицо становится (посмертной) маской. Это различие в восприятии создает определенную диалектику, преодолев которую, мы сможем осознать полный и окончательный образ смерти. Заманчиво предположить, что фотография мертвого родственника в XIX веке была безобидной затеей, однако нередко фотография была призвана скрыть реальное положение дел. Умершие изображались живыми — часто спящими, — что делает утверждение Барта о том, что на фотографии запечатлено что-то, «что было»³, еще более проблематичным. По словам Барта, поскольку мы позируем для фотографий, мы осознаем, что позируем, — следовательно, наряду с намерением фотографа, полученная фотография не отражает то, что мы есть на самом деле [Барт 1997: 6]. Это высказывание особенно правдиво по отношению к посмертным фотографиям XIX века, где мертвые часто предстают в таких позах, в каких никогда не позировали при жизни. В случае фотографии мертворожденных

3. Англ. «that-has-been». См. Barthes R. *Camera lucida: reflections on photography*. London: Vintage, 2000.

детей субъект вообще никогда не был живым. В обоих случаях камера находится в сложных отношениях со своим референтом — «что было» Барта часто никогда не было. Как сказал один викторианский фотограф о своей работе,

«...[моя работа — прим. В.Н.] добавляет лжи; но кто может обвинить преступника? Не лучше ли его обвинять, если он откроет ужасную правду, которая при каждом нежном взгляде сыпет соль на рану отчаяния <...> ?» [Linkman 2011: 22].

Таким образом, в настоящем исследовании, основываясь на теориях Сьюзен Зонтаг, Розалинд Краусс и Ролана Барта, мы привели несколько возможных путей восприятия и интерпретации посмертных фотографий. В наши дни остаются неисследованными многие важные факты о посмертной викторианской фотографии: мы не знаем точно степень распространенности подобной практики, равно как и не имеем представления о преобладающем в обществе отношении к этим снимкам. Важно обратить внимание и на существенное различие в восприятии предсмертных и посмертных портретов: если последние должны были душевно уравновешивать боль утраты, то портреты больных людей заставляют зрителя эмоционально реагировать на чужой болезненный вид. Остается непримиримое противоречие, заключающееся в зафиксированной неприязни викторианских фотографов к посмертным фотографиям, и распространенном соображении, что подобные снимки были частью моральной нормы эпохи. Неоспоримым остается тот факт, что этот поджанр возник на самой заре развития фотографии и был забыт в начале XX века. Викторианские посмертные портреты символизируют любовь и привязанность и не содержат в себе назидательного посыла «*memento mori*». По этой причине фотографии пытались уменьшить или скрыть признаки физического ухудшения. Изображая мертвых красивыми и представляя смерть как безмятежный и беспробудный сон, посмертные портреты должны были облегчить боль утраты и принести утешение скорбящим.

Список литературы

1. [Барт 1997] — *Барт Р.* Camera lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 1997. 86 с.
2. [Васильева 2013] — *Васильева Е. В.* Фотография и Смерть // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 15. 2013. №1. С. 82–93.
3. [Зонтаг 2013] — *Сонтаг С.* О фотографии. М. : Ад Маргинем Пресс, 2013. 272 с.
4. [Зонтаг 2004] — *Сонтаг С.* Смотрим на чужие страдания. М. : Ад Маргинем Пресс, 2004. 96 с.
5. [Краусс 2014] — *Краусс Р.* Фотографическое: опыт теории расхождений. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 304 с.
6. [Linkman 2011] — *Linkman A.* Photography and death. London: Reaktion, 2011. 216 p.
7. [Linkman 2006] — *Linkman A.* Taken from life: Post-mortem portraiture in Britain 1860–1910 // History of Photography. 2006. № 30 (4). P. 309–347.
8. [Nadar 1978] — *Nadar F.* My Life as a Photographer (1900) // October. 1978. Vol. 5. P. 6–28
9. [Ruby 1999] — *Ruby J.* Secure the Shadow: Death and Photography in America. Cambridge: MIT Press, 1999.
10. [The Photographic News 1882] — *Bradforde G.* Odd Jobs No 10. A Grave Subject // The Photographic News, 7 July 1882, P. 394–395.

Вероника Ильинична Никифорова
Санкт-Петербургский
государственный университет,
факультет свободных
искусств и наук, магистерская
программа «Арт-критика»
nikifornika@gmail.com

Veronika I. Nikiforova
St. Petersburg State University,
Faculty of Liberal Arts and Sciences,
MA Programme “Art Criticism”
nikifornika@gmail.com

КИНО КАК «ЗАБОТА» О РЕАЛЬНОСТИ: МАРГИНАЛЬНОСТЬ В МЕДЛЕННОМ КИНО

Ксения Беспалова

УДК: 821.161.

Ключевые слова:
медленное кино,
реализм, Жан-Люк Нанси.

Аннотация

Медленное кино, ставшее популярной тенденцией на заре XXI века, часто обращается к зонам маргинальности — к исключенному из репрезентации. Демонстрируя реальность без суждения, это кино «заботится» о том, что не вписывается в поле видимого. Отталкиваясь от философии Жан-Люка Нанси, данная статья концептуализирует статус фильмической реальности, который позволяет ввести в поле репрезентации невидимые действия, невидимые пространства и невидимых людей.

“Taking Care” of Reality: Marginality in Slow Cinema

Kseniia Bepalova

*Keywords:
slow cinema, realism,
Jean-Luc Nancy.*

Abstract

Slow Cinema, which became a salient tendency among festival films, often depicts the marginal and what is traditionally excluded from the representation. Speaking in Jean-Luc Nancy’s terms, this cinema “takes care of” reality by exposing the real without judging it and preserving it as what always eludes the grasp of reason. Drawing on Nancy’s philosophy, this article will analyze the status of the filmic reality of a slow film that allows it to represent the unseen actions, unseen spaces, and unseen people.

В 1990-х и 2000-х годах в мировом фестивальном кино стала заметно доминировать эстетика так называемого медленного кино, отличительными чертами которого является медленное время, статика кадра, длинные планы, а также дедраматизация действия. К этому течению причисляют таких режиссеров, как Карлос Рейгадас, Цай Минлянь, Цзя Чжанкэ, Педру Кошта, Апичатпонг Вирасетакул, Альберт Серра, Лисандро Алонсо и многих других. Помимо общих эстетических черт, подобные фильмы объединяет общий интерес к тому, что, как правило, исключается из поля видимого, важного и ценного — они часто обращаются либо к маргинальным группам населения, либо к маленькому человеку и тем бездеятельным моментам его повседневности, которые также оказываются за границами видимого.

Несмотря на то, что подобные фильмы тяготеют к запечатлению зон маргинальности (того, что исключается из поля видимого), они совсем не стремятся вынести реальность на суд, как того требовал теоретик кинореализма Андре Базен, тексты которого часто лежат в основе анализа медленного кино. Он описывал итальянский неореализм — кино, которое является очевидным предшественником современного «медленного». В отличие от неореализма, современный кинематограф не интересуется поиском истины социальной реальности: как отмечают такие исследователи кино, как Томас Эльзессер [Elsaesser 2009] и Джозеф Фрүхтл [Früchtl 2010], произошло изменение статуса не только правды, но и самой реальности. Медленное кино не ищет правды, так волновавшей послевоенное кино, а выставляет чистое самодовление реальности, чья потенциальная автономность от нас, зрителей, и есть гарант ее достоверности. Вопросы, которые стоит поставить: что делает подобную эстетику настолько восприимчивой к обычно невидимому, маргинальному? Что замедление кинематографического времени дает самой маргинальности?

Особенности реализма медленного кино

Медленное кино своеобразно тем, что, демонстрируя социальное неблагополучие и маргинальность, оно не выносит суждения, не призывает к действию, а просто дает видимость тому, что невидимо не только в «быстром» кинематографе, но и в обычной повседневности, темп которой определен ускоренным постфордистским производством и неолиберальным порядком.

В статье «Мировое кино: реализм, свидетельство, присутствие» Томас Эльзессер связывает появление новой концепции реализма

с ситуацией так называемой «постэпистемологической онтологии» [Elsaesser 2009]. В некотором смысле он продолжает линию Андре Базена, который утверждал, что (нео)реализм является прежде всего онтологической позицией [Базен 1972: 284]. Эльзессер предлагает довольно радикальную интерпретацию текущего положения как в кино, так и в культуре в целом, заявляя о смене эпистемы репрезентации. Если классический кинореализм ассоциирует познание со зрением, то, выучив урок постструктуралистских теорий, подвергающих сомнению любую истину, достоверность и реальность, кино «нового реализма» понимает, что зрению не стоит доверять. Оно устремляется к другим чувствам: к осязанию, слуху — и даже вкусу и обонянию.

Аналогично, Лучия Нажиб и Сесилия Мелло во введении к сборнику «Реализм и аудиовизуальные медиа» провозглашают «возвращение к Реальному», а также конец постмодернистской иронии и интертекстуальности, а следовательно — переход в эру *postpostmoderna* [Realism... 2009]. Хотя исследовательницы и считают точкой отсчета датскую «Догму 95» (которая не входит в «медленный» канон), они подчеркивают, что именно длинный план стал одним из самых повторяющихся приемов современного кино, как аналогового, так и цифрового. Важно понимать: медленная эстетика существовала задолго до 1990-х годов в творчестве таких авторов, как Энди Уорхолл, Шанталь Аккерман, Андрей Тарковский и Микеланджело Антониони — но, тем не менее, исследователи обращают внимание на изменение характера «медленности». Сегодня можно говорить о конкретной эстетической тенденции или даже о моде, объединяющей множество совершенно различных режиссеров с разных концов планеты, тогда как ранее медленное время было элементом стиля отдельных авторов.

Лучия Нажиб и Сесилия Мелло [Realism... 2009] (как, впрочем, Томас Эльзессер, Тьяго де Лука [de Luca 2012] и Игор Крстич [Krstić 2016]) выбирают цифровой поворот в качестве переломной точки в понимании реализма, указывая на бессобытийный длинный план как на один из определяющих приемов нового стиля. На самом деле, эта точка довольно условна: удобство цифровых камер, как когда-то синхронная запись звука, способствовало развитию реализма, но дигитализация ни в коем случае не является основным его условием. Развитие техники действительно движется в сторону совершенствования реализма, как некогда писал Базен [Базен 1972: 51], однако дело не в телеологическом движении в сторону идеальной репродукции действительности, а в тех возможностях, которые предоставляет техника. Так, ручная видеокамера позволила проникнуть

в самые неблагополучные трущобы и напрямую взаимодействовать с героями — обитателями этих пространств — чем воспользовался Педру Кошта в своем цикле «Письма из Фонтаньяш». Поэтому интерес к маргинальности можно объяснить чисто прагматически: только с появлением дешевых и легких цифровых камер стало возможно снимать малобюджетные фильмы в тех локациях, куда не могла проникнуть более крупная и дорогая аппаратура.

Своеобразие медленного кино — не только в том, что оно откачивается от идеи индексальности (экзистенциальной связи фильма с реальным объектом в мире, которую оплакивали теоретики в связи с дигитализацией), но и не сокрушается о ее отсутствии: к ней оно совершенно безразлично. Понимая всю сложность обоснования реальности, оно сохраняет действительность с ее ускользающим характером. Поэтому его интерес к маргинальности связан с тем, что эта реальность состоит из того, что обычно не вписывается в поле видимого современного мира. Пытаясь объяснить своеобразное отношение современного кино к реальности, некоторые исследователи кино прибегают к философии Жан-Люка Нанси, видя в его онтологии и текстах о кино новый способ разговора о появившемся на рубеже веков кинематографе [McMahon 2010b], [Früchtl 2010]. Это кино восстанавливает мир в правах, принимая тот факт, что мир «уже» и «еще» не имеет предустановленного смысла [Früchtl 2010: 193–194]. Именно медленное движение мира на экране становится необходимым эстетическим принципом для реализации того, что Нанси называет «заботой» о реальности и «уважением» к ней, что, как будет показано, связано с сохранением ускользающего.

Политика «медленного»

Из фильма в фильм медленное кино обращается к физическому труду, тоскливой повседневности, беднякам и иммигрантам, последствиям урбанизации и глобализации, обшарпанным городским пространствам и безлюдным природным ландшафтам, забытым цивилизацией. **Парадокс кинематографа медленного времени заключается в его статусе культурного гетто: дело не только в том, что оно репрезентирует маргинальные сюжеты и локации, но и в том, что оно само часто не покидает пределов фестивальных кругов, тем самым повторяя маргинальную судьбу своих героев.** Будучи реакцией на процесс ускорения, связанный с социоэкономическими изменениями и отраженный в «быстром» массовом кино, медленное кино воплощает то, чему не нашлось места в доминирующей культуре скорости.

Предметное единство медленного кино поддерживается спецификой его эстетики, которая допускает в поле видимого любые вещи и звуки, попавшие в кадр. Ключевую роль играет его вписанность в реалистическую традицию, исторически связанную с социальной критикой. Как подчеркивает теоретик кино Роберт Стэм, реализм как способ репрезентации отличается внутренним демократизмом: в нем предметы и темы не делятся на значимые и незначимые [Stam 2000: 73–74]. Так, теория реализма Андре Базена постулирует «онтологическое равенство» каждого конкретного момента жизни, что достигается благодаря передаче подлинной длительности действия [Базен 1972: 313]. Таким образом, реализм можно понимать как в корне политический и этический способ обращения с материалом.

Стэм также напоминает о теоретическом споре вокруг способности кинореализма выявлять динамику социальных противоречий и потенциально инициировать социальные изменения [Stam 2000: 74]. Однако медленное кино едва ли можно рассматривать с данной точки зрения. В нем присутствует не побуждение к действию, а его отрицание. Социальные бедствия тут представлены как чистая данность: едва ли нас побудит к действию полтора часа наблюдения за рутиной аргентинского лесоруба, низведенного за грань нищеты, в фильме «Свобода» Лисандро Алонсо (2001). Впрочем, это не мешает теоретикам и критикам рассматривать медленное кино с точки зрения его политической роли. Исследователь Асбьорн Грэнстад объясняет это тем, что представление о «медленном» может существовать только в оппозиции к «быстрому» [Grønstad 2016: 277] — то есть уже в названии кинематографической тенденции заложено ее противостояние массовому «быстрому» кино. В этом контексте медленное кино рассматривается как способ сопротивления ускоренному темпу эпохи постфордизма.

Родовое проклятие категории «медленного» приводит к тому, что медленное кино оказывается в плену бесконечных споров о его политической ценности. Одни рассматривают его как пример контр-кино, противостоящего неолиберальной экономике ускорения и радикально отрицающего коммерческое кинопроизводство. Их противники, напротив, указывают на элитарный характер медленного кино, существующего исключительно для фестивальных кругов, а также на то, что из радикального эксперимента оно превратилось в набор клише и признак «хорошего» (элитарного) вкуса [Shaviro 2010]. Таким образом, споры сводятся к вопросу о прогрессивности или реакционности данного кино, тогда как обилие медленной эстетики говорит о чем-то другом — оно отражает совпадение способов *видения* множества различных режиссеров. По каким-то при-

чинам запечатление медленного времени, микродвижений, рутины, отверженных людей и заброшенных пространств стало актуальным в различных точках планеты.

Фредерик Джеймисон объясняет своеобразие современного восприятия времени процессами, происходящими в обществе. Он демонстрирует, что темпоральности эпохи модерна и постмодерна принципиально различны: если модерн озабочен вопросом времени, то постмодерн помещает в фокус внимания вопросы пространства [Jameson 2003: 696]. Описывая текущую ситуацию, Джеймисон заявляет, что появление мобильных телефонов не только объединило различные точки мирового пространства, но и разрушило стабильный распорядок дня с привычкой работать по часам. Как пишет Джеймисон, завершившийся процесс урбанизации усилил роль городского пространства, а глобализация сжала мир, сделав доступными самые отдаленные места [Jameson 2003: 700–701]. Таким образом, пространство стало более важной категорией современности, чем время, понимание которого приобрело принципиально новую форму.

Вопрос о том, относить ли медленное кино к эпохе постмодерна или постпостмодерна, как считают Эльзессер [Elsaesser 2009], Нажиб и Мелло [Realism... 2009], несущественен в данном контексте. Джеймисон в качестве факторов, вызвавших перемены, отмечает релевантные для данного кино явления: глобализацию, завершившуюся урбанизацию и, самое главное, появление новых средств связи, таких как мобильный телефон. Если для медленного кино средства связи безразличны (несмотря на то, что они являются важными временными маркерами) то процессы урбанизации и глобализации безусловно связаны с тематикой этих фильмов. Примером тому служат судьбы кабо-вердианских мигрантов, к которым режиссер Педру Кошта обращается в течение всей своей карьеры. Оказавшись на европейской территории, эмигранты были изгнаны в трущобы Фонтаньяш — самый бедный район Лиссабона. Именно туда отправляется Кошта для съемок фильмов цикла «Письма из Фонтаньяш». Символично, что в фильме «Молодость на марше» (2006) главный герой Вентура переезжает из полуразрушенных трущоб, где были сняты предшествующие фильмы «Кости» (1997) и «В комнате Ванды» (2000), в социальное жилье, которое представляет из себя новые белоснежные дома со строгой геометрией. В фильме социальное жилье оказывается все тем же гетто для исключенных, только в более привлекательной обертке.

Согласно Джеймисону, интерес к пространству связан со сжатием пространства-времени в результате появления современных средств

коммуникации, а также из-за доступности любого места в связи с совершенствованием транспорта. Конец темпоральности, вынесенный в заглавие его статьи, означает редукцию времени до единственного момента настоящего, что аналогично времени медленного фильма, пребывающего в вечном «сейчас» [Jameson 2003: 708–709]: время переживается как медленное, когда оно не продвигается вперед, будучи погруженным в вечный момент настоящего. В качестве наиболее наглядного примера редукции времени Джеймсон приводит экшн-кино рубежа 1990-х и 2000-х годов, в котором сюжет нивелируется, уступая место независимым от сюжета зрелищным моментам насилия, погонь, взрывов и т.д. [Jameson 2003: 714]. В таком случае время фильма будет сжиматься до текущего момента зрелища, а сложные темпоральные связи между событиями перестанут быть необходимыми.

Аналогичный феномен отмечает Меттью Фланаган [Flanagan 2012: 115–123]. Отталкиваясь от идей Стивена Шавиро, описавшего стиль «post-continuity»¹, он утверждает, что в массовом кино, которое делает ставку на скорость, нарратив становится фрагментарным и теряет ключевую роль. Фланаган замечает, что в таком случае и в медленном, и массовом кино прослеживается общая тенденция нивелирования нарративных связей. Это подталкивает его к выводу, что медленное кино не столько противостоит современной эпохе, сколько является ее плодом, одной из двух реакций на нее — замедлиться или ускориться.

Таким образом, медленное кино является своеобразным культурным гетто, но таким, которое необходимо доминирующему режиму скорости: оно не противостоит последнему, а является его побочным продуктом. Это поддерживается и своеобразным статусом медленного кино: как показывает Эмре Чаглаян [Çağlayan 2018: 25–27], за исключением работ самых успешных режиссеров (таких как Белла Тарр, Нури Бильге Джейлан и др.) медленные фильмы не выходят в прокат, оставаясь в закрытом мире фестивальных кругов. Фестивали выступают не только в качестве места показа такого рода картин — фестивальные фонды также спонсируют медленное кино, воспроизводя его для собственного же пользования.

В этом смысле примечательна идея Джастина Ремеса, настаивающего на том, что медленное кино в принципе необязательно смотреть. Если вы уснули во время просмотра, то фильм, возможно, оказался уж очень хорошим — пишет он. Следуя за комментариями

1. Под термином *post-continuity* Шавиро имеет в виду современные голливудские фильмы с постклассическим нарративом.

режиссера Аббаса Киаростоми, Ремес предлагает спать при просмотре фильма «Пять. 5 длинных планов, посвященных Ясудзиро Одзу» (2003)². Фильм Киаростоми — это тот редкий случай, когда название практически полностью исчерпывает содержание: фильм, длящийся более часа, действительно состоит из пяти длинных планов побережья Каспийского моря, которые сменяют друг друга под музыку — так, как обычно делал режиссер Одзу. Камера в течение фильма полностью статична, а человеческие образы появляются только во втором эпизоде. Как объясняет Ремес в статье для сборника «Медленное кино», данный фильм является «нечеловеческим»: это кино, которое не просто отказывается от центральности человеческого персонажа, но и *кино в себе*, не требующее присутствия никого помимо себя [Remes 2016: 231–242]. Ремес считает, что «Пять» не требует наличия зрителя, тем самым разрешая теоретический спор о том, существует ли кино только в опыте зрителя или его можно считать автономным объектом. В случае фильма «Пять» зритель волен смотреть фильм или нет, внимательно вглядываться в каждое движение волны или уснуть на любой секунде просмотра. Подобное безразличие говорит в первую очередь об отсутствии аффективных механизмов вовлечения зрителя в фильм — для того, чтобы вовлечься, необходимо волевое усилие. Как результат, фильм предлагает одновременно «наблюдение и не-наблюдение» [Remes 2016: 238].

Вопреки Тьяго де Лука, вынесшему фразу «видимое кино» в заглавие своей статьи о зрителе в медленном кинематографе [de Luca 2016], это кино часто остается невидимым для широкого зрителя. Возможно, постепенно оно стало особой локацией киномира, в которой допустимо показывать то, что исключено из всех остальных сфер. Именно в этом смысле критика Стивена Шавиро [Shaviro 2010] о несостоятельности «борьбы» медленного кино против позднекапиталистической культуры скорости может быть справедливой, но это уже проблема институций, а не эстетики медленного.

Сам медленный кинематограф, таким образом, оказывается побочным продуктом современности — таким же, как и предмет его репрезентации. Глобализация его действительно волнует, но лишь в том смысле, что оно обращается к таким моментам, которые остаются за бортом прогресса. Как пишет Карл Шуовер, это кино обращается к «отбросам» времени [Schoonover 2016: 156]. Он показывает, что вопрос о политической ценности «медленного» близок к вопросу о квир-жизни. Исследователь определяет квир-жизнь как жизнь,

2. Далее в тексте — «Пять».

потраченную напрасно [Schoonover 2016: 164] — такое клеймо ей присуждает общество. Аналогичным образом то, на что обращает внимание медленное кино, не заслуживает внимания с точки зрения современной экономики времени. Поэтому в медленном кино речь идет о людях и их жизнях, которые оказываются «недостойны» запечатления в рамках «быстрого» кино: мигранты Кошты, лесоруб из «Свободы» Алонсо, традиционное овцеводческое хозяйство «Последнего Ковбоя» Барбаш и Кастен-Тейлора и т.д.

Медленное кино, как подчеркивает Шуновер, выявляет проблематичность понятия труда [Schoonover 2016: 154–156]: как его можно измерить и на какой основе мы можем оценить тот или иной труд как продуктивный или непродуктивный? Он показывает, что вопрос ценности труда — это вопрос идеологический. Оппозиция времени труда и времени, потраченного впустую, лишь выявляет факт того, что определенному типу труда отказано в ценности. Таким образом, медленное кино тематизирует *обесцененность* на всех уровнях: в нем речь идет об обесцененном времени просмотра, а также об обесцененном показываемом — им могут быть не только люди и их действия, но также и среда, как урбанистическая, так и природная.

На самом деле, не обязательно запечатлеть непримечательные продукты урбанизации и глобализации, как это делает Педру Кошта; такие вещи, как традиционный уклад жизни и традиции в целом оказываются интересны медленному кино как зоны, оставшиеся за бортом прогресса и принадлежащие другому миру. Последнее занимает Киаростами, на что указывает Нанси, когда пишет, что в фильмах режиссера происходит «столкновение мира традиционного и мира сегодняшнего» [Нанси 2016]. Можно также вспомнить такие работы Апичатпонга Вирасетакула, как «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010), «Кладбище великолепия» (2015), которые вводят в повседневную жизнь элементы традиционных верований Таиланда: его реализм приобретает форму сюрреализма, за банальными объектами повседневности медленный взгляд обнаруживает другую жизнь в прямом смысле — жизнь, наполненную магией. Различные тематики медленных фильмов объединяет то, что они не вписываются в ускоренный и глобализированный мир. Именно для этого — для того, что не вписывается, — и находится место в эстетике «медленного».

Кинофилософия Жан-Люка Нанси

Философский проект Жан-Люка Нанси остерегает как от атомизации индивидуумов, так и от слияния, внутреннее стремление к которому присуще людям и принимает форму тоски по былому единству, идеальному сообществу, которое якобы было разрушено [Нанси 2011: 35]. Подобная ностальгия, по словам философа, не имеет под собой основания, поскольку идеального единства никогда не существовало в действительности. Более того, такое единство опасно. Так, в области политики обещание возвращения к нему ведет к тоталитарным режимам — к полному подчинению единичного общему.

Взамен философ предлагает принципиально иной способ мысли о сообществе: оно возможно только в виде «бытия единичного множественного» [Нанси 2004]. Множество конституируется при сохранении целостности единичного, тем не менее последнее не существует автономно от других единичностей, а всегда существует с ними совместно. Именно поэтому такое бытие называется «единичным множественным»:

«Оно [сообщество] <...> создано из разделения, распространения и усвоения идентичности во множественности, каждый член которой самоидентифицируется только через дополнительное опосредование своей идентификации живому телу сообщества» [Нанси 2011: 36].

Категория «вместе» становится условием подобного сообщества. Она же является и основанием бытия, поскольку каждая сущность изначально существует «вместе» со всеми остальными: «Единичное множественное бытие означает: сущность бытия существует только лишь как со-сущность» [Нанси 2004: 58]. Таким образом, Нанси отвергает идею о первоначальном тотальном единстве, распавшемся впоследствии — но вместе с тем выступает и против теорий, которые за точку отсчета принимают изолированного субъекта (как, например, происходит в феноменологии Гуссерля). Для него изначально есть только множественное единство: нельзя сначала обнаружить отдельное «я» и от него двигаться в сторону совместности (интерсубъективности).

Философия Нанси довольно легко перетекает от онтологии к мысли о социальном и обратно, поскольку для него социальная жизнь не выступает в качестве надстройки по отношению к бытию. Онтология и социальное со-существуют, потому что социальный мир зависит от того, как понимается структура бытия, которое является всегда со-бытием.

Какая роль отведена кинематографу в этой онтологии сообщества? Для Нанси важен потенциал кино устанавливать особый тип взгляда. Непосредственно к данному искусству философ обращается в тексте «Очевидность фильма, Аббас Киаростами» [Нанси 2016]. Иранский режиссер выступает в качестве «примера и эмблемы» такого кино, которое выражает «очевидность и определенность кинематографического взгляда как внимания к миру и его истине» [Нанси 2016]. Другими словами, это кино сохраняет «единичное множественное», составляющее видимый мир. В сущности, Нанси фиксирует новую тенденцию в кинематографе рубежа XX и XXI веков, которая для философа больше чем очередное стилистическое течение; он видит в этом новый тип взаимодействия с миром.

В качестве основной функции кинематографа Нанси называет «мобилизацию взгляда». В данном случае слово «мобилизация» стоит понимать через слово «мобильность» — подвижность: это движение зрительского *взгляда* к миру — «бросок», как пишет Нанси [Нанси 2016]. *Взгляд* он противопоставляет *видению*, понимая первое как динамичное, а второе как статичное. В интерпретации философа смысл *видения* близок значению слова «мнение». Оно зафиксировано и принадлежит кому-то, тогда как слово «взгляд» именуется сам акт «бросания» в сторону реальности, которую по определению нельзя зафиксировать и приостановить. Именно тут обнаруживается связь с главным онтологическим положением Нанси о бытии единичном множественном: *взгляд* обеспечивает сосуществование множественных сингулярностей реальности, поскольку он «сопротивляется поглощению всевозможными *видениями* (“мировоззрениями”, репрезентациями, воображениями)» [Нанси 2016]. Таким образом, в кинематографе Киаростами философ обнаруживает сопротивление унифицирующему *видению* мира. Мобилизованный *взгляд* подчеркивает процессуальность становления смысла, а также его множественность.

Движение является важным элементом кинофилософии Нанси. Речь идет не только о мобилизации взгляда, но и о движении внутри фильмического мира. Философ указывает на особый контрапункт движения и неподвижности в фильмах Киаростами. Вопреки кажущейся статичности кадров, философ обращает внимание на их внутреннюю нестатичность, показывая, что в медленном времени фильмов иранского режиссера одним из ключевых вопросов является вопрос о движении. Как пишет Нанси, неподвижность этого кино «не является статичной» [Нанси 2016]. На самом деле, подобная диалектика важна для медленного кино в целом, ведь когда избыточное движение затихает, становятся видны мельчайшие движения

материи, персонажей и самой камеры. Можно предположить, что проявление микродвижений подчеркивает ускользающий характер реальности, всегда превышающей рамки кадра.

Тем не менее, было бы довольно смело распространять выводы Жан-Люка Нанси на медленное кино как целое. Однако, он сам допускает обобщения, объявляя Аббаса Киаростами лишь «эмблемой» особого типа кино, которое на момент написания статьи (2001 год) лишь зарождалось. Выделенные Нанси элементы важны и для кинематографа медленного времени, изначальной предпосылкой которого является ничто иное как призыв обратить внимание к миру.

Смысл рассуждений Нанси о кино имеет этический характер: он говорит о внимании и уважении к реальности, что выражается в сохранении ее неподчиненности различным *видениям*, в сохранении ее единичной множественности. В этом контексте важна еще одна идея философа: он отмечает, что кино Киаростами устанавливает особую «дистанцию взгляда», необходимую для признания «абсолютно внешней природы» реальности [Нанси 2016]. Нанси не конкретизирует понятие дистанции, тем не менее, стоит предположить, что оно связано с его идеей о *разделении* (*partage*), различении и опространствовании. *Разделение* (*partage*) — важное понятие для Нанси, которое с трудом поддается однозначному переводу. С одной стороны, разделение говорит о неслиянии единичных множественных сущих и о необходимости признания различия между ними, но с другой — оно обеспечивает их бытие-вместе. Сам Нанси объясняет *разделение* (*partage*) как

«...термин, обозначающий разделение с коммуникацией или даже по правилу коммуникации: “разделять пищу” — это не просто делить ее на отдельные порции, но также “принимать ее сообща”, то есть обмениваться чем-то, утоляющим голод и улаждающим вкус» [Нанси 2013: 24].

Как подчеркивает Лора Макмэхон, исследовательница философии кино Жан-Люка Нанси, философ выступает против всеобъемлющих логик репрезентации, присваивающих мир путем подведения последнего под единую цель [McMahon 2010a: 624]. *Разделение* и признание «абсолютно внешней природы» реальности служат именно этой задаче, реализация которой обеспечивает «заботу» о реальности, нередуцируемой к единичности.

Таким образом, один из аспектов «заботы» медленного кино о реальности — это возвращение того, что было исключено, обесценено и невидимо. В фильме невидимое обретает свое место видимости, по-

этому «очевидность фильма», вынесенную в заглавие текста Нанси о кино, стоит трактовать так, как это делает Джозеф Фрүхтл: «очевидность делает нечто видимым, узнаваемым, открывает понимание, позволяет признать истину, но не способ, с помощью которого к ней нужно прийти» [Früchtl 2010: 194]. Под невидимым здесь стоит понимать то, что не имеет ценности для взгляда. Таким образом, медленное кино дает место исключаемому и обесцененному, придает им видимость, но при этом само парадоксальным образом остается невидимым. Фильм идет медленно, потому что он показывает то, на что нет желания смотреть.

Фильмическая реальность как мир сам по себе

Просмотр медленного фильма — часто фрустрирующий опыт. Он дистанцирует зрителя от персонажей и фильмического мира, тем самым проводя границу между фильмом и зрителем. Утверждение реальности того, что обычно исключается из восприятия, и одновременное удержание последнего на расстоянии становится этическим императивом подобного кино. Именно так стоит понимать требование Нанси признать «абсолютно внешнюю природу» реальности. Важно не то, что я, зритель, переживаю реальность фильма как свою собственную, а то, что эта реальность, несмотря на перцептивную схожесть с моей, потенциально существует вне зависимости от меня.

Анализируя фильм Аббаса Киаростами «Жизнь и ничего более» (1992), Лора Малви указывает на зазор между фильмом и моментом трагедии, которую фильм репрезентирует [Mulvey 2006: 132]. Фильм балансирует на грани документального и игрового, повествуя о поездке режиссера и его маленького сына в деревню Кокер, где за несколько дней до этого произошло землетрясение, оставившее бездомным значительную часть населения. Цель поездки — отыскать актера, исполнившего роль в предшествующем фильме Киаростами «Где дом друга?» (1987). Если землетрясение имело место в реальности за пределами фильма, а местные жители являются реальными пострадавшими, то персонаж-режиссер является фиктивной фигурой, которую разыгрывает актер, хоть он и воплощает самого Киаростами, реального режиссера. Фильм балансирует на грани фикции и реальности, делая проблему кинематографической условности центральной, что лишь усиливается присутствием внутри фильма указаний на другой реально существующий фильм «Где дом друга?». Таким образом, кино проникает жизнь, а жизнь — в кино.

Согласно интерпретации Лоры Малви, фильм говорит о невозможности адекватной репрезентации реальной трагедии, вызванной землетрясением [Mulvey 2006: 132–134]. Исследовательница подчеркивает, что присутствие образа режиссера внутри фильма, а также игра реальности и фикции указывают на искажение, сопутствующее кинематографическому воспроизведению. Даже настойчивое следование реалистической конвенции (съемка на локациях с непрофессиональными актерами) не способно компенсировать неизбежную деформацию, которой подвергается реальность, зафиксированная камерой. Для Малви человеческая травма, засвидетельствованная в фильме — призыв к признанию разрыва между городским режиссером из среднего класса и реальностью погубленных судеб местных жителей. Другими словами, фильм Киаростами тематизирует этическую проблему режиссера, который, выбирая предмет для своего фильма, должен также принять во внимание ту пропасть, что *разделяет* его и то, что он снимает.

Подобный разрыв между миром фильма и миром зрителя является ключевым признаком медленного кино, но обычно он касается не столько уровня наррации, как у Киаростами, сколько уровня восприятия. С одной стороны, разрыв вытекает из специфики медленного времени, которое не вовлекает зрителя, а делает вовлеченность вопросом его зрительской воли. С другой — как и фильм Киаростами, медленное кино требует признания различия: его мир исключенных моментов времени, пространств и людей исключен именно из *нашего* мира таким образом, что если фильмический мир и предлагается для ознакомления, то все равно сохраняет свой статус чуждого. Как результат медленный фильм проводит границу между реальностью зрителя и реальностью фильма.

Этическая направленность медленного кино была унаследована от неореализма, что показывает Мэттью Фланаган, утверждая, что внимание к мельчайшим деталям повседневности является не столько эстетическим, сколько этическим кодом [Flanagan 2012: 104–109]: образы обыденной жизни направлены на установление солидарности с другим. Тем не менее, характер медленного времени не допускает эмоционального участия. Как пишет Пол Шредер, приемы медленного кино — съемка широкоугольной оптикой, статичные кадры, минимализм диалогов, отсутствие игры и даже движений актеров и т.д., — являются приемами дистанцирования: они отрицают все кинематографическое, не позволяют эмоционально вовлечься в фильм и не допускают эмпатии. Шредер показывает, что режиссеры медленного кино переворачивают зрительские ожидания, создавая «мир, который зритель должен созерцать либо тут же отвергнуть» [Schrader 2018: 17].

Исследователь Асбьорн Грэнстад верно заметил, что в медленном кино речь идет об этическом отношении к миру [Grønstad 2016: 279]. Однако если медленное кино и связано с этикой, то она подразумевает не эмпатию, а «заботу» — стремление сохранить реальность. Для этого нам и требуются внимание и долгий взгляд. По-видимому, эта непоколебимость перед сторонними смыслами становится главным в медленном кино: как того и требовал Андре Базен, к реальности не добавляется ничего привнесенного. Его теория была направлена против манипуляции реальностью, откуда проистекает его недоверие к монтажу, который привносит смысл, не заложенный в кадрах [Базен 1972: 82]. Аналогичным образом медленное кино выступает против искажения, возводя это требование в абсолют, для того чтобы не быть присвоенным зрителем и его *видениями*. В таком случае «забота» о реальности в медленном кино — это сохранение реальности или, говоря языком Мэри Энн Дуан, ее архивация [Doane 2002: 104], а также поддержка ощущения полноты и самодостаточности мира на экране.

Медленное кино дает время на освоение физического пространства, данного как конфигурация видимых (внешних) поверхностей тел, живых и неживых. Как пишет Нанси, кино — это открытие пространства, а пространство для философа является общим пространством бытия-вместе, которое «не является предсуществующим вместилищем по отношению к вещам», а рождается из диспозиции вещей, расположенных друг с другом [Нанси 2013: 25]. Мир как общее пространство рождается вместе с вещами, которые не даны как атомарные блоки, и становится пространством для встречи и для *разделения* (*partage*). Нанси уточняет, что речь идет как о со-бытии неодушевленных вещей, так и о со-бытии человеческих и других существ [Нанси 2013: 25].

Такой мир — нестатичен, и именно его сохраняет медленное кино. Когда Нанси говорит, что мир не имеет смысла, это значит лишь то, что последний не является фиксированным и предустановленным [Früchtl 2010: 193–194]. Вместо этого смысл пребывает в процессе создания. Джозеф Фрүхтл, рассуждая о философии кино Нанси говорит, что его идеи позволяют нам помыслить кино после Жилия Делёза: если последний констатировал утрату мира в послевоенном кинематографе с приходом образ-времени, то Нанси пишет о кино, которое освободилось от сожаления об этой утрате, понимая ее позитивные последствия [Früchtl 2010: 193]. Мир утраченный — это мир без стабильных ориентиров.

Медленное кино представляет собой именно такое пространство без ориентиров. В этом смысле оно противостоит присваиванию, не схватывается зрителем, поэтому оно существует как будто само по себе. Просмотр фильма без вовлечения приводит к тому, что мир на экране переживается как автономный от меня, он всегда отделен от моей реальности и мне в него доступ закрыт. Как писал Ролан Барт, этот мир просто говорит: «я реальность» [Барт 1994: 400]. Такой фильмический мир не может быть присвоен зрителем и не может быть редуцирован к конкретному смыслу, вместо этого демонстрируя смысл в его становлении. Медленное кино вопреки своей иллюзорной статике говорит о движении — о внимании к мельчайшим изменениям, которые никогда не прекращаются. Таким образом, медленное кино «заботится» о реальности — сохраняет и архивирует реальность, которая не только превышает индивидуальные видения, но и ускользает от них.

Список литературы

1. [Базен 1972] — *Базен А.* Что такое кино? Сборник статей. М.: Искусство, 1972.
2. [Барт 1994] — *Барт Р.* Эффект реальности // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 392–400.
3. [Нанси 2004] — *Нанси Ж.-Л.* Бытие единичное множественное / Пер. с фр. В.В. Фурс под ред. Т.В. Щитцовой. Минск: Логвинов, 2004. 272 с.
4. [Нанси 2013] — *Нанси Ж.-Л.* Вместе и демократия / Пер. с фр. В.В. Фурс // *Топос*. 2013. № 2. С. 20–29.
5. [Нанси 2011] — *Нанси Ж.-Л.* Невоспроизводимое сообщество / Пер. с франц. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М.: Водолей, 2011.
6. [Нанси 2016] — *Нанси Ж.-Л.* Очевидность фильма // Сеанс. 8 июля, 2016. URL: [link](#) (дата обращения: 20.02.2020).
7. [Фланаган 2010] — *Фланаган М. К.* эстетике медленного // *Cineticle*. № 4. URL: [link](#) (дата обращения: 01.03.2020).
8. [Çağlayan 2018] — *Çağlayan E.* Poetics of Slow Cinema: Nostalgia, Absurdism, Boredom. London: Palgrave Macmillan, 2018.
9. [Doane 2002] — *Doane M.A.* The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive. Cambridge, MA: London: Harvard University Press, 2002.
10. [Elsaesser 2009] — *Elsaesser T.* World Cinema: Realism, Evidence, Presence // *Realism and the Audiovisual Media* / Ed. by Lúcia Nagib and Cecília Mello. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. P. 3–19.

11. [Flanagan 2012] — *Flanagan M.* 'Slow Cinema': Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film. PhD Dissertation. University of Exeter, 2012. URL: [link](#) (accessed 20.02.2020)
12. [Früchtl 2010] — *Früchtl J.* The evidence of film and the presence of the world: Jean-Luc Nancy's cinematic ontology // *Chronotopologies: hybrid spatialities and multiple temporalities* / Ed. by Leslie Kavanaugh. Amsterdam: Rodopi, 2010. P. 193–201.
13. [Grønstad 2016] — *Grønstad A.* Slow Cinema and the Ethics of Duration // *Slow Cinema* / Ed. by Tiago de Luca and Nuno Barradas Jorge. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. P. 273–284.
14. [Jameson 2003] — *Jameson F.* The End of Temporality // *Critical Inquiry*. Vol. 29, № 4. 2003. P. 695–718.
15. [Krstić 2016] — *Krstić I.* Digital Realism // *Slums on Screen*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. P. 164–191.
16. [de Luca 2012] — *de Luca T.* Realism of the Senses: A Tendency in Contemporary World Cinema // *Theorizing World Cinema* / Ed. by Lúcia Nagib, Chris Perriam and Rajinder Dudrah. London: I.B. Tauris, 2012. P. 183–205.
17. [de Luca 2016] — *de Luca T.* Slow Time, Visible Cinema: Duration, Experience, and Spectatorship // *Cinema Journal*. Vol. 56, № 1. 2016. P. 23–42
18. [McMahon 2010a] — *McMahon L.* Jean-Luc Nancy and the Spacing of the World // *Contemporary French and Francophone Studies*. Vol. 15, № 5. 2010. P. 623–631.
19. [McMahon 2010b] — *McMahon L.* Post-deconstructive realism? Nancy's cinema of contact // *New Review of Film and Television Studies*. Vol. 8, № 1. 2010. P. 73–93.
20. [Mulvey 2006] — *Mulvey L.* *Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image*. London: Reaktion Books Ltd, 2006.
21. [Realism... 2009] — *Realism and the Audiovisual Media* / Ed. by L. Nagib and C. Mello. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 257 p.
22. [Remes 2016] — *Remes J.* The Sleeping Spectator: Non-human Aesthetics in Abbas Kiarostami's *Five: Dedicated to Ozu* // *Slow Cinema* / Ed. by T. de Luca and N.B. Jorge. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2016. P. 231–242.
23. [Schoonover 2016] — *Schoonover K.* Wastrels of Time: Slow Cinema's Laboring Body, the Political Spectator, and the Queer // *Slow Cinema* / Ed. by T. de Luca and N.B. Jorge. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2016. P. 153–168.
24. [Schrader 2018] — *Schrader P.* *Rethinking Transcendental Style* // *Transcendental Style in Film Ozu, Bresson, Dreyer*. Oakland, California: University of California Press, 2018. P. 1–34.

25. [Shaviro 2010] – *Shaviro S.* Slow Cinema Vs Fast Films / The Pinocchio Theory. May 12, 2010. URL: [link](#) (accessed 15.04.2020).
26. [Stam 2000] – *Stam R.* Film Theory: An Introduction. Malden, MA: Oxford: Blackwell, 2000. 392 p.

[Ксения Николаевна Беспалова](#)
Университет Амстердама,
исследовательская магистратура
по медиаисследованиям
bnxeniya@gmail.com

[Kseniia Bespalova](#)
University of Amsterdam,
Research Masters' in Media Studies
bnxeniya@gmail.com

ФЕНОМЕН ПОРНОМЕМА В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРЕ

**Ирина Антушева
Ян Левченко**

УДК: 821.161.

Ключевые слова:
мемы, порношик, стигматизация,
porn studies, Internet studies.

Аннотация

В статье порномем «Piper Perri Surrounded» (тиражируемый кадр из порноролика) рассматривается как продолжение тенденции порношика в медиапространстве. Гипотеза исследования заключается в том, что принципы, на которых строится пародия порношика на порно, сходны с принципами действия мемов, которые основаны на материале порнороликов.

В процессе исследования было выделено две группы порномемов: эксплицитные и имплицитные. В основе эксплицитных порномемов лежат кадры из порнороликов, а имплицитные порномемы переносят признаки порно на непорнографическое изображение. Иными словами, эксплицитные порномемы, такие как «Piper Perri Surrounded», за счёт свойства индексальности (узнавания) и ореола запретности продолжает идеологию и эстетику порношика в медиапространстве.

The Phenomenon of Porn Meme in Modern Internet Culture

*Irina Antusheva
Ian Levchenko*

*Keywords:
memes, porno chic, stigmatisation,
porn studies, Internet studies.*

Abstract

The article considers a porn meme *Piper Perri Surrounded* to be a continuation of the trend of porno chic in the media space. The hypothesis of the research is that the principles revealed in the way porno chic parodies porn are similar to the principles of the functioning of the memes which are based on the material of porn videos.

In the research, explicit and implicit groups of porn memes are identified. The former includes memes that are based on shots from porn videos, whereas implicit porn memes transfer the signs of porn to non-pornographic images. In other words, explicit porn memes such as *Piper Perri Surrounded* continue the ideology and aesthetics of porno chic in the media space due to the property of indexicality (recognisability) and the sense of forbiddenness.

Введение и постановка проблемы

Социальные сети плотно вошли в нашу повседневную жизнь как площадки для обмена информацией, работы и неформального общения. Интернет придал общению особую специфику, которая проявляется в определенных символических изображениях, таких как смайлики и мемы. Новые мемы появляются почти каждый день, но в этом исследовании мы обратимся к особой группе объектов — к так называемым порномемам.

Уверены, что многие пользователи Интернета помнят картинку, которая стала мемом: на диване сидит блондинка в пижаме, а вокруг нее стоят пять крепких темнокожих мужчин в белых футболках и белом нижнем белье (Илл. 1). Этот кадр был сделан на съемках порноролика под названием «Orgy Is the New Black» с актрисой Пайпер Перри (Piper Perri) в главной роли — псевдоним вдохновлен именем главной героини сериала «Orange Is the New Black» Пайпер Чепмен (Piper Chapman). Пайпер Перри же стала звездой порноролика, который — намеренно или случайно — своим названием отсылает нас к уже упомянутому сериалу и составу актеров самого ролика.

В видео, опубликованном 10 октября 2015 года, миниатюрная белокожая актриса занимается групповым сексом с темнокожими актерами. Спустя год кадр из этого порноролика превратился в популярный сетевой мем.

Это изображение активно использовалось пользователями популярной англоязычной платформы Reddit и получило



Илл. 1. Кадр из порноролика «Orgy Is the New Black»

название «Piper Perri Surrounded»¹. Смысл мема сводился к тому, что пользователям что-то сильно надоело, но они буквально окружены им, как девушка на диване. Что касается Рунета, то «ВКонтакте» этот мем проник только в 2018 году — к этому времени на Reddit уже существовали два сабреддита, продолжающие тенденцию использования кадров или аллюзий на порно в качестве мемов: «PornMemes»² и «PiperPerriMemes: only for men of culture»³.

Популярность этого фото увеличила количество просмотров и узнаваемость оригинального порноролика. Об этом можно судить по комментарию под порнороликом «Orgy Is the New Black», который к осени 2020 года имел самое большое количество лайков⁴ на платформе PornHub: «I came here because of memes»⁵.

Важно понимать, что мем «Piper Perri Surrounded» возник не на пустом месте — его популярность лишь способствовала актуализации порномемов, существовавших до 2016 года. К 2020 году изображение «Piper Perri Surrounded» отправилось в фонд отработанных мемов, хотя буквально в конце августа 2020 года пиццерия из города Ровно (Украина) воспроизвела в своем рекламном ролике узнаваемый образ девушки в пижаме в окружении пяти афроамериканцев (Илл. 2). На видео знакомый многим интернет-мем оживает, и его прямой смысл маскируется под наслаждение от разных видов пиццы, которой мужчины кормят женщину⁶.

Связь еды и телесного удовольствия передает слоган рекламы: «Навіть оргазми бувають ручної роботи»⁷.

На примере мема «Piper Perri Surrounded» хотелось бы уточнить определение порномема, выявить его связь с феноменом порношика и степень влияния порномемов на статус порно в современной культуре.

Исследование находится на стыке *porn studies* и *Internet studies*, которые, в свою очередь, приводят к полю *media studies*, где мем является медиа. Причем поле *porn studies* не может быть четко очерчено и закреплено: так, Линда Уильямс в статье «Порнография, порнуха и порно: мысли о поле, заросшем сорняками» замечает, что секс не является чем-то фиксированным — а значит, сами гра-

1. Букв. «Окруженная Пайпер Перри» (англ.).

2. *PiperPerriMemes: only for men of culture* (2018). URL: [link](#) (12.05.2020).

3. *PornoMemes* (2018). URL: [link](#) (12.05.2020).

4. 1622 лайка (06.10.2020).

5. Я зашел сюда из-за мемов (англ.).

6. Скандальная реклама пиццерии «Таверна Ель Пасо» (2020). URL: [link](#) (06.10.2020).

7. Даже оргазмы бывают ручной работы (укр.).



Илл. 2. Скриншот рекламного ролика таверны «El Paso». URL: [link](#) (26.09.2021).

ницы области исследования всегда будут расширяться. Также поле porn studies традиционно стигматизируется в социуме, как и его предмет. Линда Уильямс по этому поводу пишет, что сфера исследования порно проходит сложный путь оформления, для окончания которого необходимы постоянные публикации, конференции и архивы, чтобы можно было перейти от «затхлых цензурированных дискуссий» к вопросу: «**Что еще интересного можно сказать о порно?**» [Уильямс 2012: 301].

Учитывая эти трудности, вначале следует конкретизировать, что нам может понадобиться в этих полях, и выявить необходимые понятия для дальнейшего их применения в описанном кейсе.

Интернет-мем: структура понятия

Термин «мем» был введен Ричардом Докинзом в 1976 году. Он определил мемы как небольшие культурные единицы передачи, аналогичные генам, которые переходят от человека к человеку путем копирования или подражания. Докинз до эпохи Интернет-мемов относил к мемам мелодии, броские фразы и формы одежды, а также абстрактные убеждения (например, концепция Бога) [Shifman 2013: 363]. В 2010-е годы это толкование изменяется — главным образом, из-за того, что мемом пользователи начинают называть реплицируемую картинку (или фразу) в интернет-пространстве.

В частности, от рассмотрения мема как целого переходят к мему как к ансамблю отдельных элементов. Часто выделяют три составляющие: *проявление* (manifestation), *поведение* (behavior) и *воображение* (ideal) [Davison 2012: 123] или *позицию* (stance), *форму* (form) и *содержание* (content) [Shifman 2013: 367]. Для существования мема важно восприятие его реплик, но чаще всего оно субъективно, поэтому авторы выделяют три составляющих мема, любая из которых может помочь его репликации, даже если мем мутирует и адаптируется [Davison 2012].

Позиция или *проявление* представляет собой коммуникацию, которая, с одной стороны, создается самим мемом, а с другой стороны, утверждает его существование. *Проявление* мема «Piper Perri Surrounded» осуществляется в сообществе «PiperPerriMemes: only for men of culture», где представлены изображения, копирующие оригинальную композицию — например, фото, где пять шоколадных драже окружает одно белое драже в центре (Илл. 3). Тогда *форма* или *поведение* мема будет выражено в процессе фотографирования конфет определенного цвета и в определенном расположении, то есть само создание реплики изначального мема. Для сохранения *формы* мему необязательно полностью копировать оригинал — достаточно лишь примерно повторить композицию. Фото с конфетами сохраняет *форму* за счет цветовой гаммы и расположения внутри кадра, в то время как рекламный ролик пиццерии является переосмысленной копией.

Вернемся к фото драже: без *содержания*, или *воображения* мема, оно бы осталось только фотографией, но изображение содержит концепцию мема «Piper Perri Surrounded» — хотя бы потому, что



Илл. 3. Фотография драже, копирующих композицию порномема «Piper Perri Surrounded». URL: [link](#) (19.03.2020).

оно было кем-то выложено на сабреддите «PiperPerriMemes: only for men of culture». Изображение таким образом поместили в контекст, который намекает на изначальный смысл кадра. Сам по себе снимок с конфетами не несет порнографического подтекста, но сообщество интернет-пользователей, знакомых с мемом, способно распознать или же привнести в композицию картинки нужный подтекст. В *проявлении* мема «Piper Perri Surrounded» можно найти различные способы репликации формы изначального мема. В основном эти способы связаны с цветом, количеством изображаемых предметов и помещением в контекст, необходимый для соотнесения с оригиналом.

Мемы приобретают популярность благодаря циркуляции в интернет-пространстве, потому что мем — часть культуры, распространяющей влияние посредством онлайн-трансляции. От устной шутки (остроты) он отличается скоростью распространения и сохранением формы [Davison 2012: 122]. К тому же у мемов нет (известного) автора, что дает определенную творческую свободу и превращает сами мемы в народное творчество [Davidson 2012: 132]. Сохраняя *форму*, мемы закрепляют за собой определенные *позиции*, вокруг которых люди объединяются в сообщества. В то же время успешно распространяются только мемы, оптимальные для социокультурной среды, а другие вымирают [Shifman 2014], иными словами, отбор обусловлен степенью актуальности мемов в культурной и социальной среде [Davison 2012]. Таким образом, мемы способны отразить настроение интернет-сообщества, его основные тренды и сформировать комьюнити на основе узнавания мема.

Порношик: легализация запретного

Понятие «порношик» появилось в 1970-е годы, когда порнографические фильмы начали показывать в кинотеатрах и на фестивалях, и мейнстримный кинематограф начал испытывать их влияние. Зародившись в Америке, порношик нашел плодородную почву для роста в Западной Европе — законы, регулирующие порнографию, после войны там существенно смягчились. Из сферы экранной субкультуры порнография проникает в повседневную жизнь, моду, поведение и речь. В настоящее время под порношиком понимают «не порнографию как таковую, а ее репрезентацию в непорнографическом искусстве и культуре» [Павлов 2012: 182]. Различные виды искусства, построенные на принципах порношика, играют с эротическими образами, но не являются при этом порнографически-

ми [Павлов 2012: 182]. Предпосылкой для появления порношика 1970-х годов стала сексуальная революция, связанная с молодежными движениями, широким распространением поп-культуры и успехами борьбы за гражданские права. Как полагает Павлов, порношик берет начало в контркультурном движении 1960-х годов в США, а после все более и более плотно вплетается в мейнстрим и становится предметом широкого потребления.

Брайан Мак-Нейр в своей книге «Porno? Chic!: How Pornography Changed the World and Made it a Better Place» утверждает, что легитимизация порнографического контента определена самой культурой. Привилегия порношика в конце XX и начала XXI века — это особое обращение с наборами культурных форм, которые различными способами относятся к порно, но сам порношик не порнографичен, а является лишь отражением переходных форм в сексуальной культуре, в которой нет порнографии, но до сих пор есть острота и мятежность [McNair 2013: 39]. Это еще один показатель того, что появление порномемов обусловлено самой культурой общества, которое, как писал Мак-Нейр, живет «в мире вездесущей и бесконечно разнообразной порнографии» [McNair 2013: 39]. В отличие от вполне гомогенного табуированного порно полувековой давности, современные жанры кино и другие формы массовой культуры пропитаны категориями «порнографического воображаемого», позволяющего легитимировать в культурном обиходе ранее запретные образы и представления [Левченко 2015]. В русскоязычном контексте первой работой, затрагивающей близкие темы, стала книга Игоря Кона «Сексуальная культура в России», сконцентрированная на СССР 1980-х гг. Об этой книге, в частности, упоминает Елена Гапова: по ее мнению, Кон первым постулировал почти полувековое отставание сексуальной революции в России по отношению к Западу [Гапова 2011: 3]. Это значит, что волны сексуальной революции 1960-х годов, породившей порношик 1970-х, не утихают. Следовательно, данная тенденция продолжает проявляться, в связи с чем можно предположить, что порномемы вполне могут быть описаны в терминах порношика с поправкой на их существование в медиапространстве.

«Порномем»: специфика бытования

После рассмотрения понятия «мем» и истории развития порношика можно перейти к более подробному определению порномемов. Их можно разделить на две условные группы: мемы, в основе

которых лежат кадры из порнороликов, и мемы, которые переносят признаки порно (клишированные фразы, образы) на непорнографическое изображение — например, с помощью текста. Такие мемы можно назвать соответственно эксплицитными и имплицитными. Я предполагаю, что лишь эксплицитные порномемы являются проявлением новой тенденцией в порношике.

Мем «Piper Perri Surrounded» является эксплицитным порномемом — в нем визуально демонстрируются актеры порноиндустрии. С одной стороны, он явно говорит о своей связи с порнографией, а с другой стороны, само изображение нельзя без контекста отнести к категории порнографических — что и роднит порномем с явлением порношика.

Говоря о контексте изображения, мы подходим к особенности порномема, отличающей его функционирование от других интернет-мемов, а именно — к свойству индексальности. Оно проявляется в необходимости указать на стигматизированный контекст, не демонстрируя его прямо. Индексальность присуща и эксплицитным, и имплицитным порномемам. В первой группе указание на порнографический контекст происходит с помощью изображения, во второй группе — посредством текста и абстрактных или риторически насыщенных формулировок.

Так, мем «Piper Perri Surrounded» вне подразумеваемого контекста не выглядит даже как постановочное фото для эротического календаря — одного из характерных проявлений порношика. Но как только зритель считывает контекст изображения, у мема тут же возникает ореол запретности, актуализируемый механизмами порношика. В узнавании пользователями и заключается индексальность порномема, которая указывает им на его запретность.

Ореол запретности как следствие индексальности — характерный признак порномема. Сильнее он проявляется именно в эксплицитных порномемах, поскольку интернет-пользователи понимают, что в Сети есть ролик, который позволит им увидеть продолжение этого статичного изображения. Имплицитные же порномемы обладают меньшим ореолом запретности, так как воспроизводят порнографические сюжеты не визуальным способом, а иначе. Другими словами, продолжение их истории нельзя отыскать в Сети. Порномемы запретны именно потому, что могут иметь продолжение, а пока секс обсуждают и даже иллюстрируют, но не реализуют, исходящие от него «угрозы» лишь потенциальны.

Хотя порномемы и являются в некоторой степени новой тенденцией в порношике, но отношение общества к ним различно. Порношик производится с целью продажи товара или услуги,

а в производстве порномемов сложно обнаружить коммерческую функцию. Порномемы скорее служат объединению людей в группы, чем приросту материальной ценности. Впрочем, следуя за проекциями экономических понятий на сферу культуры, описанными в работе «Поле литературы» Пьера Бурдьё [Бурдьё 2011], можно утверждать, что копирование, интерпретация и распространение порномема пользователями способствуют его символической капитализации. К тому же случай с рекламой пиццы, созданной на основе мема «Piper Perri Surrounded», указывает на увеличение как символической, так и экономической прибыли.

Но общество, подобно герою Роберта Де Ниро из фильма «Таксист», может устать от разных проявлений порношика вплоть до полной потери восприимчивости к этому явлению. Тогда порношик в зависимости от состояния общества может видоизмениться и обогатить повседневность репрезентацией порно другими способами — например, порномемами. Благодаря индексальности они не являются носителями открытой эротики, а наоборот, вырывают из порнографического контекста кадры, которые без предварительного знания не дают порномему работать в полную силу. Типичным примером блазированности порношиком является эротический календарь, который студентки МГУ преподнесли В.В. Путину на день рождения в 2011 году (Илл. 4). Он носит открыто эротизированный характер за счет снимков и двусмысленных фраз, но насытившиеся



Илл. 4. Разворот эротического календаря, созданного студентками МГУ. URL: [link](#) (06.10.2011).

порношиком зрители ощущают неловкость за неуместный контекст использования очередных эротических фото с опустошенным значением («фото ради фото»).

В случае с «Piper Perri Surrounded» кадр из порноролика, который использован в меме, провоцирует домысливание истории. Иными словами, эротизированный календарь — пустое изображение, авторы и героини которого не решаются играть с запретным, тогда как порномемы созданы на конкретном материале, выводящим зрителя на новый уровень репрезентации порнографического воображения. Это еще один аргумент в пользу того, почему порномемы в настоящее время являются авангардом порношика. Порномемы опускают элемент «шика», приближая реципиентов к «порно», усиливая эффект его присутствия.

Говоря о стигматизации порно и ореоле запретности порномемов, нужно отметить, что порнографией называют в данный период времени и в данном обществе то, что целенаправленно и наглядно нарушает действующие табу [Левченко 2015]. Порно всегда нарушало запреты и пыталось переступить черту дозволенного, что не означает обязательного эффекта трансгрессии. Дело в том, что границей порнографии является описание или демонстрация определенных частей тела, которые более или менее универсально табуируются в различных культурах. Порнография не может остаться самой собой, если выйдет из этих рамок. Самый большой запрет для порно — это утрата им ореола запретности, а наличие черты, которую не рекомендуется пересекать, обеспечивает нормальное функционирование общественной системы [Павлов 2012]. Значит, не может быть и речи о дестигматизации порно с помощью порномемов, потому что, лишившись стигматизированного контекста, они перестанут работать. Точно так же в ситуации, когда потребление порно становится «нормальным», концепция порношика перестает иметь отклик у потребителей, как, собственно, и сама порнография [McNair 2013: 39].

Также со временем можно будет наблюдать деформацию интерпретации порномемов, которая все дальше будет отеснять изначальный порнографический посыл изображения. Доказательством этого может служить эксплуатация мема «Piper Perri Surrounded», который существует в основном в виде передачи и копирования композиции изображения, воспроизводящей визуальную сторону мема, но не его изначальное содержание. Скорее всего, порномемы не приведут к нормализации самого порно — тем не менее, они служат маркерами того, что общество пресытилось порнографией. Более того, можно предположить, что с течением времени порномемы могут быть вытеснены неким новым явлением, которое будет по-другому представлять порношик и позволит ему оставаться актуальным.

Заключение

Подводя итоги, мы приходим к выводу, что эксплицитные порномемы, такие как «Piper Perri Surrounded», продолжают идеологию и эстетику порношика. Это обусловлено базированностью общества и трансформациями внутри самого явления. Помимо присущих всем мемам структур — *проявления / позиции, поведения / форм и воображения / содержания*, — порномемы с помощью свойства индексальности и ореола запретности работают несколько иначе. Индексальность строится на узнавании пользователями порнографического материала, скрывающегося за эксплицитным порномемом, что актуализирует его ореол запретности. Этот ореол присущ и эксплицитным, и имплицитным порномемам, но в разной степени — большей и меньшей соответственно.

Свойство индексальности в порномеме работает, потому что пользователи знают, какой стигматизированный контент замещается. **Именно благодаря социальной сомнительности и провокационности контента порномемы способны бороться с пресыщенностью порношиком: они используют механизмы порношика, чтобы безошибочно отослать к стигматизированному содержанию, и поэтому действуют острее.** Нельзя утверждать, что увеличение количества порномемов ведет к дестигматизации порно — без стигматизированного контекста они не будут функционировать. Когда общество вновь устанет от обилия порномемов, порношик, скорее всего, привлечёт внимание общества к себе другими средствами.

Список литературы

1. [Бурдые 2011] — *Бурдые П.* Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. URL: [link](#) (дата обращения: 28.09.2021).
2. [Гапова 2011] — *Гапова Е.* Полный Фуко: тело как поле власти // Неприкосновенный запас. 2011. № 2. URL: [link](#) (дата обращения: 12.05.2020).
3. [Левченко 2015] — *Левченко Я.* Индустрия срама: освоение и коммодификация секса в позднем советском кино // Новое литературное обозрение. 2015. № 136. URL: [link](#) (дата обращения: 06.10.2020).
4. [Павлов 2012] — *Павлов А.* Порношик: от триумфа к забвению // Логос. 2012. № 6. С. 180–196.

5. [Уильямс 2012] — *Уильямс Л.* Порнография, порнуха и порно: мысли о поле, заросшем сорняками // Логос. 2012. № 6. С. 291–309.
6. [Davison 2012] — *Davison P.* The Language of Internet Memes // The Social Media Reader / Ed. Mandiberg M. New York, London: New York University Press, 2012. P. 120–134.
7. [McNair 2013] — *McNair B.* Porno? Chic!: How Pornography Changed the World and Made it a Better Place. London, New York: Routledge, 2013. 308 p.
8. [Shifman 2013] — *Shifman L.* Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker // Journal of Computer-Mediated Communication. 2013. № 3. P. 362–377.
9. [Shifman 2014] — *Shifman L.* The Cultural Logic of Photo-Based Meme Genres // Journal of Visual Culture. 2014. № 3. P. 340–358.

Ирина Алексеевна Антушева

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва),
Школа философии
и культурологии,
ОП «Культурология»
iaantusheva@edu.hse.ru

Irina Antusheva

National Research University Higher School of Economics (Moscow),
School of Philosophy
and Cultural Studies,
BA Programme “Cultural Studies”
iaantusheva@edu.hse.ru

Ян Сергеевич Левченко, PhD

Издательская группа
«Новое литературное
обозрение» (Москва),
Свободный Университет (Москва),
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград),
Институт гуманитарных наук
janlevchenko@gmail.com

Jan Levchenko, PhD

“The New Literary Observer”
Publishing Group (Moscow),
The Free University (Moscow),
Immanuel Kant Baltic Federal
University (Kaliningrad),
Institute for the Humanities
janlevchenko@gmail.com

2

НЕ/ВПИСЫВАЯСЬ В РАМКИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА НА ГРАНИЦЕ ДОСТОЙНОГО ЧТЕНИЯ: РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ИЛЛЮСТРАЦИЯ» В.Р. ЗОТОВ И ЕГО ЧИТАТЕЛИ¹

Руфина Красильщикова

УДК: 82–92.

Ключевые слова:
«Иллюстрация. Всемирное
обозрение», В.Р. Зотов,
иллюстрированный журнал,
середина XIX века
в России, политика
редактирования журнала.

Аннотация

На основе архивных материалов о журнале «Иллюстрация. Всемирное обозрение», издававшегося в Санкт-Петербурге в 1858–1863 гг. под редакцией В.Р. Зотова, показаны особенности взаимодействия редакции с авторами, читателями и другими редакциями, а также специфика этого издания как представителя иллюстрированной периодики, маргинального с точки зрения истории журналистики. Ориентируясь на массового читателя, главный редактор делал ставку на развлекательные рубрики и не рассчитывал на вдумчивого читателя; однако разразившийся из-за антисемитской статьи скандал показал, что многие подписчики развлекательной «Иллюстрации» относились к ней с тем же вниманием, что и к «серьезным» общественно-политическим и литературным изданиям.

1. Автор выражает благодарность к. ф. н. А.А. Костину за помощь в подготовке настоящего исследования.

Entertaining periodicals on the margin of decent reading: V.R. Zotov publisher of the “Illyustratsiya. Vsemirnoye obozreniye” and his readers

Rufina Krassilshchikova

Keywords:

*“Illyustratsiya. Vsemirnoye
obozreniye”, V.R. Zotov, illustrated
magazines, mid-19th century Russia,
magazine editing policy.*

Abstract

This article is devoted to the analysis of the production of one of the understudied and often perceived to be second-rate illustrated magazines of Russia. *Illyustratsiya. Vsemirnoye obozreniye* (“Illustration. A Worldwide Review”) was published in St. Petersburg in 1858–63 by V.R. Zotov. The primary aim of the study was to reveal specific patterns of interaction between the editorial office and involved individuals: from authors of articles to subscribers, as well as other publishers. The specificity of the magazine as of an illustrated periodical was also taken into account. Based on archival documents, we found out that Zotov opted for entertaining content and did not anticipate thoughtful readership of his magazine. However, a scandal caused by an anti-Semitic article revealed that most subscribers treated *Illustration* with the same degree of seriousness as they did sociopolitical and literary journals.

Традиционно исследователей интересуют журналы «серьезные», общественно-политические, в которых публиковались известные писатели, критики, публицисты. Развлекательные журналы, за редчайшим исключением, в историографический канон не входят, поэтому «Иллюстрация. Всемирное обозрение»² и его издатель Владимир Рафаилович Зотов исследованы сравнительно мало. Основными источниками информации о Зотове и об «Иллюстрации» являются две статьи: «В.Р. Зотов — критик и публицист 1850-х» (1959) Б.Ф. Егорова, в которой «Иллюстрации» уделено всего несколько абзацев, и статья в энциклопедии «Русские писатели» (1992) В.А. Викторовича, напоминающая скорее биографическую справку. Таким образом, предмет настоящего исследования представляется нам в известной мере маргинальным. **Во многом «Иллюстрация» оставалась на периферии исследовательского внимания из-за своего развлекательного характера, не соответствующего основному нарративу истории русской журналистики, обращающей внимание в первую очередь на социально-политическую проблематику и специализирующиеся на ней издания. Тем не менее, как будет показано в настоящей работе, журнал «Иллюстрация» в свое время был довольно известен: его читали, на него ссылались, что стало особенно очевидно, когда в нем была опубликована статья о еврейском вопросе, повлекшая за собой скандал, в котором приняли участие известнейшие журналы и публицисты середины XIX века.**

Основным материалом исследования послужил сохранившийся в собрании В.Р. Зотова (ИРЛИ РАН, ф. 548) редакционный архив журнала, включающий официальные и личные письма из учреждений и от физических лиц, печатные и рукописные документы различного характера, рукописи, заметки, записки, расписки, газетные вырезки, все так или иначе связанные с изданием журнала «Иллюстрация» и его редакцией.

Владимир Рафаилович Зотов родился 26 июня (3 июля) в Санкт-Петербурге в семье Рафаила Михайловича Зотова, достаточно известного (в том числе бесталанностью и политической благонадежностью) писателя и критика [Карпов 1992: 356]. В 1841 году В.Р. Зотов окончил Царскосельский лицей, и тогда же начал писать художественные произведения. Например, в «Отечественных записках» была опубликована поэма «Последний Хеак»³, на которую

2. Далее — «Иллюстрация».

3. «Отечественные записки» 1842, т. XXIV, № 10, отд. VI, стр. 39. Без подписи.

В.Г. Белинский написал разгромную рецензию: «...Он посвятил свое стихотворное изделие памяти Пушкина, Марлинского и Лермонтова, которые — счастливыцы! — не прочтут его и не пожалеют о нас, его прочитавших... Из этого следует, что смерть не совсем зло и что в ней есть своя хорошая сторона...» [Белинский 1955: 394].

Неудачи на литературном поприще заставили Зотова обратиться к другому делу, тоже связанному с литературой. Он стал редактором «Театральной летописи», продолжая, впрочем, до середины 1850-х годов писать пьесы⁴. С 1847 года Зотов был редактором «Литературной газеты», принимал участие в издании «Пантеона», писал статьи в «Фотографическое обозрение» и «Воскресный досуг», был секретарем издания «Голос». Кроме того, он явно сочувствовал революционным и либеральным идеям, в частности посещал встречи петрашевцев и за это даже был арестован, но впоследствии отпущен⁵. В 1890 году Зотов опубликовал в шести номерах «Исторического вестника» серию очерков-воспоминаний под общим названием «Петербург в сороковых годах» [Зотов 1890]. Скончался Зотов 6 (18) февраля 1896 года в Санкт-Петербурге, оставив после себя крайне обширный и подробный архив (еще при жизни Зотова приобретенный М.Н. Лонгиновым), благодаря которому оказывается возможным осветить некоторые важные аспекты работы одного из его журналов, «Иллюстрации».

Иллюстрированные журналы стали массовыми только с появлением новых технологий (ксилографии и литографии), которые позволяли относительно дешево печатать рисунки. Первый настоящий иллюстрированный журнал появился в России в 1835 году [Городецкий 1903: 55]. А к 1856 году, когда была задумана «Иллюстрация» и начался процесс подготовки ее издания, в России уже издавались «Художественная газета», «Листок для светских людей», «Русский художественный листок» и множество менее известных; некоторые из них к этому времени уже успели прекратить существование.

В 1858 году иллюстрированные журналы оставались относительно новым и современным видом журналов. Большое количество изображений делало журнал интересным, выделяло его на фоне других, содержащих только тексты: рисунки позволяли печатать новые

4. «Жизнь Мольера» (1843), «Новгородцы» (1844), «Сын степей» (1844) и др.

5. Об участии Зотова в собраниях петрашевцев говорил на допросе Ф.М. Достоевский [Достоевский 1981: 166].

формы статей и заметок. Появились такие новые форматы, как загадки, ребусы и шарады, напечатать которые можно было только в виде рисунков, а также прото-комиксы: картинки с подписями, рассказывающие какую-нибудь историю.

С приходом к власти в 1855 году Александра II начался процесс постепенной либерализации государства. В первый же год своего правления император распустил Бутурлинский комитет, что безусловно ослабило цензурный режим. «Если в последние годы николаевского царствования практически невозможно было начать издавать новый журнал, то теперь получить такое разрешение стало существенно проще» [Макеев 2017: 231–232].

Итак, время выхода «Иллюстрации» — это период относительной либерализации законов, регулировавших издательское дело, удобный и выгодный издателям как технологически, так и политически.

Один из самых ранних документов, отложившихся в редакционном портфеле «Иллюстрации», — это ее программа. Программу журнала необходимо было утверждать в Цензурном комитете. В ней указывалась частота выпусков, их формальное содержание (количество страниц, формат, типы иллюстраций). «Иллюстрация» должна была выходить «каждое Воскресенье», каждый номер обязан был включать в себя «два и более листа, большого формата, с картинками, планами, картами, отдельными гравированными и литографированными рисунками и проч., работы искуснейших русских и иностранных художников. <...> 16 страниц, и более, текста с рисунками» [РО ИРЛИ, Ф.548, оп. 1, № 49, л. 19].

Программа — не просто абстрактный план будущего издания, а официальный документ и инструмент контроля. Министерство просвещения могло использовать ее в качестве аргумента, чтобы не разрешить что-либо напечатать. Так, в 1859 году А.О. Бауман⁶ (второй основатель «Иллюстрации») подал прошение «касательно дозволения печатать частные объявления в издаваемом им, под редакцией Надворного Советника Зотова, журнале Иллюстрация» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49,

6. Об Алексее Осиповиче Баумане, со-основателе журнала «Иллюстрация», известно немного. Согласно статье С.Н. Шубинского «Пятидесятилетие литературной деятельности В. Р. Зотова» в «Историческом вестнике» (№ 11 за 1890 год), «...издатель Бауман был франкфуртский спекулятор, бравшийся за все, чтобы нажить деньги: открывавший увеселительные заведения в окрестностях столицы, писавший и издававший музыку, занимавшийся фотографией и составлением медицинских брошюр и кончивший тем, что <...> бежал из Петербурга, обобрав не только горсть доверчивых подписчиков, но и бедных сотрудников, получавших нищенский гонорар за свои работы».

л. 108]. Однако это разрешение Бауман не получил, поскольку «Г. Министр признал помещение оных в сем журнале несогласным с программой сего издания, почему и предписал С. Петербургскому Цензурному Комитету, на будущее время, строго придерживаясь программы Иллюстрации, никаких объявлений в ней к напечатанию не допускать»⁷. Это решение существенно ограничило бюджет издания.

По всей видимости, «Иллюстрация» была включена в сеть обмена периодическими изданиями между редакциями, о чем свидетельствуют многочисленные письма — как отправленные Зотовым, так и полученные им⁸.

Так, в архиве находится целый ряд одинаковых писем от разных издательств и редакций примерно следующего содержания: «На предложенный оною Редакциею обмен экземпляра Иллюстрации на экземпляр Атенея Редакция последнего согласна» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 39]; или: «Контора Редакции Современника препроводя при сем первую книгу Современника, просит выслать Иллюстрацию по следующему адресу: Ивану Ивановичу Панаеву, на углу Литейной и Басейной, в дом Норовой» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 38].

В конце 1858 года Зотов, уже будучи редактором «Иллюстрации», договаривался с И.С. Аксаковым об обмене журналами: «Я получил предложение двух журналов “Русской беседы” и “Паруса” — обмениваться на “Иллюстрацию”, находящуюся под моей редакцией. Оба предложения подписаны вами как редактором. Не думая, чтобы вы имели надобность в двух экземплярах моей газеты, имею честь предложить вам следующее: в нынешнем году я получал в обмен на Иллюстрацию — Русскую Беседу вместе с Сельским благоустройством. Между тем в предложении на обмен Беседы не говорится ничего о благоустройстве. Тогда как мне нужен этот журнал, на статьи которого я постоянно обращаю внимание моих читателей в еженедельном обзоре внутренних событий в России» [РО ИРЛИ, Ф. 382, оп. 1, №22, л. 1].

Обмен изданиями был совершенно необходим в то время, поскольку он позволял, как пишет сам Зотов, ссылаться на что-то напеча-

7. Там же.

8. Например, помимо упомянутых в работе, с журналом «Современник» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 38], журналом «Русский вестник» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 41], с «Юридическим журналом» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 48] и с «Санкт-Петербургскими ведомостями» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 51].

танное в другом издании или использовать материалы, найденные другим изданием, в своем. Судя по большому количеству найденных нами писем Зотову и от Зотова, речь в которых идет об обмене, для редакции журнала «Иллюстрация» (а также для ее корреспондентов) это было обычным делом.

Для исследователей истории русской журналистики наибольший интерес представляют авторы общественно-политических или серьезных литературных журналов. Хорошо исследованы Герцен, Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Белинский, самые известные писатели — Толстой, Тургенев, Достоевский, печатавшие свои произведения в журналах Некрасова, Краевского и других видных редакторов.

На примере таких изученных изданий мы можем увидеть некоторые закономерности отношений редакторов и авторов. В 1856 году редакторы «Современника» заключили с несколькими писателями эксклюзивные договоры, согласно которым те обязывались не печатать свои тексты в других изданиях: «Некрасов и Панаев заключили с четырьмя писателями — Львом Толстым, Тургеневым, Островским и Григоровичем, — “обязательное соглашение” о их “исключительном сотрудничестве” в “Современнике”: те должны были публиковать свои сочинения только в нем, получая за это “дивиденд” — долю от чистой прибыли, остававшейся после покрытия всех расходов на издание журнала» [Вдовин 2017: 124]. Однако это не мешало писателям постоянно нарушать договор, и спустя два года Некрасов «сам разослал подписантам “обязательного соглашения” письмо с предложением расторгнуть его, которое было с готовностью принято ими» [Макеев 2017: 262]. Зотовым от лица «Иллюстрации» никаких подобных договоров не заключалось.

Вероятнее всего, авторов «Иллюстрации» часто не хватало. Известно, что многие тексты писал сам Зотов [Викторович 1992: 355]. При этом прислать свой материал — статью, рисунок, задачу, новость, — мог любой человек. Редактор прочитывал это и отбирал то, что считал подходящими для журнала. Затем материал, если его одобряли цензоры, попадал на страницы «Иллюстрации». В основном авторы журнала делились на две группы: те, кто занимался сочинительством или рисованием ради заработка, и те, кто делал это в свободное время, иногда даже не прося за свои труды никакого гонорара. Например, сохранилось письмо некоего иллюстратора А. Црамашова [?]: «Вы были так добры, что обещали известить меня, будут ли мои картинки помещены в нынешнем году. <...> Позвольте так-

же побеспокоить Вас относительно денег; *(неразб.)* крайняя нужда: *(неразб.)* хозяйка заставляет меня переменить квартиру, за которую заплачено вперед» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 13]. Возможно, мы можем рассмотреть это письмо как пример переписки с первой категорией авторов. Полная его противоположность — автор рисунков или ребусов А. Виноградов. Он пишет: «Если препровождаемый при сем типический рисунок будет найден Вами годным для помещения в “Иллюстрацию”, в таком случае я с удовольствием буду доставлять вам рисунки этого рода, не требуя за них вознаграждения, но, я надеюсь, вы тогда не откажете приказать выслать мне номера “Иллюстрации”» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 38].

Среди авторов «Иллюстрации» есть несколько примечательных личностей, среди них цензор А. Ярославцев. Он написал рецензию на книгу и предложил журналу «Иллюстрация» и лично Зотову ее напечатать: «В усердии к общему благу, я написал небольшую, очень умеренную, как и сами Вы изволите усмотреть, рецензию на новое шестое издание книги: Краткая Всеобщая История в простых рассказах для детей и проч. и проч. Н. Берте. <...> Пусть будущие антиквариумщики утешатся, что нашелся же журнал, который осмелился указать Г-ну Берте на недостатки в его учебнике, и — не потревожат костей наших в могиле негодованием!» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 61–61 об.].

В «Иллюстрации» публиковались и стихи Н.Ф. Щербины, известно в свое время поэта, но практически все остальные тексты писали авторы не известные ни тогда, ни сейчас. В определенной мере можно сказать, что Щербина был хедлайнером журнала: его антологические стихи печатались на первой или второй полосе, всегда — с иллюстрацией (часто строящейся на изображении обнаженной женской фигуры) вице-президента Академии художеств Ф.П. Толстого. Считал ли Зотов, что его журнал покупают ради картинок, и поэтому не стремился приглашать гораздо более видных авторов? Возможно, так оно и было, это подтверждает и образ читателя, на которого ориентировался Зотов.

Середина XIX века — время исключительного роста популярности печатного слова. В этот период «начинают работать различные факторы — от постепенного удешевления типографского производства, расширения сети публичных библиотек, делающих доступной дорогую книгу, роста грамотности и появления свободного времени у значительной части работающих до роста зарплат и создания новых осветительных приборов, дающих возможность читать и вечером и ночью» [Киржаева, Осовский 2020: 162]. В России ко всем этим факто-

рам можно добавить уже упомянутые выше реформы Александра II. Читателями становятся представители самых разных взглядов, однако каждый политический журнал ориентируется на какую-то идеологическую группу (западников, славянофилов и т.д.).

Развлекательные журналы ориентировались скорее на читателя, представлявшего класс людей обеспеченных, имевших свободное время и свободные деньги, которые они готовы были тратить. К примеру, параллельно с работой в «Иллюстрации» Зотов был редактором журнала «Иллюстрированный семейный листок», который ориентировался «на малообразованного читателя: купцов, мелких чиновников и т. д. Книжки “И. с. л.” заполнялись серой беллетристической, описаниями путешествий, популярными статьями по истории, искусству и естествознанию, биографиями, хозяйственными советами» [Русская... 1959: 376].

Журнал не мог существовать без подписчиков и читателей. Большинство из них «абонировались», то есть подписывались на журнал на полгода или год. Согласно рекламе, полугодовая подписка стоила 9 рублей серебром, а годовая — 16 рублей серебром [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 26]. В конце 1858 года из редакции были разосланы шаблонные письма тем, кто заплатил за первый год больше, чем нужно: «Вместо 16 руб. серебром следующих за первый (1858) год моей газеты Иллюстрация, прислали Вы (*пропуск*) руб. сер. Если желаете абонироваться на второй год, то прошу дослать мне еще (*пропуск*) рублей. Если же Вы моим изданием не довольны и не желаете подписаться на следующий год, то покорнейше прошу меня уведомить, чтобы я мог послать обратно излишне присланные Вами деньги» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 45]. Даже если рассылка подобных писем не была чем-то исключительным для редакционной политики того времени, этот шаблон показывает внимательное отношение редакции к своим читателям.

Журнал «Иллюстрация» стоил относительно дорого. В 1858 году стоимость 5 пудов (81 килограмм) пшеничной муки составляло 5,5 рублей (552 копейки), а жалованье рабочего за день — меньше рубля [Бородкин 2001: 333]. Вероятно, Зотов нацеливался на читателей обеспеченных, готовых потратить половину месячного жалованья рабочего на развлечение.

Особым интересом читателей пользовалась последняя страница журнала, содержащая загадки, ребусы и шарады. Некоторые читатели предлагали свои задачки и ребусы. Например, вот такое письмо при-

шло от некоего Силлы Львова (июнь 1859 года): «Из числа выписываемых мною отечественных журналов, более всех удовлетворяет моему желанию издаваемый Вами “Иллюстрация”. <...> Я долгом счел посвятить Вам, для напечатания в журнале “Иллюстрация” составленный мною и приложенный здесь ребус <...>. Если же ребус этот не будет разгадан редакцией, то я покорнейше прошу объявить об этом в издаваемом Вами журнале и тогда, с особенным моим удовольствием, в первую же почту я вышлю Вам разгадку» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 31]. Похожие письма, датированные 1860 годом, с предложениями ребусов пришли в редакцию от Якова Козинцова из Херсона [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 33] и Петра Шепелева из Петербурга [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 37]. Еще больше читателей присылали свои ответы. Решение одной задачи из № 109 предлагалось в совсем коротком письме без обращения: «решение задачи № 6 (круги с цифрами как-либо соединенные) (далее следует схема с решением – прим. Р.К.)» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 137] — и в более подробном: «Первые тринадцать цифр расположены так, что сумма трех цифр находящихся на шести диаметрах больших и маленьких кругов, а также сумма четырех цифр, находящихся на четырех хордах и на окружности самого круга, (неразб.) равна 26» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 139].

Обилие подобных писем показывает, что журнал пользовался популярностью, а его читатели охотно писали в редакцию. Однако Зотов, по всей видимости, не до конца понимал, кто читает его журнал. Это стало очевидно в первый год работы «Иллюстрации», когда случился так называемый «Еврейский скандал».

К середине XIX века положение евреев в России было следующим. Николай I проводил политику антисемитизма, усложняя тем самым и без того непростую жизнь евреев, лишенных возможности жить в крупных городах и свободно заниматься некоторыми видами деятельности, например, виноторговлей [Клиер 2012: 23, 28]. За время своего правления он ввел обязательную рекрутскую повинность⁹, лишил кагалы полномочий, запретил евреям носить традиционную одежду, замужним женщинам брить головы, а мужчинам носить кипы вне синагог. В начале 40-х годов император решил организовать систему светских школ для еврейских детей, что должно было

9. Изложение законодательства о евреях приведено по книге «История еврейского народа в России. От разделов Польши до падения Российской империи» (2012) и по справочнику «Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев...» [Полный... 1874].

способствовать вливанию еврейского населения в общество. С приходом к власти в 1856 году Александра II положение евреев стало постепенно улучшаться. В 1859 году купцам первой гильдии, людям с высшим образованием, а также среднему медицинскому персоналу из числа евреев было разрешено селиться вне черты оседлости. Как демонстрирует следующий случай, эти изменения стали ощущаться обществом еще до принятия законов, расширяющих права евреев.

Во второй половине 1858 года в журнале «Русский инвалид» появилась статья о евреях. В № 35 журнала «Иллюстрация» от 4 сентября 1858 года был опубликован ответ на эту статью, в которой, согласно автору «Иллюстрации», «некий фельетонист вступился за сословие западно-русских жидов». Часть исследователей полагала, что статья-ответ была написана В.Р. Зотовым (под псевдонимом Знакомый человек¹⁰). Однако, согласно сохранившимся черновикам, ее написал П.М. Шпилевский.¹¹ В этой статье автор раскритиковал политику расширения прав евреев: «...[Я] пригляделся к образу жизни талмудистов, ознакомился даже с их учением и заблуждениями, а главное — имел столкновения с этим племенем. <...> Цель фельетониста “Русского Инвалида” та, чтобы выставить западно-русских жидов в самом светлом виде и навести читателей на ту мысль, что наши западно-русские жида имеют полное право на общее внимание, сочувствие».¹²

Статья вызвала бурную реакцию. Некий И. Чацкий ответил на страницах «Русского вестника» «Знакомому человеку». Тот, в свою очередь, обвинил Чацкого в неискренности: «Статья наша вызвала оппозицию со стороны Иудо-филов, без всякого сомнения агентов знамени того г. Н., который как видно не жалеет золота для славы своего имени».¹³ Чацкий и Зотов обменялись открытыми письмами в «Московских ведомостях» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 150–151] и в «Иллюстрации» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 160]. Известно, что Шпилевский очень боялся огласки своего имени: «Еще больше “дрожал” Шпилевский: “Я боюсь, что вы (Зотов — Б. Е.) меня отдадите на съедение, только печатно не обнаруживайте моего псевдонима”» [Егоров 1959: 120].

Кроме авторов журнальных статей, в полемике приняли участие и их читатели. Некоторые стали поддерживать «Иллюстрацию». Например, некий аноним написал Зотову: «Хоть я один раз имел удо-

10. Согласно справочнику «Русская периодическая печать (1702–1894)» [Русская... 1959].

11. «Авторство Шпилевского раскрывается на основании его писем к Зотову — см., например, № 49, л. 159» [Егоров 1959: 120].

12. Иллюстрация. № 35 от 4 сентября 1858 года.

13. Иллюстрация. № 43 от 30 октября 1858 года.

вольствие видется с Вами, но искренно любя Вас, спешу принять самое (*неразб.*) участие в Вашем неприятном положении, которое встревожило Вас до того, что Вы совершенно растерялись и отвечали своему противнику извинениями, тогда как в сущности вовсе невиноваты» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 166], а некий преподаватель из Санкт-Петербургского университета Л. Блюмскул [?] сообщал следующее: «В нашем Университете студенты собирают по подписке имена, для составления большинства, чтобы потом отправить письмо в “Русский Вестник” от лица всего университетского сословия (*неразб.*) согласия на протест» [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 184].

Примечательно, однако, что полемика не ограничилась частными лицами. В ней приняли участие и множество видных изданий.¹⁴ К примеру, в № 265 «Русского вестника» появился призыв подписаться против журнала «Иллюстрация»: «Нижеподписавшиеся С САМЫМ СИЛЬНЕЙШИМ НЕГОДОВАНИЕМ <...> протестуют против клеветы <...> и проч., до которых унизилось одно из лучших петербургских изданий, именуемое “Иллюстрацией”, выходящее под редакцией Владимира Зотова». Целью призыва было подавление деятельности журнала с помощью большого количества выступающих против него. Призыв подписан П.Д. Добудко, а за ним подписалось еще девяносто человек [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 182–183], в том числе И.С. Аксаков, М.Н. Катков, Е.Ф. Корш, В.П. Гаевский и Н.Г. Чернышевский. В «Санкт-Петербургских ведомостях» аналогичный протест был подписан, согласно статье в №49 «Иллюстрации» «гг. Кавелиным, Тургеневым, Краевским и Галаховым».

Столкновения закончились статьей в № 49 «Иллюстрации», в которой Зотов поместил свое письмо в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей»: «Подобная полемика, ничего не разъясняющая, не имеющая в себе ничего литературного, очевидно, не может продолжаться. Для достоинства самой литературы, мы прекратим ее и не будем отвечать на личные выходки наших противников <...> просить вас напечатать также и мой ответ, не как бывшего сотрудника вашей газеты, а как человека, имеющего право, в свою очередь, протестовать против несправедливо взведенного на него обвинения».

Этот скандал не мог не повлиять на журнал. Судя по количеству протестовавших и возмущавшихся и по тому, насколько значимыми в литературно-журнальных кругах были протестовавшие, можно предположить, что «Иллюстрация» могла перестать считаться «од-

14. «В 1858 г. антисемитская позиция редактора петербургской газеты “Иллюстрация” В. Зотова, считавшего евреев не заслуживавшими эмансипации, вызвала коллективный протест 147 известных общественных деятелей, ученых, писателей и журналистов, подчеркнувших, что евреи являлись неотъемлемой частью российского общества» [Шнирельман 2010: 156].

ним из лучших петербургских изданий». Кроме того, и сотрудники «отказывались участвовать в “Иллюстрации”»: Н.Ф. Щербина, например, писал Зотову, что переводчица Новосильцева требует возвратить ее работы <...>, «Литературный фонд» (его председателем был Гаевский — прим. Р. К.) тайным голосованием в 1859 г. провалил кандидатуру Зотова, желавшего вступить в эту организацию» [Егоров 1959: 120].

Этот скандал показывает, что люди, читающие журнал Зотова, не только смотрели на последнюю страницу с ребусами и шарадами, но и внимательно вчитывались в тексты, на которые он не делал ставки. Особенно примечательна была бурная реакция коллег по журнальному полю, не стеснявшихся публично высказываться против «Иллюстрации», авторов и редакторов.

В 1859 году П.А. Радищев прислал в «Иллюстрацию» свою статью об отце, А.Н. Радищеве: «пишет он (Радищев — прим. Р. К.) редактору журнала “Иллюстрация” В.Р. Зотову, — Александр Александрович Корсунов послал по почте в вашу редакцию полученные им от меня биографию Александра Николаевича Радищева с его портретом, видом Илимска и видом его дома» [Бабкин 1959: 15]. Неудивительно, что эта статья была сразу же запрещена цензурой [Могилянский 1950: 288].

Но в марте 1861 года в № 159 «Иллюстрации» была напечатана другая статья о Радищеве, автором которой стала Софья Дмитриевна Хвощинская. Она была известна своим критическим отношением к дворянству: «Все произведения Хвощинской посвящены суровому изображению и анализу социального вырождения русского дворянства» [Могилянский 1950: 288]. Так и статья о Радищеве полна положительных оценок его деятельности. За ее публикацию «главное управление цензуры немедленно покарало не только редактора “Иллюстрации” В.Р. Зотова, отстранив его от редактирования журнала, но и цензора Е.Е. Волкова, дозволившего к печати ранее запрещенные материалы» [Могилянский 1950: 288].

«Иллюстрация» просуществовала до середины 1863 года и была слита с другим, уже упомянутым выше, изданием Зотова, «Иллюстрированным листком», о чем было сообщено в № 274 «Иллюстрации» от 20 июня 1863 года. Никаких документов или писем, объясняющих это решение, нами найдено не было.

Владимир Рафаилович Зотов, принимавший большинство решений относительно журнала «Иллюстрация», представляет особый интерес для исследователей. Из-за фрагментарности архивных материалов трудно составить полное представление не только о его личности в целом, но и даже о его деловых качествах: он словно отражается в осколках зеркала. Зотов представляется нам честным, ответственным редактором, у которого есть принципы рабочей этики (например, всегда оплачивать материалы) и чутье, необходимое человеку, продающему что-то публике.

На страницах «Иллюстрации» никогда не появлялись работы на острые политические темы¹⁵, а статья о евреях стала предметом полемики случайно: по всей видимости, Зотов не считал ее общественно опасной.¹⁶ Почему же издатель ориентировался на читателя, желавшего отдохнуть от трудных тем и сложных рассуждений? Был ли это вопрос безопасного существования журнала, или по каким-то (например, репутационным) причинам с Зотовым не хотели сотрудничать (как, к примеру, упомянутая выше переводчица Новосильцева)? К сожалению, точно узнать это в рамках нашего маленького исследования не удалось. Тем не менее можно утверждать, что Зотов сумел создать заинтересовавший читателей журнал: они живо откликались на самые разные статьи и заметки, а он продолжал функционировать и пользоваться спросом все пять лет своего существования.

Из-за относительной скудости материалов нам не удалось получить однозначных ответов на некоторые из поставленных вопросов. Тем не менее можно составить общую картину функционирования иллюстрированного издания, поведения редактора, а также получить некоторое представление о мире малоисследованных нелитературных и неполитических журналов середины XIX века.

15. Большинство статей в Иллюстрации были посвящены моде, культуре или литературе. Там печатались и политические новости, имеющие, впрочем, скорее светский характер. К примеру, описание свадьбы принцессы Сицилийской Марии (№ 60 от 5 марта 1859 г. стр. 148).

16. «Видимо, Зотов не ожидал бурной ответной реакции со стороны <...> русских общественных деятелей и литераторов» [Островский: 2005].

Список источников

1. [РО ИРЛИ, Ф. 382, оп. 1, № 22, л. 1] — РО ИРЛИ, Ф. 382, оп. 1, № 22, л. 1. Письмо В.Р. Зотова И.С. Аксакову. 1858 г.
2. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 19] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 19. Программа журнала «Иллюстрация. Всемирное Обозрение». 1857 г.
3. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 26] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 26. Рекламное объявление. 1858 г.
4. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 45] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 45. Шаблон письма подписчикам журнала. 1858 г.
5. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 108] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 108. Письмо от министерства народного просвещения. 1859 г.
6. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 150–151] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 150–151. Письмо от г-на Чацкина в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение». 1858 г.
7. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 160] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 60. Письмо В.Р. Зотова в редакцию журнала «Ведомости». 1858 г.
8. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 166] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 166. Письмо в поддержку В.Р. Зотова. 1858 г.
9. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 182–183] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 182–183. Дополнительный список лиц, протестующих против поступка «Иллюстрации», составленный по вызову 265 № «Русского Инвалида». 1858 г.
10. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 184] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 49, л. 184. Письмо в поддержку В.Р. Зотова из Университета. 1858 г.
11. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 13] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 13. Письмо от художника в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение». 1858 г.
12. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 31] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 31. Письмо от читателя в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение». 1859 г.
13. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 33] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 33. Письмо от читателя в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение». 1860 г.
14. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 37] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 37. Письмо от читателя в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение». 1860 г.

15. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 38] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 38. Письмо от художника А. Виноградова в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение». 1858 г.
16. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 61–61 об.] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 61–61 об. Письмо от читателя в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение». 1860 г.
17. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 137] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 137. Письмо от читателя в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение» с решением задачи. 1860 г.
18. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 139] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 51, л. 139. Письмо от читателя в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение» с решением задачи. 1860 г.
19. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 38] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 38. Письмо в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение» из редакции журнала «Современник». 1858 г.
20. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 39] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 39. Письмо в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение» из редакции журнала «Антей». 1858 г.
21. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 41] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 41. Письмо в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение» из редакции журнала «Русский вестник». 1858 г.
22. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 48] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 48. Письмо в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение» из редакции Юридического журнала. 1860 г.
23. [РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 51] — РО ИРЛИ, Ф. 548, оп. 1, № 52, л. 51. Письмо в журнал «Иллюстрация. Всемирное Обозрение» из редакции журнала «Санкт-Петербургские новости». 1860 г.

Список литературы

1. [Бабкин 1959] — *Бабкин Д.С.* Первые биографы А.Н. Радищева // Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями / Д.С. Бабкин, Н. А. Радищев, П. А. Радищев. М., Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1959. С. 3–37.
2. [Белинский 1955] — *Белинский В.Г.* Последний Хеак. Поэма В. Зотова. // В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 6. Статьи и рецензии (1842–1843). М.: Издательство Академии Наук СССР, 1955. 394 с.
3. [Бородкин 2001] — *Бородкин Л.И.* Неравенство доходов в период индустриальной революции. Универсальна ли гипотеза о кривой

- Кузнецова? // Россия и мир. Памяти профессора Валерия Ивановича Бовыкина: Сб. статей. М.: РОССПЭН, 2001. С. 331–355.
4. [Вдовин 2017] — *Вдовин А.В.* Добролюбов. Разночинец между духом и плотью. М.: Молодая гвардия, 2017. 296 с.
 5. [Викторович 1992] — *Викторович В.А.* Зотов Владимир Рафаилович // Русские писатели. 1800–1917: Биограф. словарь. М. 1992. Т. 2. С. 354–356.
 6. [Городецкий 1903] — *Городецкий Д.М.* Первые иллюстрированные журналы в России. // Нива. 1903. №3. С. 53–55.
 7. [Достоевский 1981] — *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. / редкол.: В. Г. Базанов (отв. ред.) и др.; ИРЛИ. Т. 22. Дневник писателя за 1876 год. Январь-апрель / текст подгот. и примеч. сост. А. В. Архипова и др. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. 407 с.
 8. [Егоров 1959] — *Егоров Б.Ф.* В.Р. Зотов — критик и публицист 1850-х гг. // Труды по русской и славянской филологии. Тарту. 1959. № 78. С. 107–132.
 9. [Зотов 1890] — *Зотов В.Р.* Петербург в сороковых годах // Исторический Вестник. Историко-литературный журнал. Том XL. 1890. № 2. С. 536–545 URL: [link](#) (дата обращения: 15.05.2021).
 10. [Карпов 1992] — *Карпов А.А.* Зотов Рафаил Владимирович // Русские писатели. 1800–1917: Биограф. словарь. М. 1992. Т. 2. С. 356–358.
 11. [Киржаева, Осовский 2020] — *Киржаева В.П., Осовский О.Е.* «Буржуазный читатель» глазами постбуржуазного исследователя: о книге Т.Д. Венедиктовой «Литература как опыт, или “буржуазный читатель” как культурный герой». М.: Новое литературное обозрение, 2018. 280 с. // Текст. Книга. Книгоиздание. 2020. № 23. С. 158–170.
 12. [Клиер 2012] — *Клиер Дж.* Развитие законодательства о евреях в Российской империи (1772–1881) / пер. с англ. О. Ковалевой. В кн: История еврейского народа в России. От разделов Польши до падения Российской империи. / под. ред. И. Лурье. Том 2. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2012. 534 с. С. 23–37.
 13. [Макеев 2017] — *Макеев М.С.* Николай Некрасов. М.: Молодая гвардия, 2017. 463 с.
 14. [Могиланский 1950] — *Могиланский А.П.* Анонимная статья о Радищеве 1861 г. // Радищев. Статьи и материалы. Ленинград, 1950. С. 287–289.
 15. [Островский 2005] — *Островский В.* Российский антисемитизм за полтора века (от фельетонистов до депутатов) // Заметки по еврейской истории. 2005. № 2 (51). URL: [link](#) (дата обращения: 15.05.2021).

- 16.[Полный... 1874] — Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев, от Уложения царя Алексея Михайловича до настоящего времени, от 1649–1873 г.: Извлечение из полных собраний законов Российской империи / сост. и изд. В.О. Леванда. С. Петербург: Тип. К.В. Трубникова, 1874. 1158 с.
- 17.[Русская... 1959] — Русская периодическая печать (1702–1894): Справочник. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1959. 835 с.
- 18.[Шнирельман 2010] — *Шнирельман В.А.* Лица ненависти (антисемиты и расисты на марше). М.: Московское бюро по правам человека, «Academia», 2010. 336 с.
- 19.[Шубинский 1890] — *Шубинский С.Н.* Пятидесятилетие литературной деятельности В. Р. Зотова // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 1890. Т. XLII. № 11. С. 508.

Руфина Александровна
Красильщикова
Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа
экономики» (Санкт-Петербург),
Департамент филологии,
ОП «Филология»
rufinakra@gmail.com

Rufina Krassilshchikova
National Research University
“Higher School of Economics”
(St. Petersburg),
Department of Philology,
BA programme “Philology”
rufinakra@gmail.com

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ДРАМАТУРГИИ АННЫ РЫ НИКОНОВОЙ-ТАРШИС

Таисия Фролова

УДК: 821.161.1.

Ключевые слова:
Анна Ры Никонова-Таршис,
Сергей Сигей, трансфуризм,
сюрреализм, авангард.

Аннотация

Статья посвящена анализу драматургии трансфуристов, ярче всего представленной в творчестве Анны Ры Никоновой-Таршис. Автор делает предположение о наличии схожих тенденций в пьесах Ры Никоновой и театре французских сюрреалистов. В числе ключевых общих свойств трансфурического и сюрреалистического театра автор называет: нереалистичную, гротескную эстетику; девальвацию языка; акцент на первичности визуального образа; специфическое отношение к актеру и зрителю; схожесть с ритуалом и перформансом. Последнее качество выделяется как наиболее важное, поскольку именно благодаря ему сюрреалистические и трансфурические драматургические тексты могут быть актуальными в современном театральном пространстве.

The Features of Surrealism in the Plays by Anna Ry Nikonova-Tarshis

Taisiia Frolova

Keywords:

*Anna Ry Nikonova-Tarshis,
Sergey Sigey, Transfuturism,
Surrealism, avant-garde.*

Abstract

The article is devoted to the analysis of the theatrical works of Transfuturists. A most prominent instance of such works can be found in the plays by Anna Ry Nikonova-Tarshis. The author suggests a consideration of the presence of similar characteristics in Nikonova's writing and the French Surrealist theatre. Among the key common features, the author names an unrealistic, grotesque aesthetics; devaluation of language; emphasis on the primacy of the visual image; specific attitude to the actor and to the spectator; and similarity of plays to a ritual and performance. The latter feature stands out as the most important one and is a possible reason for the relevance of the Surrealist and Transfuturist dramatic texts in the contemporary theatrical space.

Группа трансфуристов во главе с поэтессой, прозаиком и драматургом Анной Ры Никоновой-Таршис сформировалась в середине 1960-х и вела активную деятельность вплоть до середины 1990-х¹. Ее самыми яркими участниками стали сама Ры Никонова и ее муж Сергей Сигей, а литературными идеалами — футуристы начала века (в особенности Хлебников и Крученых). Основные черты творчества трансфуристов, безусловно, повторяют авангардистские приемы их предшественников: отрицание традиционных эстетических ценностей, визуально-вербальное восприятие текста, использование зауми. Как замечает исследователь Д. Иоффе: «В отличие от “исторического” авангарда, у Никоновой и Сигея нет претензии на безусловную, онтологически абсолютно-абсурдную Новизну» [Иоффе 2018]. Однако трансфуристы делали акцент на «дальнейшей радикализации авангардной зауми вплоть до концептуального аннигилирования самого понятия литературы» [Иоффе 2018].

Положение трансфуристов в литературном процессе 70–80-х было маргинальным даже в сравнении с другими представителями неподцензурного искусства. Помимо невозможности официального признания, маргинальность трансфуристов была обусловлена, во-первых, их географической отдаленностью от главных культурных центров страны — Москвы и Петербурга (наиболее значимый для трансфуристов творческий период прошел в провинциальном городе Ейске), во-вторых, ручным способом изготовления журналов: трансфуристский журнал «Транспонанс» выходил тиражом не более 10 копий, что делало его широкое распространение даже в рамках андеграундной публики почти невозможным². Любопытно, что в период с 1979 по 1984 годы трансфуристы проявляли интерес к видному представителю московского концептуализма Д. Пригову и предпринимали попытки вступить с ним в творческий диалог. Однако это сотрудничество не получило значимого развития, вероятно, как замечает М. Саббатини, из-за того, что Пригов не разделял восторженного отношения к историческому авангарду и в целом все более критично относился к наличию авторского высказывания в тексте [Саббатини 2019].

Сложившиеся условия не дали драматическим работам трансфуристов возможности получить признание: их пьесы никогда не ставились для широкой аудитории, «с театром как учреждением ни один

1. Стоит изначально обратить внимание, что название группы было именно «трансфуристы», хотя, безусловно, эстетика движения предполагала его ошибочное прочтение как «трансфутуристы».

2. Подробный анализ самых характерных номеров «Транспонанса» предпринимает Джеральд Янечек в своей статье «Report on transfurism» [Janecsek 1998].

из них не имел дела» [Смирин 2018]. Систематических научных исследований этой области также не предпринималось. Однако именно драматургия трансфуристов, заслуживает, на наш взгляд, особенного внимания. Во-первых, потому, что трансфурические пьесы с их ярко выраженным перформативным и экспрессивным характером могут актуализировать наследие трансфуристов в современной культуре. Во-вторых, в драме и театральной эстетике трансфуристов мы обнаруживаем черты, позволяющие говорить о родстве их движения с ключевыми авангардистскими театрами мировой культуры. Особенно явно схожие черты прослеживаются между трансфурическим и сюрреалистическим течениями³. Попытку выявить эти черты мы и предпримем в нашей статье, проводя сравнение избранных пьес Анны Ры Никоновой и теоретических работ трансфуристов о театре с драматургией и эстетикой сюрреалистов.

Близость сюрреалистического и трансфурического движений прослеживается уже на уровне основополагающего эстетического принципа. Точнее всего его можно определить метафорой французского поэта Лотреамона в отношении своего персонажа Мервина: «прекрасный, как... случайная встреча на анатомическом столе швейной машины с зонтиком» [Moussinac 1966: 248]. Другими словами, в центре эстетики сюрреализма стояло преобразование объекта до невообразимого, нереального состояния, поскольку реальность, по мнению сюрреалистов, некрасива по определению. Бретон в «Первом манифесте сюрреализма» объявляет реалистическую точку зрения «глубоко враждебной любому интеллектуальному и нравственному порыву», так как она, по его мнению, «представляет собой плод всяческой посредственности, ненависти и плоского самодовольства» [Бретон 1986: 42].

Аналогичная концепция становится базовой и для трансфурической эстетики. Уже в первом номере «Транспонанса» С. Сигей заявляет, что только авангардистская литература продолжает традицию умения «писать высококачественно». «Вздор — главная услада трансфуриста», — гласит манифест трансфур-поэтов [Сигей 1986]. Можно проследить, что Ры Никонова следует этому кредо в подавляющем большинстве своих пьес. Проиллюстрируем на примере «Ритмической пьесы». Ее главные герои — Ложка, Вилка, Тарелка и Полотенце, — репрезентируют Натюрмортиста, Баталиста, Марииниста и Портретиста. Связь между художниками и изображающими

3. Под термином «сюрреализм» мы подразумеваем черты, характерные для группы французских сюрреалистов, сложившейся в Париже в середине 1920-х годов под предводительством Андре Бретона, а также авторов, признаваемых ими за сюрреалистов — Р. Руссель, А. Жарри и др.

их предметами не имеет никакого логического основания. Действие пьесы построено на своеобразной словесной игре из реплик, связанных очень отдаленным синтаксическим сходством:

«ЛОЖКА: Вчера сотворил одну сливу — загляденье. Назову: “Две сливы”. Там одна стоит двух.

ТАРЕЛКА: Писал море до двух. После двух не хватило воспоминаний.

ПОЛОТЕНЦЕ: Все рожки, как вафли, 5 копеек цена.

ВИЛКА: А я за мир.

НАРОД: Хлеба!

ЛОЖКА: Был в галерее, смотрел на сливы, куда там...

ТАРЕЛКА: Хватит! Осточертел синий цвет» [Ры Никонова-Таршиц, Сигей 2020: 23].

Непоследовательность и бессмысленность данного полилога на-
талкивают на мысль о применении автоматического письма (одной
из излюбленных сюрреалистических техник) при его создании⁴. По-
добным образом коммуникация выстраивается на протяжении всей
пьесы, приводя в конечном итоге только к тому, что Народ вслед
за Вилкой начинает повторять реплику «За мир!».

Игру с девальвацией и дезинтеграцией языка продолжает боль-
шинство пьес Ры Никоновой. В работе «Петухи» автор вообще прак-
тически отказывается от коммуникационных функций речи, обра-
щаясь исключительно к ее аудиовизуальным свойствам:

*«КОРОВА: Му-
-у
учение какое — м —
мычать*

*ПЕТУХИ
(у курятника): Что так-
-о
о-е!?!*

*КОРОВА: Мы-
-ы
ычать не м-
-м
могу больше» [Ры Никонова-Таршиц, Сигей 2020: 18].*

4. Автоматическое письмо было главным творческим методом сюрреалистов с 1919 по 1933 годы. «На эту практику сюрреалисты возлагали столь высокие надежды, что какое-то время эпитет “автоматический” даже употреблялся как синоним “сюрреалистического”» [Шенье-Жандрон 2002].

Многие другие пьесы либо совсем лишены слов («Растения похожие на зверей», «Траур», «Пьеса насекомых»), либо окончательно сводят их функциональность к звуковым эффектам: например, вся речь во «Второй стене» состоит из шума и гама.

Значительная часть работ Ры Никоновой строится на специфическом визуальном образе, не сопровождаемом абсолютно никакими репликами: к примеру, действие пьесы «Вещи Вещи или Вещи Вещие» состоит из того, что люди «одинаковые ростом, цветом, толщиной» меняют местами разные вещи [Ры Никонова-Таршис, Сигей 2020: 51].

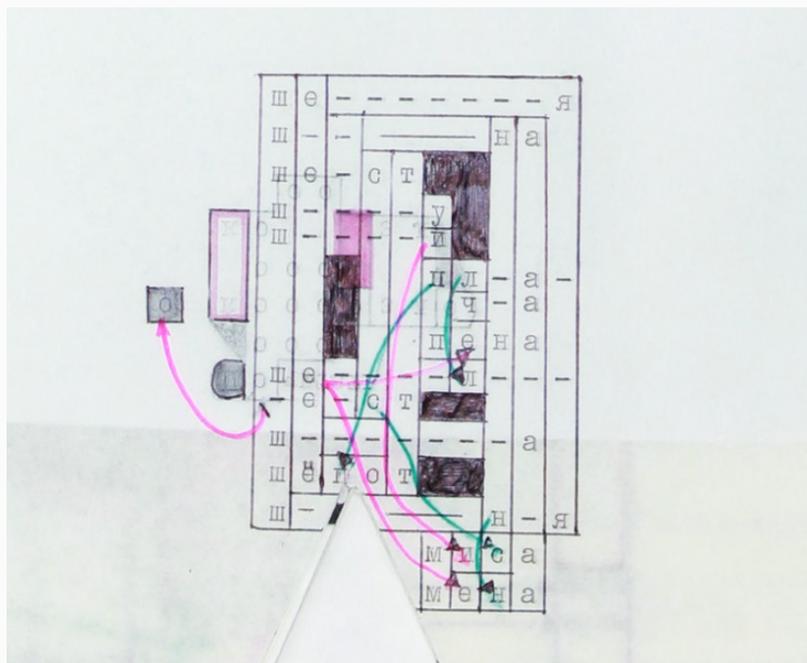
Первичность визуального — это одна из главных черт как сюрреалистического театра, так и сюрреалистического искусства в целом. «История сюрреализма — это история глаза» [Гальцова 2012: 236]. Сюрреалисты не любили даже само понятие «литература» (несмотря на то, что сюрреализм начинался как литературное течение), поскольку цель их творчества заключалась в открытии новых, ранее невиданных образов. В совершенстве образ должен был освободиться от подражания внешнему миру и отражать исключительно внутренний мир художника. Показательно, что в произведениях сюрреалистов часто встречается мотив отказа от физического зрения ради открытия нового внутреннего зрения, что, как замечает Е. Гальцова, «воспроизводит символический топос слепоты», берущий начало в незапамятных временах и означающий связь с сакральным» [Гальцова 2012: 238]. Так в пьесе «Тайны любви» Р. Витрака главная героиня Леа заглядывает внутрь глаз своего возлюбленного Патриса и только таким образом оказывается способна увидеть пейзаж, предстающий перед его взором [Витрак 1994: 110–111]; в повести Бретона «Надя» дочь героини вырывает куклам глаза, чтобы увидеть, что находится за ними [Бретон 1996: 220].

В сфере драматургии тяга сюрреалистов к визуализации находит реализацию в виде театра картин, представленного в творчестве Ж. Рибмон-Дессеня, Р. Десноса, Ж. Унье, но прежде всего в творчестве Р. Витрака. Наиболее радикальной в этом плане является пьеса Витрака «Отрава», состоящая из 12 немых картин с появлением многих ключевых для сюрреалистов образов, не имеющих, тем не менее, сюжетной связи [Vitrac 1964]. Витрак определил жанр произведения как «драма без слов», однако слова все-таки присутствуют в пьесе: в третьей картине «Ненаписанное стихотворение» некоего Эктера де Хесуса высвечивается прожектором на стене, сопровождаемое изображениями в виде теней.

Подобная эстетизация слова как визуального образа — очень характерное явление и в трансфурическом искусстве, что лучше всего

заметно на примере визуальной поэзии Ры Никоновой. Способы организации такого текста крайне разнообразны: «он может строиться как презентация поэтического вокабуляра (“шея”, “шест”, “шел”, “шепот”), расширенного за счет слов, допускающих реконструкцию “точечной” фабулы (“шел” — “плача”, “шепот” — “пена”, “шея” — “шест”) [см. илл. 1 — Прим. Т.Ф.]... <...> ...возможен случай, когда “архитектура” обозначает разнонаправленность ассоциативного хода и обратимость слов, связывающих его полюса...» [Житенев 2002: 402]⁵. Визуальная поэзия — один из многих способов визуализации литературы, к которому прибегали трансфуристы. Другие способы — это изобретение собукв (комбинации нескольких букв в одной), создание новых текстов путем визуальной обработки чужого текста, иллюстрирование произведений других авторов и ручное изготовление декораций для своего журнала.

Целесообразным будет вопрос, как такое визуальное искусство, практически лишенное традиционных эмпатических механизмов, должны воспринимать (пусть даже только предполагаемые) актер и



Илл. 1. Транспонанс,
1986, № 31.
URL: [link](#) (06.11.2021).

5. Важнейшие из их выступлений: «"Гиперболическая звуковая строка" на первом Фестивале современного искусства в Смоленске (1990) и "Жестовые поэмы с маргиналами" на мини-фестивале "Русский авангардный Поэтик" в Тамбове в 1993 году (с Сергеем Бирюковым), "The Burning Magarphon: bobeobi" на Internationale Festival der Lautpoesie в Берлине (1994), а также "Sound Scenarior for Sound Poets" на фестивале "Polyphonix-26" в Будапеште в том же 1994 году» [Июффе 2018].

зритель. Ответ мы попытаемся найти в теоретических работах сюрреалистов и трансфуристов. По мнению сюрреалистов, «становиться другим — “чуждым образом” — это пошлая принадлежность “вечного театра”, сплошной обман» [Гальцова 2012: 164]. Главной целью театра, согласно сюрреалистической идеологии, являлся выход за пределы собственного я, расширение своей личности путем ее разрушения. Характерно то, что сюрреалисты зачастую сами выступали актерами в постановке своих пьес: например, в спектакле «Вы меня позабудете» (Париж, 1920) главные роли исполнили авторы — Бретон и Супо, точно так же, как и в случае с другим их произведением — «Пожалуйста» (Париж, 1920). В «Процессе над Барресом» (Париж, 1921), — актерами выступили Бретон, Френкель, Деваль и другие. Трансфуристы со второй половины 1980-х годов в рамках различных фестивалей начали публично выступать с саунд-поэзией, носившей перформативный характер⁶. Для трансфуристов, как и для сюрреалистов, игра перестает быть развлечением. По замыслу Бретона, маска должна была быть освобождена от своей карнавальной, развлекательной функции. Принципиальное значение имеет введенное им понятие «маска накаливания» (фр. «masque à l'incandescence»):

«...лицо закрывается маской не для того, чтобы скрыть глубинное “я”, и не для того, чтобы вернуться к нему, а для того, чтобы “я” было всегда в “накаленном” состоянии, т.е. излучало свет, было всегда открытым другому, сообщающимся с другим, находящимся в отношении события с другим. И, если этот другой является сакральной инстанцией, значит маска становится этой сакральной инстанцией» [Гальцова 2012: 167].

Понятие маски накаливания сопоставимо с мыслями, изложенными С. Сигеем в статье «Квинтэссенция сценизма», центральная идея которой — развитие жестов и движестов. Они, как полагает Д. Иоффе, должны были заменить «действующих персонажей, а человек в евангельском особом смысле гнозиса становится равен Букве и Слову» [Иоффе 2018]: «Актер подобной предписанностью никогда не будет ущемлен в правах, если он ощущает себя единственно верной нотой в партитуре оркестры» [Ры Никонова-Таршис, Сигей 2020: 101]. Роль актера кардинально меняется и в сюрреалистическом, и

6. Стоит отметить, что понимание текста как изменяемой структуры в конце XX было свойственно не только трансфуристам. Среди других русских литераторов, развивавшихся в этом направлении, А. Житенев выделяет Д. Авалиани, В. Строчкова, А. Левина, А. Горнона [Житенев 2002: 402–403].

в трансфуристическом театре: он больше не должен играть другого человека, его задача заключается в реальном преобразении собственной личности посредством переживания эмоционально-мистического опыта, куда также должен оказаться вовлечен зритель. Как в заметке «По поводу театра» пишет Ры Никонова, «Актер — это дубль зрителя, и в свою очередь один из зрителей» [Ры Никонова-Таршис, Сигей 2020: 3].

Отношение к зрителю в сюрреалистической и трансфуристической театральной этике также довольно специфично. Прежде всего оно отличается открытой провокационностью, стремлением вызвать у публики раздражение и недоумение. В уже упомянутом спектакле «Вы меня позабудете» Бретон, игравший Зонтик, двигался в декорациях, изображающих парк, и восклицал: «За мебелью лежит дохлая корова!» [Гальцова 2012: 72]. В пьесе Ры Никоновой «Каждый и каждая» побочные актеры (не менее 15) пробираются в зал и, сидя рядом со зрителями, мешают им смотреть интересную постановку. В «Гав Данте» отношение к публике становится откровенно жестоким: зрителей вовлекают в Базар, по ходу того, как они делают покупки, их оскорбляют и избивают специальные «Актеры-мучители». Но вместе с этим вызывающим, даже агрессивным отношением к зрителю и для трансфуристов, и для сюрреалистов театр совершенно невообразим без реципиента. К слову, экспериментальность и необычность и того и другого движения априори требуют повышенной активности реципиента, поскольку для того, чтобы понять поэтику бессюжетных, зачастую абсурдных произведений сюрреалистов и трансфуристов, читатель или зритель должен приложить определенное интеллектуальное усилие. О драматургии Ры Никоновой С. Сигей говорит: «В ее пьесах зритель полноправен или угадываем» [Ры Никонова-Таршис, Сигей 2020: 108]. Еще Г. Аполлинер в прологе к «Грудям Тиресия» писал о необходимости участия зрителей в театральном действии, подобную мысль продолжил Р. Витрак; непосредственное вовлечение публики в действие происходило в театре Р. Руссея; в театре «Альфред Жарри» зритель, помимо вовлечения в действие, был также центральным объектом, на который оно было направлено. Возможно, даже о большей важности зрителя говорит то, что и пьесы сюрреалистов и пьесы Ры Никоновой зачастую заранее определяют поведение публики. В «Юморе» Ры Никоновой непрописанные 20 слов обязаны вызвать бешенство и недоумение зрителей, а в «Растениях похожих на зверей» публика должна состоять из ученых-математиков и шахматистов. Финал пьесы Бретона «Как Вам угодно» прописывает раздраженную реакцию зала точно так же, как «Тайны любви» Витрака. Последняя пьеса, помимо все-

го прочего, заканчивается тем, что главная героиня застреливает одного из зрителей.

Итак, из пассивного наблюдателя публика превращается в активного участника театрального действия. Однако традиционный театр не предполагает возможности заранее прописать роль зрителя. Чтобы открыть для себя эту возможность, постановка должна стать «специфическим типом поведения, системой символических актов, которая строится на основе определенных правил», то есть стать ритуалом [Кордас 2015: 17]. Отказ от маски и стремление к переживанию мистического опыта уже являются свойствами ритуала, но есть ряд других особенностей, о которых необходимо сказать для понимания ритуальности сюрреалистического и трансфурического театров.

В случае с сюрреалистами ключевое значение имеет разработанное Бретоном понятие «конвульсивной красоты»: «Конвульсивная красота будет эротической-завуалированной, взрывной-неподвижной, магической-случайной или не будет вовсе» [Бретон 2006: 16]. Если рассматривать такую красоту с точки зрения театрального действия, она должна являться бессознательным взаимодействием телесного и духовного, которое, по замечанию Е. Гальцовой, подчиняется именно логике ритуала [Гальцова 2012: 449]: полностью выходя за пределы привычного, раскрепощаясь в новой сущности посредством коллективного действия, человек приобщается к некоторой другой реальности, часто сакральной сверхреальности, в чем и заключается смысл ритуала. Подобную цель преследует также главная творческая техника сюрреалистов — автоматическое письмо. Суть автоматического письма заключается именно в том, чтобы, отказавшись от голоса сознания, услышать некоторое магическое подсознательное «Слово», не вполне принадлежащее самому творцу, что, как замечает Ж. Шенье-Жандрон, сближает сюрреалистическое творчество со спиритуалистскими идеями:

«Писать, говорить, рисовать так, чтобы рассеивалась власть разума и вкуса, чтобы приглушалось осознание самого себя, уступая место <...> рождающемуся на наших глазах слову, — не есть ли это самое радикальное сомнение субъекта творчества в собственной природе?» [Шенье-Жандрон 2002].

Говоря о ритуальных чертах трансфурического театра, в первую очередь стоит отметить использование зауми, по своему происхождению восходящей к древним магическим заговорам [Иоффе 2018]. Другая важная черта — перформативный характер, отчасти

свойственный и сюрреалистам. Основные перформативные черты — провокация, социальность, преобладание жестов над словами, связи с другими видами искусств, — прослеживаются в обоих движениях. Однако главная черта перформанса — раскрытие в настоящем моменте, становление здесь и сейчас действия, «которое вступает в наш опыт как нечто <...> уже уходящее», — черта именно трансфурической, в особенности никоновской драматургии [Леман 2013: 236]. Большая часть пьес Ры Никоновой представляет собой заметки на полстраницы о сути действия, детали которого будут раскрыты потенциальными актерами в процессе свободной импровизации. Вся пьеса «Траур», например, выглядит следующим образом:

*«Сцена должна быть
черным-черна, а зрительный
зал освещен голубым.
Актёры в черном (их и не видно)
произносят медленно и печально текст
любой веселой пьесы» [Ры Никонова-Таршис, Сигей 2020: 49].*

Действие «Пьесы для автора» вообще уместается в одно предложение:

*«Автор выходит на сцену
и уходит с нее тут же
ничего не уронив» [Ры Никонова-Таршис, Сигей 2020: 52].*

Драматургия Никоновой в целом — это некоторый нечеткий образ, набросок, который приобретет цельность только, когда будет показан зрителю «не как некий эстетический вариант Пятидесятницы, но эпифания *sui generis*» [Bohrer 1994: 181].

Итак, подведем итоги. Согласно нашим наблюдениям, трансфурическая драматургия, ярче всего представленная в творчестве А. Ры Никоновой-Таршис, обнаруживает множество схожих черт с французским сюрреалистическим театром. Ключевыми из них являются: эстетизация гротескного, девальвация языка, акцент на первичности визуального образа, специфическое отношение к актеру и зрителю. Важнейшим сходством нам представляется близость к ритуалу, которая в свою очередь говорит о родственности обсуждаемой драматургии и перформанса, что делает ее изучение в контексте современной культуры особенно перспективным.

Сходство трансфурической культуры с таким влиятельным движением как сюрреализм позволяет нам рассматривать ее как часть

мирового авангарда, что, в свою очередь, обогащает понимание трансфурической драматургии и трансфурического наследия в целом. Как замечает И. Кукуй,

«... трансфуризм не был искусственной конструкцией редакторов “Транспонанса”, созданной для придания большего веса своему творчеству и общественного резонанса вокруг журнала, а действительно являлся одной из последних групп литературного авангарда XX века, достойно замыкающей собой начавшийся более ста лет назад “великий эксперимент” и вписывающей его достижения в широкий контекст мировой культуры XXI века» [Кукуй 2017].

Список источников

1. [Бретон 2006] — *Бретон А.* Безумная любовь. Москва: Текст, 2006. 190 с.
2. [Бретон 1986] — *Бретон А.* Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX в. / Сост., предисл., общ. ред. Г. Андреева. М.: Прогресс. С. 40–73.
3. [Бретон 2012] — *Бретон А, Супо Ф.* Как Вам угодно // Магнитные поля, М.: Опустошитель, 2012, 216 с. Цит. по эл. публикации, URL: [link](#) (дата обращения: 08.07.2021).
4. [Бретон 1996] — *Бретон А.* Надя // Антология французского сюрреализма. 20-е годы / Сост., пер. с франц., коммент. С.А. Исаева и Е.Д. Гальцовой. М.: ГИТИС, 1994. С. 190–247.
5. [Витрак 1994] — *Витрак Р.* Тайны любви // Антология французского сюрреализма. 20-е годы / Сост., пер. с франц., коммент. С.А. Исаева и Е.Д. Гальцовой. М.: ГИТИС, 1994. С. 93–135.
6. [Ры Никонова-Таршис, Сигей 2020] — *Ры Никонова-Таршис А., Сигей С.* Слушайте ушами. Москва: Русский Гулливер, 2020. 112 с.
7. [Сигей 1986] — *Сигей С., Ры Никонова А., Нику А.* // Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны: в 5 т. Т. 5б. Сост. К.К. Кузьминский и Г.Л. Ковалев. Техас: Резерч Партнерз Нью-тонвилл, Масс., 1986. Цит. по эл. публикации. URL: [link](#) (дата обращения: 24.10.2021).
8. [Vitrac 1964] — *Vitrac R.* Poison // Théâtre III. Paris, Gallimard, 1964. 250 p.

Список литературы

1. [Гальцова 2012] — *Гальцова Е.Д.* Сюрреализм и театр. К вопросу о театральной эстетике французского сюрреализма. М.: РГГУ, 2012. 542 с.
2. [Житенев 2002] — *Житенев Ж.* Поэзия неомодернизма: монография. СПб.: ИНАПРЕСС, 2012. 480 с.
3. [Иоффе 2018] — *Иоффе Д.Г.* Fin de siècle трансгрессивности русского поставангарда // Новое литературное обозрение. 2018. № 1. Цит. по эл. публикации. URL: [link](#) (дата обращения: 01.06.2021).
4. [Кордас 2015] — *Кордас О.М.* Роль ритуала в антропосоциогенезе // Вестник Омского государственного педагогического университета: Гуманитарные исследования. 2015. № 5 (9). С. 16–19.
5. [Кукуй 2017] — *Кукуй И.* Способ войти в транс: антология трансфуризма // Новое литературное обозрение. 2017. № 147 (5). Цит. по эл. публикации. URL: [link](#) (дата обращения: 24.10.2021).
6. [Леман 2013] — *Леман Х.-Т.* Постдраматический театр. Москва: ABCdesign, 2013. 312 с.
7. [Саббатини 2019] — *Саббатини М. Д.* Пригов и «вторая культура» 1980-х годов. Опыт отражения в самиздатских журналах // Новое литературное обозрение. 2019. № 2. Цит. по эл. публикации. URL: [link](#) (дата обращения: 26.10.2021).
8. [Смирин 2018] — *Смирин А.* Трансфуристы: подповерхностное противотечение // ТЕАТР. 2018. № 33. Цит. по эл. публикации. URL: [link](#) (дата обращения: 24.10.2021).
9. [Шень-Жандрон 2002] — *Шень-Жандрон Ж.* Сюрреализм. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 416 с. Цит. по эл. публикации. URL: [link](#) (дата обращения: 24.10.2021).
10. [Bohrer 1994] — *Bohrer K.H.* Das absolute Präsens: die Semantik ästhetischer Zeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. 184 S.
11. [Janecek 1998] — *Janecek G.J.* A Report on Transfurism // New Home for North America's Longest Running Visual Poetry Magazine. Цит. по эл. публикации. URL: [link](#) (дата обращения: 02.10.2021).
12. [Moussinac 1966] — *Moussinac L.* Le théâtre des origines à nos jours. Paris: 1966. 348 p.

Таисия Максимовна Фролова
Литературный институт
им. А.М. Горького,
программа специалитета
«Литературное творчество»
tayamurria@yandex.ru

Taisiia Frolova
Maxim Gorky Literature Institute,
Specialist's degree programme
"Creative Writing"
tayamurria@yandex.ru

ЖИЗНЬ МЕЖДУ: ЛИМИНАЛЬНОСТЬ И АМОРФНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ А.В. ИЛИЧЕВСКОГО

Людмила Короткова

УДК: 82.

Ключевые слова:

А.В. Иличевский, лиминальность, маргинальность, аморфность, метареализм, художественный мир, обряд перехода.

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению проявлений лиминальности, маргинальности и аморфности в художественном мире А.В. Иличевского. Материалом исследования являются романы «Орфики» и «Чертеж Ньютона», а также поэтический сборник «Кормление облаков». В качестве методологической базы используются работа М. Эпштейна о метареализме, антропологические исследования В. Тэрнера, посвященные изучению лиминальности, и междисциплинарные исследования Л.Д. Бугаевой об отражении «rites de passage» в литературе. В результате исследования делается вывод о том, что лиминальность как неустойчивое состояние человека дополняет аморфный метареалистический художественный мир и органично вписывается в него.

Life Between: Liminality and Amorphous-ness in the Artistic World of A.V. Ilichevsky

Lyudmila Korotkova

Keywords:

*A. Ilichevsky, liminality, marginality,
amorphousness, metarealism,
artistic world, rite of passage.*

Abstract

The article is devoted to the study of the manifestations of liminality, marginality, and amorphousness in the artistic world of A.V. Ilichevsky. The research material is the novels *The Orphics* and *Newton's Drawing*, as well as the poetry collection *Feeding the Clouds*. Methodological basis involved the works of M. Epstein on metarealism, V. Turner's anthropological studies devoted to notion of liminality, and L.D. Bugaeva's interdisciplinary studies on the concept of "rites de passage" in literature. As a result, liminality is viewed as an unstable state of a person which complements and organically fits into the amorphous metarealistic artistic world.

Творчество А.В. Иличевского представляет собой яркий пример нарушения канона создания реалистического художественного мира. Традиционный нарратив оказывается невозможен в контексте его произведений: события лишены причинно-следственных связей, персонажи не вписываются в рамки наших представлений о привычных в повседневной жизни существах. В художественном мире Иличевского возможно все. Без какой-либо установки на вымысел автор населяет его маргиналами, учеными (что самое важное — естественниками!), склонными к маргинальному образу жизни, бродягами, монахами, дервишами, а также великанами, духами и прочими неземными сущностями, нередко синтезирующими качества животных и человека; реальные исторические события переплетены с метафизикой, религиозное подкрепляется научным и наоборот. Можно предположить, что подобный микс в метареалистическом письме соотносим с принципиально важной особенностью художественного мира Иличевского — его лиминальностью, которая, обладая сакральными свойствами как особой сверхъестественной или же социальной по происхождению силой, подобна энергии тепла или электричества и способна наполнять те или иные объекты [Зенкин 2012: 65], что позволяет автору реализовать метареалистический потенциал как в поэзии, так и в прозе. Подобное состояние героев-людей дополняет общую аморфность окружающего мира, также свойственную художественному творчеству Иличевского.

Метареализм

Концепцию метареализма активно разрабатывал М. Эпштейн, рассматривая его как один из сложившихся к 70-м гг. XX века «трех стилей», находящийся в оппозиции как к официальной, так и к концептуалистской поэзии. Однако с последней метареализм объединяла зачастую одна немногочисленная читательская аудитория, настроенная решительно против официально признанного письма.

Прежде всего, метареализм проблематизирует восприятие мира и предполагает иной взгляд на реальность:

«...это не отрицание реализма, а расширение его на область вещей невидимых, усложнение самого понятия реальности, которая обнаруживает свою многомерность, не сводится в плоскость физического и психологического правдоподобия, но включает и высшую, метафизическую реальность, явленную пушкинскому пророку. То, что мы привыкли называть “реализмом”, сужая

объем понятия, — это реализм всего лишь одной из реальностей, социально-бытовой, непосредственно нас обступающей. Метареализм — это реализм многих реальностей, связанных непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений» [Эпштейн 1988: 160].

В метареалистическом мире нет места символу и двоимирию — всему, что подразумевает противопоставление «этого» и «иного», отделение одной реальности от другой. Напротив, данный тип письма опирается на принцип

«единомирия, предполагает взаимопроникновение реальностей, а не отсылку от одной, “мнимой” или “служебной”, к другой — “подлинной”. Созерцание художника фиксируется на таком плане Реальности, где “это” и “то” суть одно, где всякий намек и иносказание становятся почти непристойными» [Эпштейн 1988: 163].

Яркими представителями этого направления принято считать А.М. Парщикова, А.Т. Драгомощенко, И.Ф. Жданова и др. В современной русской литературе им наследуют, например, А.В. Левкин и А.В. Иличевский, наделяя метареалистическими свойствами прозу [Вежлян 2012]. Заметим, что Иличевского признают наследником метареалистической традиции именно А.М. Парщикова (да и сам он никогда от этого не отказывался, напротив, всячески подчеркивает эту связь, например, посвящением А.М. Парщикову романа «Перс»):

«Эта установка пережила литературную ситуацию, в которой возникла, и — как вирус, через носителей — дошла до наших дней. Названный круг обширен. Читая посвященные Парщикову материалы, написанные людьми, многие из которых (как Драгомощенко, Левкин, Иличевский) сегодня признаны и активны, понимаешь, насколько тесно осмысление ими Парщикова связано с их собственными творческими интенциями. Они, столь разные, принадлежащие к разным поколениям (Драгомощенко 1946 года рождения, Иличевский — 1970-го), через Парщикова — связаны, и эта “связь” важнее, чем влияние. Связь через “установку”, смысл которой теперь можно понять лишь “рецептивно”, ибо именно в осмыслении “витгенштейновской семьи” она дает школу — в таком виде не прекращающуюся со смертью основателя» [Вежлян 2012: 181–182].

Для продолжения обозначенной темы я бы хотела особенно подчеркнуть следующие слова Е.И. Вежлян, которые считаю принципиально важными для понимания творчества Иличевского как представителя школы А.М. Парщикова: «Реальность теряет единство и раскладывается на множество плоскостей (как у Филонова). Вещи не удерживаются в своих границах и перетекают друг в друга (как в картинах сюрреалистов)» [Вежлян 2012: 182].

Это состояние перетекания реализуется Иличевским по-разному. В одних случаях оно в разных формах может осуществляться моментально, являя читателю результат перехода в иную визуальную форму. В других, особенно если речь идет о человеке, эта текучесть, неустойчивость затягивается надолго и в ожидании реализации становится состоянием, которое я определяю как лиминальность.

Понятие лиминальности

Арнольд ван Геннеп определяет лиминальность как промежуточную фазу обрядов перехода (*rites de passage*), находящуюся между обрядами отделения от прежнего мира и обрядами включения в новый мир [ван Геннеп 1999: 24]. В. Тэрнер полагает, что лиминальная фаза, в отличие от двух других (разделения и соединения), характеризуется двойственностью субъекта обряда: «Он проходит через ту область культуры, у которой очень мало или вовсе нет свойств прошлого или будущего состояния» [Тэрнер 1983: 168–169].

Лиминальными существами являются неофиты в период перехода в другую религию (они разорвали связь со старой, но пока не стали частью новой религии); дети, проходящие обряд инициации, часто сопровождающийся уходом в лес (символическая смерть) и возвращением (преображение в новом статусе); люди, посвящаемые в вожди племени и т.д. Согласно В. Тэрнеру, специфическим свойством лиминальных существ является их двойственность, поскольку они не вписываются ни в какие рамки классификаций, не подчиняются законам устойчивых сообществ, находясь в промежуточном, «особом “расплавленном” состоянии общества, где отменяются рутинные, стесняющие человека социально-структурные различия» [Зенкин 2012: 39]. Как считает ученый, «лиминальные существа ни здесь, ни там, ни то ни се; они – в промежутке между положениями, предписанными и распределенными законом, обычаем, условностями и церемониалом» [Тэрнер 1983: 169]. К другим свойствам, отличающим лиминальность от статусной системы, относятся тотальность, гомогенность, коммунитас (модель обще-

ства как неструктурного или рудиментарно структурного), равенство, анонимность, отсутствие собственности, отсутствие статуса, обнаженность или одинаковая одежда, простота, смирение, подчинение всем, молчание, сакральность, постоянная связь с мистическими силами и т.д. [Тэрнер 1983: 179].

Тэрнер отмечает, что с моделью «коммунитас» соотносятся маргинальный, или «приниженный», человек и другие представители бесправных культурных или этнических групп: «Среди них знамениты: милосердный самарянин, еврей-скрипач Ротшильд в чеховской новелле “Скрипка Ротшильда”, марк-твенковский беглый раб — негр Джим в “Текльберри Финне” и Соня у Достоевского» [Тэрнер 1983: 183]. Также наиболее ярко выраженными представителями коммунитас являются битники, хиппи, чьи интересы и образ жизни противоречат традиционному структурированному обществу.

Ряд модификаций обряда перехода в художественной литературе выделяет Л.Д. Бугаева. В качестве таковых она рассматривает орфическую медиацию, фактическую трансгрессию, quest и локус, эмиграцию, состояние между жизнью и смертью, нехватку, интермедальность [Бугаева 2010: 4–5]. Мне представляется, что в творчестве Иличевского реализуются, главным образом, лиминальные стадии таких форм перехода, как орфическая медиация и эмиграция.

Лиминальные ситуации

В творчестве Иличевского лиминальных ситуаций немало. На мой взгляд, самая яркая — в романе «Орфики». Сюжет романа разворачивается в 1990-е гг. Герой-повествователь, или диегетический нарратор, готовящийся к поступлению в зарубежный вуз, знакомится на даче с Верой, замужней женщиной, дочерью генерала, влюбляется в нее. Генерал попадает в долги, и герой в поисках необходимой суммы денег сближается с криминальной группировкой. Заработать большие деньги за короткий срок ему предлагают игрой в русскую рулетку, на что он соглашается. Ситуация игры в русскую рулетку становится для героя лиминальной: он сидит обнаженным, приставив к виску дуло револьвера, его жизнь находится в опасности:

«Прежде чем нас усадили, насыпали гороха и кукурузы на подиум и кресла. Сверху слетели голуби, но сесть кормиться не рискнули — захлопали, зависли, обронили помет и уселись на стропилах, загудели. Меня усадили прямо на горох, я поер-

зал. Роман Николаевич вдруг грохнулся передо мной на колени и завыл басом: “Прими, Ананке, жертву нынешнюю за жертвы будущего”. То же он проделал, когда вывели моего напарника. После вывели тетку в занавеске, и она, установив глобус и повесив на плечо кортик, будто слепая поводя руками в воздухе, рукоположила нас влажными трясущимися ладонями.

Я сижу спокойно и смотрю на свои косточки на кулаках, положенных на колени. Но, искоса бросая взгляд, вижу, как рыжий, вытягивая шею, пялится на то, как Барин проводит револьвер по рукаву, и вытягивает голову, когда он его подает... Я вдыхаю и выдыхаю животом, стараясь унять сердцебиение. А сердце колотится так гулко, что, мне кажется, его слышат и другие. Меня беспокоит безымянность рыжего. Наша безымянность друг для друга говорит о том, что мы на самом деле значим для тех, кто нас сюда усадил: мы для них пустое место. Да мы и для себя не много значим. В эти кресла садятся ради смерти, а не выигрыша, и страх — не самое сильное чувство, что брезжит в мозгу, в который уперт ствол револьвера» [Иличевский 2013: 229–230].

В данном эпизоде можно обнаружить ряд признаков лиминальности, выделяемых Тэрнером: обнаженность, равенство героя с такими же, как он, игроками, безымянность, униженность и вместе с тем — сакральность его положения (к игрокам относятся с почтением), пронизывающая ситуацию мистика (данное действие сопровождается предсказаниями) и, конечно, «текучесть», пограничность всего происходящего — состояние между жизнью и смертью.

Данная лиминальная ситуация соотносится с орфическим вариантом перехода. И хотя в первую очередь на это указывает название представителей эзотерического учения, тем не менее орфические мотивы обнаруживаются и на сюжетном уровне: герой, одержимый страстью (играть в рулетку побуждает его любовь к Вере, для спасения отца которой он хочет достать крупную сумму денег), преодолевает непреодолимое препятствие — выживает, оказавшись в мистическом пространстве, на границе жизни и смерти. С этим мистическим наполнением сюжета об Орфее и Эвридике Л.Д. Бугаева связывает его популярность:

«Рассмотрение орфизма как учения о расширении границы феноменологического тела человека и фигуры Орфея в древнегреческой легенде, даже в ее наиболее популярном варианте, как героя, преодолевшего непреодолимое препятствие (границы

цу жизни и смерти) и потому наделенного мистической силой, проясняет причины взлета популярности в искусстве сюжета об Орфее и Эвридике» [Бугаева 2010: 28].

Но, пожалуй, наиболее распространенный для Иличевского тип лиминальной ситуации — это пребывание героя в пути. Трудно себе представить его героя живущим на одном месте. Он всегда динамичен: на грузовике перевозит трупы из морга для эксцентричного художника, в полусонном состоянии по поддельным документам летает из России за рубеж и обратно, выполняя поручения криминальных авторитетов («Орфики»), в разных странах ищет залежи нефти («Перс»), разыскивает в Америке пропавшую тещу, в Израиле — пропавшего отца («Чертеж Ньютона»), а то и теряется сам в Тайге («Два страха»). Его проще представить в отеле, в студенческом общежитии, в палатке, в юрте, в поезде, нежели в обстановке домашнего уюта. Географический охват и в лирике этого автора довольно широк. Так, в одном только сборнике «Кормление облаков» представлены такие топосы, как Ванзее, Вена, Белград, Сан-Франциско, Иерусалим, Дальний Восток и т.д.

Говоря об эмиграции как об одной из модификаций обряда перехода, Л.Д. Бугаева выделяет четыре формы оторванности от дома, отчужденности, представленные четырьмя фигурами. Среди них: эмигрант — «человек, вынужденно покинувший свой дом»; экспатриант — «человек, добровольно покинувший свой дом; часто экспатриант уезжает из родной страны с целью получения образования, улучшения условий жизни, творчества и т.п.», не ставя перед собой цели навсегда обосноваться в чужой стране; номад — «человек, свободный от влияния национальности, государства, партии, общества, временного сообщества и т.п.», который «воплощает бесконечное перемещение, перманентную безместность и бездомность, отчужденность от любого пространственного локуса» и вытекающую из этого маргинальность; турист — «это, как правило, западный европеец или американец, обычно мужчина, белый, не стесненный в средствах наблюдатель, образованный, культурный». Как вариация путешественника турист «отличается от него фиксацией на объекте туристической поездки, в т.ч. объекте недостижимом, в то время как для собственно путешественника смысл путешествия в большей степени связан с самим процессом движения» [Бугаева 2010: 191–192].

Между героями Иличевского трудно провести четкую разделяющую черту. Один герой нередко может быть и путешественником по своей стране, и экспатриантом, и номадом, и эмигрантом,

и туристом одновременно. Так, в романе «Матисс» добровольно ставший бездомным инженер Королев, бесконечно перемещаясь по России, реализует модель номада. Он бездомен и, как следствие, — маргинален. А главный герой в «Чертеже Ньютона» является то туристом (посещение вместе с отцом экзотических стран), то экспатриантом (поездки за рубеж в качестве участника научных конференций и с целью проведения научных исследований). Он тоже как бы оторван от дома, вненационален; структура, с которой он связан — научное сообщество.

Но мало показать героя-путешественника — важно передать состояние тревожности, кризиса, нервозности находящегося в пути, в промежутке между двумя пунктами (он уже уехал, но еще не приехал, и потому его положение шатко), наполнить ситуацию мистическим чувством. Именно такой лиминальный смысл вкладывается в понятие путешествия, к примеру, герой одноименного романа Д. Быкова — Остромов (пусть даже сам в это ни капельки не верит) в ходе неторопливого диалога с попутчиком Даней:

«— Знаете ли вы, что во время путешествия душа особенно уязвима?

— Для чего? — прошептал Даня, потрясенный этим потоком человеческой речи среди выкриков о шамовке и жиганах.

— Решительно для всего, — твердо сказал незнакомец. — В дороге нас не охраняют духи дома, и мы открыты вечно странствующим сущностям, чье присутствие поначалу незаметно. По большей части это души, не нашедшие успокоения. <...> Вспомните, множество раз на повороте дороги вас охватывал внезапный страх, или ночью, когда поезд ускоряется, на спуск, странная тоска словно сама влетала в вас. Иногда эти признаки видны и стоят среди степи, как столбы тумана. В дороге душа беззащитна перед ними, и потому особенно важно снабдить вагон признаками дома» [Быков 2010: 22].

Лирического субъекта стихотворения Иличевского «Александр Гольдштейн возвращается домой» так же не отпускает ощущение жути, для него так же сакрально значение поворота в пути. Лиминальный смысл привносит в тему путешествия единообразие человеческой массы (гомогенность по Тэрнеру), а движение рельсов визуально и аудиально перетекает в движение иглы швейной машинки:

*За эти семнадцать
лет разболтались рессоры подвижного состава,*

*и колеса стали выть на поворотах —
долго-долго тянется поезд, меняя азимут,
из последнего вагона видно, как локомотив
набегают вспять окоему, и солнце
падает в скрипичный вой колес. Этот вой
разнимает, колесует душу, тревога, подкравшись,
вдруг схватывает ее как птицу хищник...*

<...>

*Он выворачивает душу,
запомним этот стенающий хор. Колеса плачут по ком, Саша?
Господи, как же съели нас эти двое суток.
Левый рельс проходит через ухо,
правый — штопает глаза. Народное мясо
мнет и жмет, и воодушевляет [Иличевский 2017: 15–16].*

В стихотворении «К океану», где основной мотив также связан с путешествием в поезде, отражен другой важный аспект лиминальности — умирание. **Переход человека из одного статуса в другой, из одного места в другое травматичен и поэтому ассоциируется со смертью: во время обрядов инициации «старый» человек как бы умирает, давая вторую жизнь «новому».** Поезд в данном стихотворении по завершении пути также умирает вместе с пассажирами, подвергшимися нападению росомах. Так что зыбкая, лиминальная ситуация плавно перетекает в смерть, становится ею:

*Спокойный Тихий океан ждет, когда прибудет
к обледеневшей пристани мертвый поезд;
когда пришвартуется затерянный поезд, полный
людей погибшей страны, обобранных и
с выгрызенными сердцами [Иличевский 2017: 20].*

Интересно, что и сегодняшний мир, по Иличевскому, тоже переживает аморфную, лиминальную стадию — между завершённым XX веком и возмездием за его страшные преступления в виде потопа (стихотворение «Торжество»):

*Мир завершен был только в двадцатом веке. Нынче
он стоит по грудь в безвременье, и голова
еще ничего не знает о потопе, о хищных рыбах,
но вода уже подобралась к губам,*

*и, отплеываясь от брызг, они, губы, говорят о
двадцатом веке. О том, что этот век был последним,
и теперь осталось только выйти на мелководье,
то есть повзростеть. Иначе утонем [Иличевский 2017: 45].*

А возможно, у этого безвременья будет более оптимистичное завершение — возмездие заменится на спасение, которое явится человечеству в лице мессии:

*Теперь, как дожидаться мессии? Окажется ли
он человеком? Группой соратников? Героем
социальных сетей? Великим анонимом?
Или целой эпохой? [Иличевский 2017: 46].*

Носители лиминальности

Таким образом, в художественном мире Иличевского распространены лиминальные ситуации, представленные как в прозе, так и в поэзии. **Пожалуй, большинство героев произведений Иличевского — существа лиминальные. Они не замкнуты в границах одной страны, как было сказано ранее. Их статус зачастую расплывчат и тоже с легкостью может «перетекать» в совершенно иной.** Достаточно вспомнить героев романа «Орфики» и рассказа «Бутылка». Как в первом, так и во втором случае герой-ученый работает на криминальных авторитетов (униженность, смирение), имеет поддельные документы (анонимность, отсутствие статуса), однако в конце концов выныривает из этого лиминального состояния и возвращается к прежнему статусу, чего нельзя сказать об инженере Королеве, сознательно порывающему связи с обществом и превращающемся в бездомного («Матисс»).

В поэтическом мире Иличевского также часто оказываются люди сомнительного статуса, например, трудовые мигранты (в стихотворении «Александр Гольдштейн возвращается домой»), чье положение двойственно:

*Сосед — два года не видел жену, двух детей, работает
таксистом в Москве, знает трассы столицы
лучше меня, — вдруг забирается с ногами,
припадает
лбом к подушке, мы затихаем, вслушиваясь,
как он бормочет молитву... [Иличевский 2017: 16].*

В «Облаках Сан-Франциско» лиминальные существа становятся чуть ли не главными участниками поэтических эпизодов, как правило, это представители низкооплачиваемых и малоуважаемых профессий. Так, мойщик стекол ведет образ жизни не обремененного социальными статусами хиппи, который наслаждается созерцанием природы, и, безусловно, получает положительную оценку повествователя:

*В конце рабочего дня мойщик стекол
Неторопливо закуривает и, перегнувшись,
Вглядывается в роскошь забвенья ландшафта.
Тишина. Дорожные пробки сгустками перламутра
Ворочаются, как в руках великана огниво сокровищ.
Жажда спикировать в белую тьму заливают глаза.
Он ложится навзничь и орет «Summer Time» [Иличевский 2017: 79].*

Такие аспекты лиминальности, как смирение, подчинение всем, молчание реализуются в следующем фрагменте этого стихотворения:

*Старик-китаец над обрывом расправляет дышалку:
парит раскорякой, будто играет в ловитки —
с воздухом, окомом, бездной. Имеет право:
он сам, отец его, вся прасемья, — став товаром
бунинского господина, отстроила этот город [Иличевский 2017: 77].*

В конце данного текста происходит «перетекание» лиминального и нелиминального существ друг в друга, что соответствует принципам метареалистического письма:

*Я стучусь, зеркало отъезжает и — передо мной —
как водопад божества — в высотном провале,
за которым всплывает в тумане сокровище Града,
стоит страшный слепец с протянутой в ночь клешией,*

*закатившиеся бельма капают ему в ладонь.
Мы тихо меняемся с ним местами, и зрячий
выходит, помахивая порожней сумкой,
чертыхается о недостатке и шутит с эскортом*

*нерейд, погружающихся в лифте. Я же —
наедине с окном — становлюсь на колени*

*и лакаю из лужицы лунного света, чтобы дыханьем
по серебряным вантам втянуть себя в дирижабль
[Иличевский 2017: 84].*

«Формула пчелы» как вечная аморфность

Лиминальность в творчестве Иличевского нередко выражается в том, что герои его произведений не вписываются в конкретные пространственные рамки: они и потенциально бездомны, и могут находиться повсюду; мотивы бездомности часто сопровождаются мотивами глобальных пространств. Так, лейтмотивом стихотворения «К океану» является стремление лирического субъекта найти свое место, ценой жизни вписаться в пространство, стать частью родины:

*Господи, убей меня, положи на рельсы.
Пусть раскатают колеса меня по стране. Пусть каждой
частичкой, склеванной воронами, галками, этими
вопящими карликовыми птеродактилями, — я обниму*

*отчизну. Пусть каждой молекулой пролечу над
рощами, холмами, свалками, реками и полями.
Пусть бедная скудная, как ладони старухи, родина
станет теплее с каждой моей крошкой [Иличевский 2017: 19].*

Интересно, что в этом отношении герои Иличевского имеют антиподов — пчел. И если люди в его текстах не способны преодолеть свое растворение, распыление в пространстве, то у пчел это преодоление получается: они собирают пространство в виде сот. Не случайно к мотивам пчел писатель обращается очень часто. Герои его прозаических произведений нередко рассуждают о пространстве и пчелах. Наиболее ярко эти идеи звучат в стихотворении «Портрет с пчелами» из романа «Чертеж Ньютона»:

*Идя на могилу отца, он надевал маску из пчел.
И пока сидел на корточках, ожидая ответов
на вопросы, рой пчел жил на
его лице, пчелы пробирались
в его рот и там вылепляли новые соты.
Иные облетали кладбищенские цветы и травы,
возвращаясь с пыльцой и нектаром, чтобы*

*вложить ему в уста по капле слово,
все, что земля могла сообщить о молчании.
После Авеля так много сгинуло людей,
что их упорное молчание с тех пор сгустилось
в огромный многотонный слиток чистого урана.
Он чувствовал, как вместо сердца в его груди
пытается пульсировать этот урановый слиток,
но кровоток застыл вместе с ответом.
Сын спрашивает отца: «Почему ты оставил меня?»
И прислушивается к молчанию в груди, пока пчелы
приносят нектар истины в его уста, жала в язык.
Но вот рой снимается с места и оставляет
сына стоять с чистым лицом и вырванным сердцем.
Зато его уста, глазницы сочатся медом, он полон
золота речи. Снова отец не ответил.
Снова сын придет на могилу, чтобы вновь
попробовать откатить слиток молчания
[Иличевский 2020: 99–100].*

Эти процессы распыления и собирания, на мой взгляд, и определяют художественный мир Иличевского. Его герои не исчезают, а растворяются, в каждом уголке мира оставляя свои следы, как оставил их отец в романе «Чертеж Ньютона», чтобы затем сын, собирая эти следы, смог пересоздать отца заново. Природа так же растворяется в человеке, как человек — в природе:

*Теперь пустыня в зрачках, ветер в бронхах.
Тысячелетья шлифуют мозга кору.
Волны мелют песок, он спекается в окнах.
Что ты, песок, мне покажешь? Мечту? [Иличевский 2017: 21].*

И в этой постоянной циркуляции и видоизменении живого вещества, готового превратиться во что угодно, в аморфности природы я вижу тесную связь с лиминальностью героев произведений Иличевского. Потому что и лиминальные существа — аморфны: это *tabula rasa*. Поэтому они так легко меняют свой расплывчатый статус и не привязываются ни к одной географической точке. Аморфность природы и лиминальность человека как их постоянная готовность перевоплотиться во что-то иное — безусловное свойство метареалистического художественного мира Иличевского, обеспечивающее его динамичность и обновление.

Список литературы

1. [Бугаева 2010]— *Бугаева Л.Д.* Литература и *rite de passage*. СПб.: ИД «Петрополис», 2010. 408 с.
2. [Быков 2010]— *Быков Д.Л.* Остромов, или Ученик чародея: Пособие по левитации. М.: ПРОЗАиК, 2010. 768 с.
3. [Вежлян 2012]— *Вежлян Е.* Новая сложность. О динамике литературы // *Новый мир*. 2012. № 1. С. 177–187.
4. [Геннеп 1999]— *Геннеп А. ван.* Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. 198 с.
5. [Зенкин 2012]— *Зенкин С.Н.* Небожественное сакральное. Теория и художественная практика. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2012. 537 с.
6. [Иличевский 2013]— *Иличевский А.В.* Орфики. М.: АСТ, 2013. 283 с.
7. [Иличевский 2017]— *Иличевский А.В.* Кормление облаков. Стихи. Издательские решения, 2017. 114 с.
8. [Иличевский 2020]— *Иличевский А.В.* Чертеж Ньютона. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. 348 с.
9. [Тэрнер 1983]— *Тэрнер В.* Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. 277 с.
10. [Эпштейн 1988]— *Эпштейн М.* Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX–XX веков. М.: Советский писатель, 1988. 416 с.

Людмила Юрьевна Короткова
Российский государственный
гуманитарный университет,
Институт филологии и истории,
магистерская программа
«Классическая русская литера-
тура и актуальный литературный
процесс в социокультурном
контексте»
lyudmmila.korotkova@yandex.ru

Lyudmila Korotkova
Russian State University
for the Humanities,
Institute of Philology and History,
MA programme “Classic Russian
Literature and Current Literary
Process in Sociocultural Context”
lyudmmila.korotkova@yandex.ru

ЭДВАРД САИД И ГРАНИЦЫ

Том Томас

УДК: 929.

Перевод с английского
Татьяны Гринюк

Ключевые слова:
маргинальность,
постколониализм,
полифония.

Аннотация

«Промежуточные» пространства должны быть изучены ради их революционного потенциала, и в то же время смелость «перейти» границы таит собственную опасность. В статье предпринята попытка исследовать, как «переход через границу» и «объединение периферий» образуют междисциплинарную широту взглядов Саида, которая не поддается категоризации. Дихотомия «центр/периферия» проблематизирована через признание существования «многих голосов», в то время как «полифония» рассматривается как один из главных концептов Саида. Музыка дала ему метафоры освобождения, а «переход» был вопросом первостепенной важности. В статье рассматриваются вопросы идентичности, индивидуальности, национальности, памяти, истории, репрезентации, географии, родины и страха влияния.

Статья была впервые опубликована в журнале «Text Matters» вып. 2 № 2 за 2012 год, с. 155–168. DOI: <https://doi.org/10.2478/v10231-012-0061-8>.
Перевод публикуется с согласия автора.

Edward Said and the Margins

Dr. Tom Thomas

*Translation from English
by Tatyana Grinyuk*

*Keywords:
marginality,
post-colonialism,
polyphony.*

Abstract

“In-between” spaces have to be investigated for their radical potential, while daring to “transgress” has its own dangers. The paper tries to address how “border crossing” and the “coalescing of margins” create an interdisciplinary breadth in Said, which resists categorization. The “centre / margin” binary is problematised by acknowledging the presence of “many voices,” “polyphony” being a favourite concept of Said. Music gave to him metaphors for human emancipation, while “transgression” was vital. Questions of identity, selfhood, nationality, politics, memory, history, representation, geography, homeland, anxieties of influence are dealt with in the paper.

The article was first published in the journal “Text Matters”, Vol. 2 No. 2, 2012, pp. 155–168. DOI: <https://doi.org/10.2478/v10231-012-0061-8>. The author has given consent for this publication of the article to In Your Own Words (Svoimi Slovami).

Ощущение, будто мы находимся на грани чего-то, могло бы стать визитной карточкой сложной эпохи, в которой мы сейчас живем. Грани опытов, домыслов, воспоминаний и истории — называйте это как угодно: всевозможные границы, рамки, пределы, фронтиры и периферии — это всё пороги, ждущие, пока через них переступят; места, излучающие притягательную ауру неподчинения установленным правилам. Как сумерки, вторгающиеся и в день, и в ночь, границы проникают в центр, и ядро расширяется до периферии. Фред Даллмайр отмечает, что «границы политического дискурса <...> определяют эти пограничные зоны или перекрестки, где пересекаются внимательность и творческая инициатива и где понятия смысла и его отсутствия, порядка и беспорядка нуждаются в постоянном пересмотре» [Dallmayr 1989: ix]. Жак Деррида в книге «Правда в живописи» («La verite en peinture») объясняет, что когда мы смотрим на картину, мы считаем раму частью стены, но когда мы смотрим на стену, рама воспринимается как часть картины. Парергон («parergon») — это не сама картина («ergon») и не то, что вне ее («hors d'oeuvre»); не внутри и не снаружи, не сверху и не снизу, — всякое противопоставление становится невозможным, но при этом парергон нельзя считать неопределенным, он «порождает» работу, дает ей начало [Derrida 1987: 61]. Голоса «с окраин» будут требовать, чтобы их услышали и чтобы их особенности были учтены. Пограничные пространства должны быть «заселены», чтобы вновь провозгласить обитаемые пространства («lived spaces») местами радикальной открытости и возможностей. Пространства, прилегающие к границам — это «одновременно пространства сопротивления и его подавления» [Hooks 1990: 152], и они воспринимаются как «интервенция».

«Послание этого пограничного пространства — это послание места творческого начала и силы, того инклюзивного пространства, где мы приходим в себя и в духе солидарности стремимся стереть категорию колонизатор/ колонизированный. Маргинальность как пространство сопротивления. Войдите в это пространство. Позвольте нам встретиться там. Войдите в это пространство. Мы приветствуем вас как освободителей» [Hooks 1990: 151].

В этой статье предпринята попытка изучить, как именно Эдвард Саид позиционирует различные «границы» в своих критических трудах. Рассматривается «искусство/ акт перехода» границ в текстуальном, политическом и культурном «пограничье».

Позиция Саида — это поистине позиция интеллектуала на границе [разных дискурсов / областей знания — прим. переводчика]. Комплексный подход Саида к литературе и еще одной его большой любви — классической музыке — не поддается простой категоризации. Влияние Саида, впрочем, далеко не ограничивалось миром академического и научного дискурса. Он проявил себя как оперный критик, пианист, телезвезда, политик, медиа-эксперт, известный эссеист и лектор. Его интересы включали в себя темы от интеллектуальной истории до современных проблем, от философского до журналистского дискурса. Саид преуспел в творческом — зачастую стратегически продуманном — избирательном эклектизме. Абдирахман Хуссейн отмечает, что

«Саид зачастую соединяет в одном предложении или абзаце <...> эпистемологические и этические проблемы, материалистские построения с догадками или экзистенциальные самоопределения с глобальными социально-политическими вопросами. Учитывая это неуважение к традиционным границам между жанрами, методами исследования и сферами интеллектуального противостояния, какую схему или критерии следует использовать и с какой конкретно интерпретационной целью?» [Hussein 2002: 2].

«Промежуточная зона» была важна для Саида не только по географическому и политическому назначению, но и с точки зрения более скрытых культурных, исторических, эпистемологических и онтологических коннотаций. Это не признак неопределенности, нейтральности или пассивности, а активное поле вовлечения, которое используется как инструмент идеологической критики. Желаемый результат его многонаправленной методологии, таким образом — расширение прав и возможностей («empowerment»). Жизнь Саида всегда проходила «между мирами», она пересекала границы. В ней постоянно присутствовал риск оказаться на той или иной стороне, но в то же время Саид уничтожал, переделывал и изменял эти границы. Его «погружение» навлекало опасность и славу «профессора террора»!

Саид был «культурной амфибией», которая торжествовала в роли «мошки-гуманиста», бросавшей вызов знатокам своего дела на их тщательно охраняемых территориях [Marrouchi 2004: 24]. Он подтверждал позицию Адорно: «Для человека, у которого больше нет родины, письмо становится местом для жизни» [Said 2001: 568]. В последнем абзаце «Культуры и империализма» Саид отмечает: «Никто сегодня не является чистой или цельной сущностью» [Саид 2012:

664], и для него идеи о единых, эссенциализированных или монолитных идентичностях — не в последнюю очередь в форме расистского или ксенофобного национализма — основная причина страданий и угнетения. Объединение границ и взаимопроникновение дискурсов было крайне важно для Саида. Патрик Уильямс отмечает, что

«Для него человечность формируется внутри и при помощи сложностей “Перекрывающихся территорий, переплетающихся историй”, как это обозначено в названии одной из глав “Культуры и империализма”, а не через идеологические конструкты, предлагаемые дискурсами или институтами — такими, как ориентализм, что подчеркивают культурные различия и иерархию, — или реакционной, упрощающей политикой идентичности, что приводит к воинственному, зачастую жестокому сепаратизму. Опять же, цель не в том, чтобы потворствовать примитивному восхвалению гибридности или синкретизма (это именно то современное теоретизирование, которое больше всего не устраивало Саида), но указать на необходимую и трудную задачу: объяснить и проанализировать формы подобных пересечений и переплетений, а также оценить их влияние. Этот процесс, одновременно исторически обусловленный и актуальный по сей день, воплощает в себе лучшее от Саида» [Williams 2004: 170].

Идентичность и ее сконструированность постоянно беспокоили Саида. Его собственная жизнь — яркий пример того, что идентичности зачастую мозаичны, множественны и парадоксальны. Саид называл себя «палестинцем, который ходит в школу в Египте и имеет при себе английское имя, американский паспорт и никакой конкретной идентичности» [Said 2001: 557]. Он нашел свое призвание, будучи в незавидном положении: он выступал для двух аудиторий, диаметрально противоположных с точки зрения их позиций — для западной и арабской. Язвительное пренебрежение Голды Меир в 1969 году — «нет такой нации, как палестинцы», — побудило его сформулировать палестинскую историю утрат и лишений [Said 2001: 563]. Саид объясняет, что его идентичность была «меньшинством среди меньшинств». Его родители были палестинскими протестантами. Большинство христиан из Средней Азии, которые были меньшинством в мусульманском обществе, исповедовали греческое православие. Миссионеры, прибывшие в Палестину, Ливан, Иорданию и Сирию в 1850-х, не смогли обратить в свою веру мусульман и евреев и в итоге обратили других христиан. Так семья его отца перешла в англиканство, а матери — в баптизм [Power... 2005: 234]. Положение

араба-христианина имело свои последствия: пока Саид пел гимны наподобие «Воинство Христово», он оказывался одновременно и агрессором, и жертвой [Said 2001: 558]. Удивительно, но несмотря на его крайне антирелигиозную политику, его восхваляли и продвигали как защитника ислама. Изгнание еще сильнее усугубило кризис идентичности. Саид замечает:

«В светском и зависящем от множества факторов мире дома всегда временные. Границы и барьеры, которые запирают нас в безопасности знакомых территорий, могут стать и тюрьмами. Эти границы отстаиваются, хотя на то нет ни оснований, ни необходимости. Изгнанники пересекают границы, ломают барьеры мышления и опыта» [Said 2001: 185].

Он нашел параллели между историей своей жизни и биографией Джозефа Конрада: они разделили судьбу странника, утратившего дом и язык. Изгнанническая утрата Палестины была жестоким наказанием. Мучительная мечта о возвращении иногда делает жизнь еще более жалкой — ведь жизнь нельзя начать заново, разорвав старые связи. Мыслителя в изгнании можно описать через беспокойство и движение — он вечно не на своем месте [Said 1994: 39]. Нужно устроить землетрясение, чтобы вытолкнуть людей из их самодовольной инертности. Мыслитель в изгнании должен быть тем сознанием, что невозможно регламентировать в абсолютно подконтрольном обществе [Said 1994: 41]. Таким образом, быть изгнанником означает «быть маргиналом», неспособным следовать предписанным путям. Это мир, «отзывающийся путешественнику, а не правителю; временному и рискованному, а не привычному; изобретениям и экспериментам, а не спущенному сверху статусу кво» [Said 1994: 47].

Такая постановка вопроса помогла Саиду показать не только две стороны, присущие каждому спорному утверждению, но и третье измерение, которое часто упускают из виду [Marrouchi 2004: 2]. Он отправился на поиски «ответов» («writing back») и зашел намного дальше национализма и постколониальной государственности, пересек границы, чтобы истолковать мир и текст, основываясь на «контрапункте», где «множество голосов» «создавали историю». Для Саида борьба за Палестину была не для того, чтобы создать нацию, которая дала бы миру очередную авиалинию, но для того, чтобы превратить палестинцев в народ, способный бороться за справедливость. Таким образом он мог восстать против Арафата и его свиты, которые выступали за простое и несправедливое решение во время переговоров в Осло [Marrouchi 2004: 10]. Отказываясь

надевать маску нейтралитета, Саид продемонстрировал, насколько эффективно теория может противостоять взрывоопасным проблемам культурной гегемонии.

Саидовские исследования «Ориента» дали голос «перифериям/пограничным зонам» различными способами. Срывая покровы с порочной связи между силой и знанием, он продемонстрировал, как «границы» создаются и управляются имперскими «центрами». Вторая часть первой главы «Ориентализма» озаглавлена «Имагинативная география и ее репрезентации: ориентализация Востока». Саид утверждает, что ориентализм сильно зависит от производства географического знания в имперском центре. Любая репрезентация «Ориента» обязательно связана с пространством. Помимо техник картографирования, преуменьшавших значение имперского проекта, Саид прежде всего обращает внимание на культурную политику пространства и места («politics of space and place»). Он отмечает, что подъем ориенталистских исследований совпал с периодом европейской экспансии 1815–1914 гг., не имевшей себе равных. Основой для появления этого дискурса послужило воображаемое существование чего-то, называемого «Ориент», который появился с помощью того, что Саид описывает как «воображаемую географию». Дерек Грегори отмечает, что «в “Ориентализме” Саид рассматривает воображаемые географии как множественные триангуляции власти, знания и географии, и концептуальная архитектура его аргумента заимствована из пространственного анализа Мишеля Фуко» [Gregory 2000: 311–312]. Читатель может найти у Саида параллели с идеями Фуко о дискурсе, дискурсивных формациях, власти/знании и репрезентации. Опираясь на прерывистую, генеалогическую историографию Фуко, Саид рассматривает весь корпус письменных источников об «Ориенте» как «дискурс». Более того, он заимствует идеи Фуко о власти, знании и дисциплинировании, чтобы проанализировать дискурс ориентализма. Фуко понимает дисциплину как форму современной карательной власти, которая устанавливает контроль над телом и делает его послушным и полезным. И, согласно Фуко, никакие властные отношения не возможны без соответствующих сфер знания. Саид, вероятно, принимает этот сигнал и показывает, как ориенталистские субъекты конструируются через отношения власти и знания. Для Саида (как и для Фуко) дискурс был средством, с помощью которого власть конструировала и объективизировала человека как субъект знания. Эту идею Фуко о «знании как власти» можно найти во всей саидовской критике ориентализма. Именно Фуко предложил Саиду способы описания отношений между знанием и властью над «Ориентом».

В «Культуре и империализме» Саид раз за разом указывает на борьбу за географию, за территорию, за пространство, за место, что особенно ярко проявляется в палестинском конфликте. Саид переосмыслил пространственную чувствительность не только с точки зрения «географии», но и в более широком эпистемологическом смысле. Будучи преданным идее о переходе устоявшихся границ, Саид размышлял о «новых топографиях», в которых герметичные отсеки культур, профессий, сфер опыта неизбежно становятся гибридными и взаимопроникающими. Так создаются промежуточные зоны и маргинальные зазоры, которые несут на себе бремя культуры. «Третье пространство», описанное Хоми Бхабха, — яркий пример такой гибридной промежуточности, подрывающей эссенциалистские репрезентации идентичности. Это пространство появляется, когда колониальный запрос не может быть передан из места, в котором он озвучен, в другое место, и, напротив, расщепляется, предоставляя возможность для чего-то иного [Bhabha 1990: 211].

Ставя под вопрос текстуальные границы, особенно в романах, Саид проблематизирует дихотомию центр / окраина, оборачивая голоса с периферии против тех, кто занимает центр. Анализ романа у Саида является одним из важнейших элементов в исследовании имперской культуры:

«Без империи не было бы европейского романа, каким мы его знаем, и если бы мы действительно изучили порождающие его импульсы, то обратили бы внимание на далеко не случайную конвергенцию между теми схемами нарративной власти, что составляют основу романа, с одной стороны, и сложной идеологической конфигурацией, на которой базируется тенденция к империализму, — с другой» [Саид 2012: 161].

Роман — как культурный артефакт буржуазного общества — и империализм немыслимы друг без друга. Непрерывность британской имперской политики в XIX веке активно сопровождалась описанием Британии в романах той эпохи как центра империи. Таким образом, задача романа не задавать вопросы об этой идее, а сохранить империю более или менее на месте [Саид 2012: 196–197]. Обязательной задачей становится переинтерпретировать архив западной культуры как географически раздробленный из-за действующего имперского разделения.

Главное методологическое предложение Саида — это «контрапунктное чтение». Это форма «перечитывания» («reading back») с перспективы колонизированных, смысл которой — показать, как

неочевидное, но критически важное присутствие империи проявляется в каноничных текстах. Осведомленность и об «истории метрополии», и о «других историях» необходима во время чтения. Идея контрапунктного чтения выросла из восхищения, которое Саид испытывал к канадскому пианисту-виртуозу Гленну Гульду, который был живым примером контрапунктного выступления в своей способности разрабатывать до малейших деталей ту или иную музыкальную тему [Ashcroft, Ahluwalia 2001: 192]. Контрапунктное чтение — техника темы и вариации, с помощью которой устанавливается контрапункт между имперским нарративом и пост-колониальной перспективой — контрнарратив, который продолжает пронизывать поверхность отдельных текстов, чтобы выявить вездесущее присутствие империализма в канонической культуре. Как замечает Саид,

«В западной классической музыке контрапункт означает, что различные темы взаимодействуют друг с другом, причем какая-то одна из них может находиться в привилегированном положении лишь временно. Тем не менее в итоговой полифонии есть порядок и согласие, упорядоченное созвучие, истоком которого являются темы, а не жесткий мелодический или формальный принцип, накладываемый на произведение извне» [Саид 2012: 127–128].

Контрапунктное чтение вовлекает оба (или все) измерения этой полифонии, а не только одно главенствующее, чтобы обнаружить, что именно однозначное прочтение может умолчать о политической приземлённости канонических текстов. Мастерство, с которым Саид читает «Мэнсфилд-парк», «Аиду», «Ким», Альберта Камю и Уильяма Йейтса, свидетельствует об этом контрапункте и «ответах» («writing back»). Р. Радхакришнан справедливо замечает, что «Культура и империализм» — это работа, располагающаяся «практически на границе нескольких дискурсов, проблемных вопросов и повесток» [Robbins et al 1994: 15]. В то же время Мэри Луиза Пратт выявляет «ахронологичность» как один из важных принципов, установленных методом Саида [Robbins et al 1994: 3]. Она раскрывает свою мысль, подчеркивая, что Саид читает прошлое сквозь призму настоящего, читает «ретроспективно и гетерофонично». Пратт описывает:

«Она [ахронологичность — прим. перев.] призывает нас, например, не “уважать целостность и неприкосновенность принципов («integrity»)” английского XIX века в обмен на более полное его понимание. Подразумевается, в частности, включение в учеб-

ную программу и обсуждение текстов XX века о деколонизации, антиимпериалистской мысли или историческом ревизионизме, чтобы создать контрапункт для — в противном случае — непреклонного <...>, крайне отчуждающего имперского/этноцентричного взгляда. Обоснование здесь скорее интеллектуальное, чем этическое: так вы лучше поймете XIX век» [Robbins et al 1994: 3].

Эдвард Саид путешествовал сквозь методологии. Разделить его деятельность как критика на две в корне различающиеся части — деятельность активиста и деятельность теоретика — и лишить их всякого диалога между собой означает изолировать и деполитизировать труд Саида. Это обострило бы уже существующий раскол между политической и профессиональной деятельностью — ведь тогда солидарность ассоциировалась бы с политикой, а оппортунизм — с профессиональными начинаниями [Robbins et al 1994: 16]. Саид стремился культивировать знание как мост между различными интересами и позициями. Помимо уточнения различия «внутри»/«снаружи», его задачей было построить когнитивные и этико-политические мосты. Он прошел сквозь разделенные истории и пространства с помощью универсалистского воображения, признавая при этом, что эти истории и пространства частично пересекаются. Р. Радхакришнан отмечает, что работа Саида по медиации, переводу и репрезентации заключается в следующем:

«...пограничная задача, которая не полностью метропольная и не полностью периферийная. Если Саид и отдает предпочтение позиции метрополии, так это предпочтение ее атмосферы, стимулирующей, несмотря на асимметричное разделение, начало диалога. Его прочтение Ранаджита Гуха, Сирила Джеймса, Джорджа Антониуса и Алатаса в контексте метрополии — это способ “периферизировать” центр, а не капитулировать перед ним. <...> Саид глубоко увлечен своей задачей — определить связь между “различиями внутри ‘первого мира’” и “‘третьим миром’ как различием”. Иными словами, когда постколониальность перемещается в центр, сам центр не остается и не может оставаться прежним. Обыденная деятельность в нем больше не может продолжаться по-старому» [Robbins et al 1994: 17].

Спасение политики своей родины от задворков публичного воображения, оживление ее истоков с помощью памяти как стратегического инструмента и — как следствие — особая поэтика пространства играли чрезвычайно важную роль в трудах Саида. Через интересное

сравнение: «Я последний еврейский мыслитель... Единственный настоящий последователь Адорно. Скажем так, я еврей-палестинец» [цит. по Power... 2005], — Саид провозглашает падение структур противопоставляющих различий («*oppositional differences*») — но, однако, без уничтожения различия как такового [Hochberg 2006: 47–48]. Саид выделяет неотделимость евреев и арабов, их историй и памятей. Он бросает вызов всем «национальным памятям», построенным на исключении и предании друг друга забвению; как пример — стирание памяти в колоссальном колониальном проекте сионизма. Исцеление стоит искать через обращение к памяти, «вспоминанию / пере-включению» («*re-membling*»). Именно в воссоздании коллективных воспоминаний, в исторической непрерывности, именно «как часть общей политической, этической и психологической сферы» евреи и арабы, израильтяне и палестинцы могут обрести мирное будущее [Hochberg 2006: 48]. Главное препятствие на пути к перемирию между этими двумя «неравными сообществами страдания» — это их взаимное равнодушие к страданию другого. Их земли — это потерянное «национальное достояние» для одних и «библейский завет и принадлежность к диаспоре» для других. Обе группы считают себя «жертвами насилия» [Hochberg 2006: 50].

Память — это социальный, политический и исторический проект. В современном мире память — как для историков, так и для учреждений и простых граждан — это прежде всего то, что используется, используется неправильно и эксплуатируется, а не инертное нечто, ждущее, пока каждый конкретный человек овладеет им и присвоит его. Саид пишет:

«Память и ее репрезентации ошутимо затрагивают вопросы идентичности, национализма, силы и власти. Историческая наука — это далеко не нейтральное жонглирование (“*exercise*”) фактами и прописными истинами; это, конечно же, фундамент памяти и изучение истории в школах и университетах — это, в значительной степени, националистическая инициатива, основанная на потребности сконструировать вожделенную преданность и взгляд “своего человека” на страну, традиции и веру» [Said 2000: 178].

Название мемуаров Саида «Без места» («*Out of Place*») очерчивает тему этой личной, честной книги. Она рассказывает разочаровывающую историю поиска идентичности длиной в жизнь. Несмотря на то, что написание этой работы было вызвано в первую очередь диагнозом «хроническая лейкемия», «Без места» также выросла

из ощущения «отсутствия корней». В затруднительном положении Саида были повинны хаотичная природа времени и места его рождения и невротическая природа дома, в котором он рос. Он родился в 1935-м как «мандатный ребенок» в Тальбии в Иерусалиме, брошенном на произвол судьбы после распада Османской империи и поглощенном Британской империей в конце Первой мировой войны [Davidson 2001: 166]. В 1948 году его семья бежала в Египет после образования Израиля и потеряла свое имущество и средства в Палестине. Это оставило неизгладимый след в памяти юного Саида. Чувство оторванности и утраты, «не совсем правоты и неуместности» [Said 1999: 295] определило всю его жизнь.

Франсуаза Лионнет полагает, что постколониальная автобиография включает в себе идею о том, что «письмо имеет большое значение, и нарратив может изменить читателя» [цит. по Luca 2006: 126]. Мемуары — это форма свидетельствования об исторических явлениях. Создаются личные истории, записываются индивидуальные версии публичных событий. Мемуары придают форму прошлому с помощью памяти и воображения, которые служат современным нуждам. Мемуары Саида фиксируют политику формирования идентичности и саморепрезентации. Они рассказывают историю, чтобы сохранить ей жизнь, чтобы побороть забвение. На самом деле, Саид уже рассказывал «историю» Палестины разными способами: в «Палестинском вопросе» («The Question of Palestine», 1979), «Освещении ислама» («Covering Islam», 1981), «За последним небом: жизнь палестинцев» («After the Last Sky: Palestinian Lives», 1986), «Политике выселения: борьбе за самоопределение палестинцев 1969–1994» («The Politics of Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determination, 1969–1994», 1994), «Мире и недовольстве: Газа-Иерихон 1993–1995» («Peace and its Discontents: Gaza-Jericho 1993–1995», 1995). Это был его поиск «утраченного мира». По сути, единый палестинский нарратив представить невозможно; параллельные истории сообществ на оккупированных территориях, документирующих свой опыт, должны быть собраны воедино, чтобы этот «сторителлинг» состоялся. «Без места» описывает такие важные вехи в становлении Саида как «Вторая мировая война, потеря Палестины и образование Израиля, конец египетской монархии, президентство Нассера, война 1967 года, возникновение палестинского национального движения, гражданская война в Ливане, переговоры в Осло» [Said 1999: xiii], и такие места как «Иерусалим, Каир, Ливан, США» [Said 1999: xiv]. Три места, в которых вырос Саид, больше не существуют — Палестина, Ливан (до гражданской войны) и колониальный монархический Египет — и их «история достойна спасения» [Said 2001: 568].

Тщательно продуманная организация архивов, музеев, мемуаров, празднование годовщин и написание хвалебных речей — все это необходимо, чтобы сохранить жизнь следам памяти, поскольку они уже не являются «настоящими средами памяти». Йоана Лука рассматривает «Без места» через концепцию *lieux de memoire* («мест памяти») французского историка Пьера Нора и обнаруживает в ней «места памяти», где «память кристаллизуется и источает сама себя» и проступает как следы “среды памяти” в обществе, отрезанном от собственного прошлого и даже от своего изначального местоположения» [Luca 2006: 137]. В этой книге продемонстрировано переплетение индивидуальной памяти и национальной идентичности. Палестина остается лишь в «следах памяти» и, как утверждает Нора, «это уже не совсем жизнь и еще не совсем смерть — как раковины на пляже у моря живой памяти во время отлива» [цит. по Luca 2006: 137]. «Без места» воссоздает «место памяти», в котором Палестина превращается «из тропа в полноценный топос» [Luca 2006: 140]. Мемуары стали терапией и лекарством для Саида, когда он был болен лейкемией, а также «увекочили» времена и места, которым угрожало забвение. Его автобиография выходит за традиционные рамки жанра, сопротивляется неподвижности, обитает в «третьем пространстве непрерывного становления, в пространстве “И” Делёза (“Deleuzian ‘AND’”))» [Luca 2006: 140], открывает «промежуточные пространства, где зарождаются новые формы искусства, опыта и политики» [Luca 2006: 141].

Саид исследовал культурные границы в музыкальной сфере и в то же время стремился уничтожить дисциплинарный контроль, чтобы показать: каким бы интимным ни казался музыкальный опыт, он никогда не отрывается от социального контекста и функций. Его «Музыкальные изыскания» («Musical Elaborations») сочетают теоретические размышления музыковедения и литературной теории с автобиографией. Фуко и Адорно смешиваются с Брамсом и Вагнером. Музыкальная критика — иногда профессионально-техническая, иногда более общая, импрессионистская, — соединяется с критикой литературной, и вместе они переплетаются с нарративами и воспоминаниями. Саид отмечает, что в исследованиях музыки преобладает допущение, что классическая музыка развивается согласно своей собственной внутренней формальной логике, не зависящей от социальной истории, и была практически не затронута современными открытиями в литературной и культурной теории [Said 1991a: xiii]. Его цель — взглянуть на музыку как на культурное поле и увидеть (или услышать) музыку как нечто всегда причастное социальной дифференциации и распределению ролей, а также

вопросам национальной и региональной идентичности. Для Саида и Фуко, и Адорно повинны в тотализации теории, которая мало что способна противопоставить тотализирующему обществу. «Никакая социальная система», — пишет Саид, — «никакое видение истории, никакое теоретическое обобщение — неважно, сколь сильное, — не может истощить запас альтернатив и практик, существующих внутри рассматриваемой сферы. Возможность перейти границы есть всегда» [Said 1991a: 55]. Даже «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера, образец жанра комедийной музыкальной драмы, в деталях изображающий общественный порядок, заключают в себе трансгрессию.

«Если читать и слышать в “Мейстерзингерах” переполняющую их острую силу альтернативы тому, что они сами провозглашают (то есть величии немецкого искусства и культуры), то это произведение уже не может быть сведено к националистической идеологии, на которую сделан акцент в последних строфах. Оно сформулировало слишком много в интересах контрапунктного действия, характера, новаторства» [Said 1991a: 61].

Как и Гленн Гульд, Эдвард Саид способен мыслить радикально и самостоятельно. Он не рассматривает музыкальные произведения через призму предубеждений и музыкальных клише своего времени. Как следствие, он отверг практически всю фортепианную музыку XIX века после Бетховена, не питал доверия к Вагнеру и признавал частью своего собственного канона лишь малую долю наследия Моцарта. Саид отстаивает свою эстетику с разных позиций, но лучше всего ее можно охарактеризовать как эстетику преданного, увлеченного полифониста. Мустафа Маруччи замечает, что полифония — это особая болезнь внутреннего уха Саида, практически патологическая специализация его мышления и, быть может, даже состояние его психики. Эта искренняя приверженность музыкальной полифонии инициирует его конфликт с культурой концертного зала и классической музыки [Marrouchi 2001: 102].

Труд «Параллели и парадоксы: исследования в области музыки и общества» («Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society») содержит раскованные и весьма забавные диалоги. Книга была подготовлена на основе знаменитых речей в Карнеги-холле — бесед между Дэниелом Баренбоймом, международно известным дирижером и пианистом, и Эдвардом Саидом. Баренбойм — аргентинец-израильянин, тогда как Саид — палестинец-американец. Эти диалоги затрагивали музыкальные, литературные и обществен-

ные темы, вовлекая множество вопросов: важность чувства места; музыка как неповиновение тишине; наследие творцов от Моцарта и Бетховена до Диккенса и Адорно; антисемитизм Вагнера; необходимость «творческих решений» проблем Средней Азии — нечто, чему они оба были свидетелями, когда собирали вместе юных арабов и израильтян в оркестре «Западно-Восточный Диван», основанном в 1999-м. Этот «переход» был непростым, но стоящим усилий:

«Таким образом они сумели преодолеть существенные человеческие и бюрократические барьеры, что позволило одаренным молодым музыкантам с обеих сторон расширяющегося политического разлома посещать мастер-классы одних из наиболее опытных исполнителей и музыкантов их эпохи, а также встречаться лично и учиться друг у друга так, как в иной ситуации было бы невообразимо» [Barenboim 2004: 91].

Для Саида «контрапункт» был музыкальным приемом и личным руководством как «связывать между собой различные музыкальные и культурные контексты, а также метафорой гуманистической эмансипации» [Groot 2005: 221]. «Полифония» в музыке не допускает доминирования одного голоса над другими, но если так и происходит, то это только временно, и ведущий голос постоянно меняется. В метафорическом смысле «полифония» — это «совокупность (“totality”) равных социальных взаимоотношений» [Groot 2005: 223]. По Саиду, «дилетантизм» помог создать связи, пересекающие границы и барьеры. Он также отмечает, что «сегодня основная гуманистическая задача — неважно, в музыке, литературе, любых искусствах или гуманитарных науках — связана с необходимостью сохранить различия, не впад при этом в стремление доминировать» [Barenboim, Said 2004: 154]. Инакомыслие дозволено в полифонии, особенно ярко это заметно в случае Баха. Это могло бы помочь в кризисных социальных ситуациях, так как гуманистический идеал Саида оставляет «место для разногласия, для иных точек зрения <...> чтобы расширить человеческую <...> свободу» [Barenboim, Said 2004: 181].

Траектория Эдварда Саида пересекает несколько интеллектуальных границ. Его впечатляющее, солидное наследие «никогда не страдало от страха влияния Блума» [Bayoumi 2005: 46]. Саид свободно называет критиков, у которых он заимствует идеи и понятия. Затем он ассимилирует их и использует своим особым образом. Абдирахман Хуссейн утверждает, что Саид «заимствовал ценные наблюдения у марксистских ревизионистов — его размышления

об истории, гегемонной культуре, идентитаристском мышлении, его критическая сознательность и поздний стиль пропитаны идеями Лукача, Адорно, Грамши и Уильямса» [Hussein 2007: 102]. Саид восхищается Лукачем, поскольку «для него теория была продуктом сознания, не бегством от реальности, а революционным волеизъявлением, глубоко преданным мирской жизни и переменам» [Saïd 1991b: 234]. Саид хранит верность Георгу Лукачу и его новаторскому пониманию овеществления сознания — постоянному напоминанию о том, что **власти идентичности (как идее, форме, состоянию ума, образу мышления) нужно сопротивляться любой ценой** [Gourgouris 2004: 64]. Влияние Адорно не только определило содержание работ Саида о музыке, но и отразилось на его взглядах на критику и критицизм. Адорно (и Саид) был чрезвычайно заинтересован в идее «позднего стиля» — в том, как последние работы великих деятелей искусства (особенно Бетховена) существуют не как сумма всего наследия мастера, а фактически как позиция отстранения от собственной аудитории. Во взглядах Саида обнаруживается много общего с работами Адорно об изгнании. «Это один из моральных принципов — не быть как дома у себя дома», — пишет Адорно в «Малой этике» («Minima Moralia») [цит. по Saïd 2001: 42], идея, в которую никто не верил так сильно, как Саид. Концепция «гегемонии» Грамши дала Саиду способ объяснить, как влияние тех или иных идей об «Ориенте» преобладало над другими. Используя, по Грамши, разделение на гражданское и политическое общество в «Ориентализме», Саид рассматривает культуру (находящуюся внутри гражданского общества) как **главное средство побуждения к согласию — и, как следствие, установления гегемонии**. Саид усваивает один из основных принципов из трудов Реймонда Уильямса: сопротивление империи в определенном смысле требует картографирования или изобретения нового пространства и новой географии. Он замечает, что в заключительных главах «Страны и города» Уильямс делает набросок «новой географии зрелого империализма (“high imperialism”) и деколонизации» с акцентом на «взаимоотношениях между перифериями и центром метрополии» [Saïd 2001: 467]. То, как Уильямс изучал структуры чувств, сообщества знания, новые и альтернативные культуры, а также паттерны географического мышления, оказало огромное влияние на Саида.

Брюс Роббинс подчеркивает, что Эдвард Саид наделил силой секулярный интернационализм, основанный на неоднозначном понятии пересечения границ — «не просто изгнания (возвышающего родину) и не просто иммиграции (возвышающей место прибытия), но одновременно и изгнания, и иммиграции» [Robbins 1994: 34]. Тра-

диционные жесткие рамки и ограничения растворяются, когда смелая критика Саида ставит «границы» под вопрос. Междисциплинарная широта наследия Саида может быть рассмотрена как лекарство от избитых «микроспециализаций», которые стали камнем преткновения на пути приверженцев идей солидарности, находящихся под угрозой солипсистских, нигилистических и пессимистичных установок. То, как Саид заново открывает социальные корни опыта в «пограничных» областях, могло бы помочь разрушить глухие стены изгнания и исключения и открыть пространства для всех тех, для кого улицы собственного достоинства долгое время были закрыты.

Список литературы

1. [Ashcroft, Ahluwalia 2001]—*Ashcroft B., Ahluwalia P.* Edward Said. London: Routledge, 2001. 167 p.
2. [Barenboim 2004]—*Barenboim D.* A Musical and Personal Collaboration: Daniel Barenboim Talks about Edward Said. Interview by Rashid Khalidi // *Journal of Palestine Studies*. 2004. V. 23. № 3. P. 91–97.
3. [Barenboim, Said 2004]—*Barenboim D., Said E.* Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society / ed. A. Guzelimian. New York: Vintage, 2004. 208 p.
4. [Bayoumi 2005]—*Bayoumi M.* Reconciliation without Duress: Said, Adorno, and the Autonomous Intellectual // *Alif Journal of Comparative Poetics*. 2005. № 25. P. 46–64.
5. [Bhabha 1990]—*Bhabha, H.* The Third Space. Interview by Jonathan Rutherford // *Identity: Community Culture, Difference* / ed. Jonathan Rutherford. London: Lawrence and Wishart, 1990. P. 207–221.
6. [Dallmayr 1989]—*Dallmayr F.* Margins of Political Discourse. New York: SUNY, 1989. 271 p.
7. [Davidson 2001]—*Davidson L.* Review of «Out of Place» by Edward W. Said // *Middle East Policy*. 2001. V. 8. № 4. P. 166–169.
8. [Derrida 1987]—*Derrida J.* The Truth in Painting. Chicago: University of Chicago Press. 1987. 386 p.
9. [Gregory 2000]—*Gregory D.* Edward Said's Imaginative Geographies // *Thinking Space* / ed. Mike Crang and Nigel Thrift. London: Routledge, 2000. P. 302–348.
10. [Groot 2005]—*Groot R.* Perspectives of Polyphony in Edward Said's Writings // *Alif Journal of Comparative Poetics*. 2005. № 25. P. 219–240.

11. [Gourgouris 2004]—*Gourgouris S.* Transformation, Not Transcendence // *Boundary 2*. 2004. V. 31. № 2. P. 55–79.
12. [Hochberg 2006]—*Hochberg G.* Edward Said: ‘The Last Jewish Intellectual’: On Identity, Alterity and the Politics of Memory // *Social Text*. 2006. V. 24. № 2. P. 47–65.
13. [Hooks 1990]—*Hooks B.* Yearning: Race, Gender and Cultural Politics. Boston: South End, 1990. 326 p.
14. [Hussein 2002]—*Hussein A.* Edward Said: Criticism and Society. New York: Verso, 2002. 339 p.
15. [Hussein 2007]—*Hussein A.* A New ‘Copernican Revolution’: Said’s Critique of Metaphysics and Theology // *Cultural Critique*. 2007. № 67. P. 88–106.
16. [Luca 2006]—*Luca I.* Edward Said’s *Lieux de Memoire*: Out of Place and the Politics of Autobiography // *Social Text*. 2006. V. 24. № 2. P. 125–144.
17. [Marrouchi 2004]—*Marrouchi M.* Edward Said at the Limits. New York: SUNY, 2004. 340 p.
18. [Marrouchi 2001]—*Marrouchi M.* Variation on a Theme: Edward Said on Music // *ARIEL*. 2001. V. 32. № 2. P. 91–123.
19. [Power... 2005]—*Power, Politics, and Culture: Interviews with Edward Said* / ed. G. Viswanathan. London: Bloomsbury, 2005. 485 p.
20. [Robbins 1994]—*Robbins B.* Secularism, Elitism, Progress, and other Transgressions: On Edward Said’s ‘Voyage in’ // *Social Text*. 1994. № 40. P. 25–37.
21. [Robbins et al 1994]—*Robbins B., Pratt M., Arac J., Radhakrishnan R., Said E.* Edward Said’s Culture and Imperialism: A Symposium // *Social Text*. 1994. № 40. P. 1–24.
22. [Саид 2012]—*Said E.* Culture and Imperialism. London: Vintage, 1994. 443 p. Цитаты приводятся по русскоязычному изданию: *Саид Э.* Культура и империализм. СПб.: Владимир Даль, 2012. 734 с.
23. [Said 2000]—*Said E.* Invention, Memory, and Place // *Critical Inquiry*. 2000. V. 26. № 2. P. 175–192.
24. [Said 1991a]—*Said E.* Musical Elaborations. New York: Columbia UP, 1991. 109 p.
25. [Саид 2006]—*Said E.* Orientalism. 1978. London: Penguin, 1995. 396 p. Цитаты приводятся по русскоязычному изданию: *Саид Э.* Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Мир, 2006. 639 с.
26. [Said 1999]—*Said E.* Out of Place: A Memoir. New Delhi: Viking, 1999. 295 p.

27. [Said 2001]— *Said E.* Reflections on Exile and Other Essays. New Delhi: Penguin, 2001. 617 p.
28. [Said 1994]— *Said E.* Representations of the Intellectual. London: Vintage, 1994. 80 p.
29. [Said 1991b]— *Said E.* The World, the Text and the Critic. London: Vintage, 1991. 327 p.
30. [Williams 2004]— *Williams P.* Edward Said (1935–2003) // Theory, Culture and Society. 2004. V. 21. № 1. P. 169–71.

Том Томас

Колледж Св. Томаса
(Козхенчерри, Керала),
Департамент английского языка
tom.zemeckis@gmail.com

Dr. Tom Thomas

St. Thomas College
(Kozhencherry, Kerala),
Department of English
tom.zemeckis@gmail.com

Татьяна Юрьевна Гринюк

Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа
экономики» (Санкт-Петербург),
Департамент истории, бакалавр-
ская программа «История»
tyugrinyuk@gmail.com

Tatyana Grinyuk

National Research University
“Higher School of Economics”
(Saint-Petersburg),
Department of History,
BA programme “History”
tyugrinyuk@gmail.com

3

АРХЕОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ

СЕКСУАЛИЗИРОВАННОЕ НАСИЛИЕ В ЕВРОПЕ 1520–1850 ГОДОВ.

К историзации понятий «изнаси- лование» и «домогательство»¹

Проф. Франциска Лоец

УДК: 34.047.

Перевод с немецкого
Елизаветы Гайдуковой

Ключевые слова:
изнасилование, домогательство,
история права.

Аннотация

Сексуальное насилие создало совершенно ассиметричные взаимоотношения между насильником и жертвой, а также между обвинителем и судом. В статье дифференцируется и критикуется этот простой и ригидный взгляд. При помощи сравнительного анализа примеров из европейской практики, взятых из судебных дел швейцарского города-государства Цюрих, в статье обсуждается, как можно решать концептуальные и эмпирические проблемы, возникающие при историческом анализе: как мы можем соотносить между собой досовременные и современные источники? Как понять, что слова «изнасилование» и «насилие» значили в прошлом? Что мы можем узнать о взаимосвязях обвинителей, ответчиков и суда? Как можно интерпретировать приговоры, которые кажутся нам крайне несправедливыми в наши дни, но были легитимны в прошлом?

1. Благодарю Вальтера Бероргера и Доминика Зибера за их помощь в некоторых архивных исследованиях. Все документы, ссылки на которые приведены в статье, относятся к государственному архиву кантона Цюрих (StAZH).

Статья была впервые опубликована в журнале «Geschichte und Gesellschaft» № 35 (4) за 2009 год, с. 561–602. DOI: <https://doi.org/10.13109/gege.2009.35.4.561>.
Перевод публикуется с согласия автора.

Sexualised Violence in Europe 1520–1850. On the Historicisation of “Rape” and “Abuse”

Prof. Dr. Francisca Loetz

*Translation from German
by Elizaveta Gaydukova*

Keywords:

rape, harassment, history of law.

Abstract

Sexual violence created an utterly asymmetric constellation between the offender and the violated person, as well as between the accuser and the court. This paper differentiates and criticises this simple and static view. With a comparative perspective on European examples and based on court records of the communal state of Zurich, the paper discusses how to deal with the conceptual and empirical problems arising in a historical analysis: How can we make pre-modern and modern sources relate to each other? How can we approach what “rape” and “abuse” meant for the contemporaries? What can we find out about the constellations between the accusers, the defendants, and the court? How can we understand the sentences which seem extremely unjust to us today as being fair at that time?

The article *Sexualisierte Gewalt in Europa 1520–1850. Zur Historisierung von „Vergewaltigung“ und „Missbrauch“* was first published in the journal *Geschichte und Gesellschaft*, No. 35 (4), 2009, pp. 561–602. DOI: <https://doi.org/10.13109/gege.2009.35.4.561>. The author has given consent for this publication of the article to In Your Own Words (Svoimi Slovami).

Мужчины, насилующие женщин; преступники, которые совершают сексуальное насилие по отношению к детям; общество, затрудняющее жертвам путь к правосудию; суды, которые выносят несправедливые приговоры — может ли неравенство проявляться сильнее? Сейчас этот риторический вопрос напрашивается сам собой, но он не был релевантным для многих, кто размышлял об этом ранее. Однако цель этой статьи — не доказать, что в Европе в прошлом к жертвам сексуального, или, точнее, сексуализированного² насилия их окружение и суд относились неодинаково. Гораздо важнее оказывается вопрос о том, в чем эмпирически проявлялась эта разница для закона, и здесь я рассматриваю четыре различных аспекта: это разница между современным и досовременным пониманием сексуализированного насилия и наказания за него; неравнозначность источников; неравное положение дел для жертвы и насильника, а также различное соотношение сил перед судом. Исследуемый временной промежуток простирается от 1520 до 1850 гг., а географически мы рассмотрим эти вопросы на примере кантона Цюрих, при этом учитывая практику в других регионах Европы. Это, в свою очередь, поможет выяснить, что объединяет раннее Новое время с переломным временем³ в отношении сексуализированного насилия и в чем они отличаются.

I. Изнасилование, домогательства, «прелюбодеяние» и «блуд», или проблема неоднозначности понятий⁴

Насилие кажется зонтичным термином, который легко и прагматично может быть определен как причинение физического вреда кому-либо против его воли. Я считаю такое понимание насилия слишком узким. Разве сексуализированное насилие ранит только

2. Я избегаю термина сексуальное насилие, так как сексуальность сама по себе не имеет тесной связи с насилием, и, следовательно, сексуализированное насилие понимается как насилие над средствами проявления сексуальности. При этом я сохраняю такие выражения, как «сексуальное нападение» или «сексуальный насильник», учитывая при этом языковые условности.

3. Здесь и далее немецкий термин die Sattelzeit, введенный Р. Козеллеком, будет переводиться как «переломное время» или «переходная эпоха». — Прим. переводчицы.

4. В немецком языке существуют два термина для обозначения изнасилования — die Notzucht и die Vergewaltigung. Их различие, во-первых, хронологическое: die Vergewaltigung используется и в современном немецком, в то время как die Notzucht — архаизм. Второе, и, видится, более существенное различие — этимологическое. Die Notzucht восходит к словам die Nötigung, der Notzwang (принуждение) и die Zucht, der Raubzug (разбой). Таким образом, на первый план выходит недобровольность «обладания», в отличие от нарушения права на самоопределение, которое оказывается важным при употреблении термина die Vergewaltigung. — Прим. переводчицы.

тело? Должно ли быть кровотечение или должны ли появиться синяки, чтобы назвать что-либо насилием? Было ли вообще разделение тела и души характерным для людей раннего Нового времени и переломного времени? Для намеченных мною целей не нужно продолжать эти вопросы, которые могут проиллюстрировать, что насилие выходит за пределы физического, так как юристы и врачи и в наши дни также сталкиваются с трудностями, пытаюсь определить, что именно является сексуальным насилием. Имело ли место «прелюбодеяние» только тогда, когда был порван гимен? Предусматривает ли «прелюбодеяние», что был совершен не только коитус по принуждению, но и произошел внутривагинальный *emissio seminis*? Считался ли непроникающий незащищенный половой акт «прелюбодеянием»? Могли ли вообще дети, не достигшие половой зрелости, считаться «совращенными», если насильник физически не мог не совершить проникающий сексуальный контакт? Мог ли термин «прелюбодеяние» употребляться применительно к проституткам, чья невинность считалась и так потерянной? Если, согласно современным для рассматриваемых периодов медицинским данным, беременность предполагала чувство полового влечения у женщин, то могли ли беременные быть принуждены к половым контактам против их воли? Эти вопросы были характерны для юридических и медицинских исследований раннего Нового времени и переходной эпохи⁵. Большинство из них мы можем найти до конца исследуемого нами временного периода в бумагах адвокатов и прокуроров Цюриха; они хорошо демонстрируют проблемы, которые влекли за собой концептуализация сексуализированного насилия и, соответственно, пространство для интерпретации, которое открывали юристы⁶.

Если термин «прелюбодеяние» нельзя приравнять к современному понятию изнасилования из-за его расплывчатости, то множество других исходных терминов в судебных протоколах свидетельствуют о том, насколько мало были очерчены формы сексуализированного

5. См.: Künzel C. *Vergewaltigungslektüren. Zur Codierung sexueller Gewalt in Literatur und Recht*. Frankfurt, 2003; Lorenz M. "Weil eine Weibsperson immer so viel Gewalt hat als erforderlich". *Sexualität und sexuelle Gewalt im medizinisch-juristischen Diskurs und seiner Praxis*, 17. bis Anfang 20. Jahrhundert // *Neue Geschichten der Sexualität / Franz X. Eder, Sabine Frühstück* (Hg.). Wien, 2000. S. 145–166; Meyer-Knees A. *Verführung und sexuelle Gewalt. Untersuchung zum medizinischen und juristischen Diskurs im 18. Jahrhundert*. Tübingen, 1992; Porret M. *Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève*. Genf, 1995.

6. Это утверждал, например, защитник 55-летнего Якова Киндлимманна: «изнасилования, определяемого законом как "контакт гениталий", не было, поскольку Киндлимманн не мог совершить проникающий половой акт с шестилетней Маргарет Брюннер и, соответственно, внутривагинальной эякуляции не было». См.: YY.25.19, S. 1155, 8.5.1841.

насилия в раннее Новое время и в переходную эпоху. Об этом говорит множество материалов, входящих в состав цюрихских заключений⁷. В этих примерах помимо «прелюбодеяния» также встречаются такие термины, как «блуд», «непристойность», «легкомыслие», «проституция», «излишние прикосновения», «домогательства», «публичное нарушение норм нравственности» и так далее, без возможности четко отделить термины друг от друга. Зарегистрированные случаи должны быть сперва проанализированы, прежде чем они могут быть названы современными понятиями «изнасилование» или «домогательства». То обстоятельство, что нам необходимо сделать этот терминологический «перевод», уже ясно дает понять, что сексуализированное насилие в рассматриваемые периоды не похоже на представления западного мира о насилии в наши дни. Это также относится к «изнасилованию», отягощенному инцестом, которое редко регистрировалось как таковое. Скорее всего, они должны были скрываться под названием «позор крови», который, однако, не дает однозначного понимания того, был ли это незаконный сексуальный контакт между родственниками с применением силы или по меньшей мере против желания одного из взрослых или детей. Поэтому в этом исследовании не затрагивался «позор крови», и инцест принимался во внимание лишь тогда, когда его определяли как «прелюбодеяние». По этой же причине «содомия», «излишние прикосновения» и «сладострастие» не рассматривались в этой работе. Большинство актов не позволяет однозначно судить, осуществлялись ли гомосексуальные контакты насильственно и в каких случаях⁸.

Вследствие этого возникает фундаментальный методологический вопрос: как современные категории отражают реалии прошлого? Решение, которое я предлагаю здесь, условно: либо я использую исходные термины и тем самым маркирую инаковость понимания источников, либо я применяю современную терминологию, для которой, в этом случае, нужно заранее определить соответствие с исходным кодом. Учитывая широту исторических терминов, здесь я говорю о сексуализированном насилии в целом и помещаю термины «изнасилование» и «домогательство» в кавычки, когда я

7. О расплывчатости досовременной концепции изнасилования: Durston G. Rape in the Eighteenth-Century Metropolis, Part 1 // *British Journal for Eighteenth-Century Studies*. 2005. № 28. P. 167–179; Cautela S. G. Le “viol” au XVIIe siècle. Entre théories et pratiques // *Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen âge à l’époque moderne* / Benoît Garnot (Hg.). Dijon, 2007. P. 103–111; Koch A. Die Verletzung der Gemeinschaft. Zur Relation der Wort- und Ideengeschichte von “Vergewaltigung” // *Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*. 2004. № 15. S. 37–56.

8. Сексуализированное насилие как феномен военного времени — отдельная тема, и потому не будет рассмотрено в статье.

подразумеваю специальный термин. «Изнасилование» обозначает формы неправомерного проникающего полового акта. «Домогательство», напротив, понимается как неправомерный непроникающий сексуальный контакт, причем с использованием физического или вербального насилия. То есть, «домогательство» совершается под угрозой применения силы и против, или по меньшей мере без желания, взрослой или несовершеннолетней жертвы, и, таким образом, совершается в оскорбительной форме. Термин «прелюбодеяние» в раннее Новое время может обозначать и изнасилование, и домогательства, или даже (что я не буду рассматривать в статье) внебрачный половой акт по обоюдному согласию. Таким образом, понятия «изнасилование» и «домогательства» не соотносятся с категориями современного Швейцарского законодательства, в котором строго разграничиваются действия сексуального характера с детьми или подчиненными, сексуальное принуждение (проникающий сексуальный контакт, отличный от коитуса), изнасилование (половой акт с женщиной) и надругательство (действия сексуального характера в отношении душевнобольных или не способных оказывать сопротивление)⁹. Также, согласно немецкому законодательству, жертвами изнасилования могут считаться люди обоих полов, и этим термином обозначают любые формы сексуального контакта, не обязательно подразумевая проникающие акты¹⁰. Австрийские же законы используют другую категоризацию¹¹, что доказывает, что и по сей день в языке сосуществуют различные юридические толкования того, как понимать сексуализированное насилие. Здесь также уместен вопрос, где именно проходят возрастные границы права на сексуальное самоопределение¹². Очевидно, что сексуализированное насилие непросто определить, а также трудно выделить его различные категории. Это становится тем более верным, когда дело доходит до изучения различных способов обращения с сексуализированным насилием на основании судебных актов домодерной эпохи, в которых часто не до конца ясно, насколько далеко заходили гомоэротические «излишние прикосновения», и считаются ли «от-

9. Art. 187–191 StGB/CH Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21.12.1937 (SR 311.0).

10. § 177 StGB/D Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I. S. 3322), впоследствии изменен на закон от 31.10.2008 (BGBl. I. S. 2149).

11. § 201 StGB/A Bundesgesetz vom 23.1.1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen, BGBl. Nr. 60/1974, впоследствии изменен на федеративный закон BGBl. I. Nr. 52/2009.

12. О Лондоне в XVIII веке см.: Simpson A.E. *Vulnerability and the Age of Female Consent. Legal Innovation and Its Effect on Prosecutions of Rape in 18th Century London // Sexual Underworlds of the Enlightenment / George S. Rousseau, Roy Porter. Manchester, 1987. P. 181–205.*

роки» (Knabe) и «юноши» (Meitli) детьми или не состоящими в браке взрослыми, а «дочери» (Töchter) — девушками¹³.

II. Справедливый приговор, или проблема неравенства

Все, кто говорит о неравенстве, автоматически включают и понятие равенства. С равенством мы связываем современное правосудие, например, одинаковые наказания за одни и те же проступки¹⁴. Применять этот принцип в отношении домодерной эпохи — значит допускать анахронизм и вынесение поспешного суждения о том, что досовременное правосудие было произвольным. Оно являлось таковым, но в особом понимании людей прошлого. Как показали Андрэ Хольштайн в «Проблеме нормы обстоятельств» или Карл Хэртер на примере судопроизводства Майнца, «самовластие» руководствовалось не современными принципами справедливости, а следовало домодерной логике правильного, и, следовательно, справедливого суждения¹⁵. Поэтому, чтобы избежать анахроничных предубеждений, необходимо понимать различия в положении дел, которое существовало между людьми и институциями; важно не квалифицировать их априори как несправедливость, а понимать эти расхождения.

III. «Закрытые» источники, или проблема разнородности источников в исследовании длительных периодов времени

При исторической оценке зарегистрированных дел о сексуализированном насилии может быстро сложиться впечатление, что мало что изменилось в соотношении сил между жертвой и насильником, в их неравенстве для суда. Однако при нынешнем состоянии исследований тяжело сделать более подробные описания исторических

13. По этой причине, если в актах прямо не говорится о детях, то в некоторых случаях затруднительно определить, что жертвами были дети. Дети определяются здесь как лица возраста до 16 лет, но судебные протоколы XIX века обозначают эту границу возрастом сексуального согласия, и обычно этот возраст колеблется между 17 и 18 годами.

14. О проблематике досовременного vs. современного понимания равенства и справедливости см. работу Иоахима Айбахса в этом же сборнике. (Подразумевается журнал «Geschichte und Gesellschaft» № 35 (4) за 2009 год. — Прим. редактора).

15. См.: Härter K. *Policey und Strafjustiz in Kurmainz. Gesetzgebung, Normdurchsetzung und Sozialkontrolle im frühneuzeitlichen Territorialstaat*, 2 Bde. Frankfurt, 2005; Holenstein A. *Die Umstände der Normen — die Normen der Umstände. Policyordnungen im kommunikativen Handeln von Verwaltung und lokaler Gesellschaft im Ancien Régime // Policy und frühneuzeitliche Gesellschaft*. Frankfurt, 2000. S. 1–46.

изменений сексуализированного насилия, поскольку большинство и без того немногочисленных работ охватывают период длиной лишь в несколько десятилетий. Исследований, рассматривающих большой промежуток времени, перешагивающих границы эпох, определенно не хватает, однако при попытке провести их возникает фундаментальная проблема, характерная для любой подобной работы. Изучение длительных промежутков времени предполагает, что область наблюдений оставалась максимально стабильной в своей административной структуре и географической протяженности. В противном случае из-за изменения административных и пространственных границ нельзя гарантировать возможность сравнения документов, даже относящихся к одним и тем же институциям. Такую структуру, унаследовавшую достаточное количество источников, еще предстоит найти. Многочисленные изменения территориальных границ и потери населения в ходе войн, а также факт, что сохранились не все архивные фонды, осложняют поиск подходящих эмпирических примеров во временном отрезке между поздним Средневековьем и ранним Новым временем.

В городе-государстве Цюрихе есть подобный пример, где с конца Средних веков и до XIX века были сохранены основные политическая и административная структуры. Благодаря этой континуальности до нас дошел источник так называемых «Отчетов разведчиков и дополнений к ним», который покрывает временные рамки нашего исследования и простирается приблизительно от 1530 до 1798 гг. «Отчеты разведчиков» включают в себя примерно 85 000 отдельных страниц формата фолио¹⁶ и состоят из протоколов допросов людей, которые должны были отвечать в суде в качестве обвиняемого или свидетеля. Значения слов и языковые особенности сохраняются на протяжении более 260 лет. Совет, заседавший в Цюрихе, отправлял так называемых разведчиков из своих рядов в город и в деревни, располагавшиеся на подчиненных территориях. Они опрашивали пострадавших и свидетелей на месте, как можно точнее протоколировали их показания и отправляли их в совет, который, в свою очередь, в письменном виде выносил свое решение как городской или высший сельский суд¹⁷. Несмотря на идентичные функции, кото-

16. Имеются в виду отдельные листы формата *in folio*, размер которых составлял приблизительно 63,5 × 48,5 см. См.: Roberts M., Etherington D. *Bookbinding and the conservation of books: a dictionary of descriptive terminology*. Washington: Library of Congress, 1982. P. 35. — Прим. переводчицы.

17. Подробнее об исторической ценности «Отчетов разведчиков и дополнений к ним» см.: Loetz F. *Mit Gott handeln. Von den Zürcher Gotteslästerern der Frühen Neuzeit zu einer Kulturgeschichte des Religiösen*. Göttingen, 2002. S. 96–108.

рые разведчики должны были выполнять в течение 260 лет, состав источников изменился с течением времени. Если в первые десятилетия XVI века отчеты, как правило, состояли всего из нескольких строк, то с середины XVI века объем записанного в протоколах, и, следовательно, их детализация, значительно увеличивается. Такие документы часто располагались на двух листах, а к XVIII веку они преимущественно составляли уже четыре листа. С XVII века в отчетах также появляются свидетельства о моральных качествах истца и обвиняемых. В случаях физического или сексуализированного насилия к протоколу также прилагались заключения врача или акушерки. Учитывая эти изменения, можно ли сравнивать между собой редкие дела об «изнасилованиях» и «домогательствах», которые перед этим нужно выделить из общего количества судебных дел? И да, и нет. С одной стороны, очевидно, что нет, потому что в судебных актах было опущено много информации¹⁸. С другой — несмотря на разное количество сведений, записи разведчиков все же можно сравнивать друг с другом, поскольку они одинаково структурированы. Они как можно подробнее записывали рассказы опрашиваемых, используя при этом косвенную речь, но не записывая слово в слово. Благодаря приложенным ими усилиям информация систематически фиксировалась на протяжении веков. Большинство разведчиков отражали в своих записях также обстоятельства нападения, реакции жертвы и ее окружения, а также описывали поведение обвиняемого перед судом. Таким образом, уровень детализации варьируется от протокола к протоколу, и поэтому не стоит недооценивать различную плотность информации, поскольку эту разницу все же можно преодолеть.

С прекращением существования старой конфедерации количество разведчиков почти сходит на нет к 1798 году. Не имея возможности достоверно определить, как и когда были реализованы правовые реформы в периоды Гельветической республики, во время действия Акта посредничества и Реставрации¹⁹, из протоколов пер-

18. Например, в случае с Яковом Кюнгом можно увидеть лишь то, что подозреваемый холостой юноша был по меньшей мере слишком близок в сексуальном плане с незамужней девушкой. Записи в деле фиксируют, что он закрыл ей рот, что доказывает сопротивление девушки «изнасилованию» в соответствии с юридическими представлениями раннего Нового времени. В отличие от более поздних записей допросов, в этом источнике больше не приведены никакие подробности.

19. Текущее состояние исследований не позволяет дать такую оценку. Можно ожидать, что диссертация Кристиана Энгеля о криминальности в Цюрихе в переломное время заполнит эти лакуны. Основываясь на протоколах судебных заседаний, а также своде законов Цюриха, можно сделать вывод о том, что сами потерпевшие или их мужья или, если быть точными, законные представители, обращались к приходскому священнику или бургомистру, а эти обращения передавались в районный суд. (Продолжение на следующей странице).

вой половины XIX века, сохранившихся почти полностью, можно узнать, что судебные процессы все больше становились делом профессиональных юристов²⁰. Показания очевидцев, характеристики или свидетельства о моральных качествах, к которым апеллируют адвокаты в аргументации, больше не помещаются в и без того обширные судебные акты²¹. Судебные дела становятся в большей степени протоколами об итогах судебного заседания, в которых аргументы прокуроров и адвокатов, а также решение суда, записаны по определенному шаблону.

Как сейчас мы можем сочетать протоколы судебных заседаний с разнообразными записями разведчиков? Ответ должен быть основан на том, что мы как историки всегда работаем с лишь частично сохранившимися артефактами прошлого, и потому должны оставить лакуны незаполненными; также мы можем комбинировать различные полученные данные. Применительно к цюрихскому примеру это означает, что материал, предоставленный разведчиками, как нельзя лучше подходит для качественной оценки, в то время как записи из суда, наоборот, более пригодны для количественной оценки. Как еще предстоит показать, оба эти подхода дополняют друг друга и позволяют окинуть взглядом развитие процессов на протяжении примерно трехсот лет. Это подтверждается тем, что до нас дошел фонд документов 1840-х годов, в котором встречается около 50 протоколов судебных заседаний по подобным делам, сохранившимся полностью. Каждое из дел занимало примерно 50 страниц, и в нем приводились показания опрошенных, отчеты врачей и представителей духовенства, а также решение суда, что позволяет сравнивать выводы количественного анализа с данными качественного анализа. Обобщая, можно отметить следующее: несмотря на то, что неодинаковость источников осложняет исследование продолжительных

*Это влекло за собой допрос подозреваемого и передачу дела в Высший уголовный суд Цюриха, который обязательно был первой инстанцией в делах о сексуализированном насилии. После вынесенного приговора предоставлялась возможность подать апелляцию в Высший уголовный суд Цюриха как во вторую и высшую инстанцию, однако названия судов изменились в XIX веке. Ср.: *Officielle Sammlung der von dem Grossen Rath des Cantons Zürich gegebenen Gesetze und gemachten Verordnungen, und der von dem Kleinen Rath emanirten Landes- und Polizey-Verordnungen*, Zürich 1804, S. 157–161; § 93 u. § 101 *Officielle Sammlung der seit Annahme der Verfassung vom Jahre 1831 erlassenen Gesetze, Beschluesse und Verordnungen des Eidgenössischen Standes Zuerich*, Bd. 1, Zürich 1831, S. 169 u. S. 205.*

20. Исследования, освещающие вопросы подготовки адвокатов и судей, не проводились, и потому мы не можем дать какую-либо информацию об уровне их профессионализма.

21. Например, прокурор в обвинении против Йоханнеса Еттера ссылается на дело № 104. См.: YY.10.28, *Johannes Jetter*, 6.10.1836, S. 759–773. При этом неизвестно, сохранялись ли соответствующие акты после завершения судебных дел, или вернее, когда они становились недействительными.

периодов времени, она не делает его невозможным, в случае если можно учесть это неравенство. Необходимо осознавать ценность исходного материала в его специфике вместо того, чтобы грести его под одну аналитическую гребенку. Так же, как нельзя оценить содержание «отчетов разведчиков» из Цюриха по тем же количественным критериям, что и судебные протоколы первой половины XIX века, так нельзя и читать документы из суда словно «насыщенные описания» разведчиков.

IV. Неравноправные пары в суде, или проблема историзации сексуализированного насилия: отчеты цюрихских разведчиков 1530–1798 годов

Когда Рой Портер в 1986 году поставил вопрос о том, релевантно ли говорить об изнасилованиях в историческом контексте, этот вопрос был новым для исторической науки²². С тех пор вышло несколько работ об изнасилованиях в исторической перспективе. Однако большинство из них апеллируют к литературному описанию, концентрируются преимущественно на правовом дискурсе, а также строят свою аргументацию, основываясь на данных XVIII века, и особенно XIX и XX веков²³. Лишь немногие исследователи рассматривали сексуализированное насилие с учетом социальной действительности, как это было записано в судебных актах раннего Нового времени и переломного времени. **Из нашей статьи становится ясно, что в случаях изнасилования и инцеста складывались неравные пары: преступники злоупотребляли властью по отношению к жертвам. Пострадавшим, в свою очередь, было чрезвычайно тяжело обратиться в суд и быть услышанными из-за патриархальных ценностей и су-**

22. См.: Porter R. Rape. Does it Have a Historical Meaning? // Rape / Sylvana Tomaselli u. ders. Oxford, 1986. P. 216–236. К дискуссии об общественном конструировании гендера посредством судопроизводства см.: Griesebner A., Mommertz M. Fragile Liebschaften? Methodologische Anmerkungen zum Verhältnis zwischen historischer Kriminalitätsforschung und Geschlechtergeschichte // Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne / Andreas Blauert, Gerd Schwerhoff (Hg.). Konstanz, 2000. S. 205–232.

23. См. использование терминов «rape», «sexual abuse», «viol», «violence sexuelle», «Vergewaltigung», «Mißbrauch» в электронных базах вроде Jstor, или в аннотациях статей по истории для исследуемого периода, или в библиографии Стефана Блашке: [link](#). Также наглядный пример: Hommen T. Sittlichkeitsverbrechen. Sexuelle Gewalt im Kaiserreich. Frankfurt, 1999; Künzel C. Unzucht, Notzucht, Vergewaltigung. Definitionen und Deutungen sexueller Gewalt von der Aufklärung bis heute. Frankfurt, 2003; Bourke-Martignoni J. Rape. A History from 1860 to the Present Day. London, 2007.

дебной практики раннего Нового времени²⁴. Это осознание не оказывается неожиданным, однако анализ случаев, зафиксированных в Цюрихе, дополняет и дифференцирует имеющиеся знания.

Среди тысяч отчетов, составленных разведчиками, находится небольшое количество (но не менее 51) случаев явного сексуализированного насилия²⁵. Но важно иметь в виду, что цифры по разным причинам будут значительно выше. Многие дела, как, например, в Базеле и Вюртемберге, переводили в разряд несудебных путем заключения брака или компенсации²⁶. На примере Цюриха на это указывает высказывание Ханса Хегелера: когда Якоб Амманн столкнулся в трактире с несколькими мужчинами после «изнасилования» Барбары Уцингер в 1656 году, он предложил купить им выпить, если они оставят это дело в покое²⁷. Амманн исходил из того, что все можно урегулировать без обращения в суд, но ему это не удалось. Однако засвидетельствованы и другие случаи, когда преступник был более успешен в том, чтобы компенсировать содеянное материально, и потому судебный акт не был составлен.

Помимо внесудебных соглашений также необходимо учитывать, что в записях разведчиков «прелюбодеяние», вероятно, регулярно называ-

24. Несмотря на то, что список литературы по этой теме довольно обширен, я приведу некоторую выборку ниже: См. Clark A.K. *Women's Silence, Men's Violence. Sexual Assault in England 1770–1845*. London 1987; Corbin A. *Sexuelle Gewalt in der Geschichte*. Berlin, 1992; Griesebner A. *Konkurrierende Wahrheiten. Malefizprozesse vor dem Landgericht Perchtoldsdorf im 18. Jahrhundert*. Wien, 2000; Herrup C. *The Patriarch at Home. The Trial of the 2nd Earl of Castelhaven for Rape and Sodomy* // *History Workshop Journal*. 1996. № 41. P. 1–18; Schneider Z.A. *Women Before the Bench. Female Litigants in Early Modern Normandy* // *Historical Studies*. 2000. № 23. P. 1–32.

25. «Отчеты разведчиков» будут скрывать еще больше случаев, в том числе и менее очевидных. Для того, чтобы их зафиксировать, придется систематически читать все отчеты разведчиков, так или иначе касающихся сексуальных преступлений, но это требовало огромного объема работы. Я сама только мимоходом отметила случаи сексуализированного насилия в рамках своего исследования о богохульстве, для которого просматривала записи, поэтому я могла пропустить некоторые случаи сексуализированного насилия. Однако так называемые «белые» и «синие» реестры, составленные архивистами XVIII века, в которых дела перечислены по отдельности, позволяют провести перекрестную проверку. По ключевым словам: «назойливое / непристойное действие», «принуждение», «неосторожность», «нарушение», — я не заметила дополнительно подходящих дел. Об истории архива Цюриха см.: Weiss R. «Die Registratur der Archiven». *Zur Entwicklung des Zürcher Archivwesens im 18. Jahrhundert* // *Zürcher Taschenbuch N.F.* 2002. № 122. S. 443–491.

26. См.: Burghartz S. *Verführung oder Vergewaltigung. Reden über sexuelle Gewalt vor dem Basler Ehegericht in der Frühen Neuzeit* // *Erkenntnisprojekt Geschlecht. Feministische Perspektiven verwandeln Wissenschaft* / Bettiana Dausien u.a. (Hg.). Opladen, 1999, S. 325–344., hier S. 336. О Вюртемберге см.: Kienitz S. *Sexualität, Macht und Moral. Prostitution und Geschlechterbeziehungen Anfang des 19. Jahrhunderts in Württemberg*. Berlin, 1995. S. 160.

27. См.: A.27.94, Hans Hägeler, 29.5.1657. Дальнейшая информация в разделе A. 27 — это протоколы допросов всех упомянутых, если документы не указаны дополнительно.

ется «блудом»²⁸. Необходимо изучить дополнительные источники, чтобы сделать выводы о сексуализированном насилии в городе-государстве Цюрих. Выборка показывает, что эти дела скрыты за документами о заключении брака, сохранившимися за весь период раннего Нового времени²⁹, в «Книгах советов и судов», а также в отчетах опекунов³⁰. Такая всеобъемлющая оценка источников (сотни томов по несколько сотен страниц), однако, должна остаться предметом какой-либо квалификационной работы. Также важно учитывать, что источники не знают преступления, которое только недавно было определено как таковое — это изнасилование в браке. Судя по тому, что примерно в 1634 году Джонатан Эглин и Маргарет Мюллер оказались в суде из-за того, что Маргарет не хотела исполнять «супружеский долг»³¹, можно представить, что другие мужчины, состоящие в браке, пытались отстаивать свои права не в судебном порядке, а с применением силы³². Поэтому в статье мы можем обсуждать лишь случаи, которые были зафиксированы в «отчетах разведчиков». Для наглядности они представлены в таблице:

28. В пользу этого очевидного предположения говорит приговор судебного совета Албана Сульцера, судимого в 1599 году за неоднократные внебрачные половые связи со своей служанкой и обязанной выплатить денежный штраф в размере 100 фунтов стерлингов. Таким образом, суд назначил штраф, соответствующий штрафу за супружескую измену, и обосновал свой приговор невозможностью доказать, что обвиняемый совершил «прелюбодеяние». См.: А.27.48, Разведчик по делу Сульцера, X.2.1599. «X» будет использоваться здесь и в дальнейшем, когда даты не были записаны полностью.

29. Так, Ева Суттер указывает на четыре случая изнасилования в судебных записях о браке в Цюрихе: Sutter E. "Ein Act des Leichtsinns und der Sonde". *Illegitimität im Kanton Zürich. Recht, Moral und Lebensrealität, 1800–1860.* Zürich, 1995. S. 297–298.

30. Некоторые примеры из детализированных протоколов брачных судов раннего Нового времени указывают на то, что нередко заявлению на вступление в брак предшествовало изнасилование. См. примеры: иск Эльзы Гесслерин против Хенси Бури А.7.1, 26.11.1528 или УУ.1.271; Анна Элизабет Шэрер против Якоба Трайхлера 14.11.1780. В книгах советов и судов обычно фиксируется только правонарушение и приговор, поэтому основная информация, необходимая для качественной оценки, здесь отсутствует. См.: В.VI.254, fol. 20, Albrecht Peter, 1534 Montag nach Heiliger Dreifaltigkeit. Примечательно, что в книгах советов и судов регистрируются обвиняемые, которые не фигурируют в отчетах разведчиков. Можно предположить, что часть отчетов была потеряна, но никаких указаний на это нет. Также возможно, что дела в книгах советов и судов — это дела, которые были рассмотрены устно. Однако уточнить это не представляется возможным. В качестве примера можно привести дело об опекунстве А.128.8, Gorius Suter, 11.12.1668.

31. См.: StAZH. A.27.72. Jonathan Eglin u. Margareth Müller. [1634]

32. О других регионах известно, что соблюдение «супружеских обязанностей» неоднократно становилось причиной жестоких споров. См.: Haack J. *Der vergällte Alltag. Zur Streitkultur im 18. Jahrhundert.* Köln, 2008. S. 163–166. Например, в Бристоле в 1736 году был отклонен судебный иск об изнасиловании, поданный женой против мужа. Аргументом послужило то, что соблюдение «супружеского долга» входило в ее обязанности. Этот закон действовал в Англии и Уэльсе вплоть до 1991 года. См.: Hall R. a.o. *The Rapist Who Pays the Rent.* Bristol, 1984. P. 29.

Общее количество дел о сексуализированном насилии	51		
Общее количество дел, обозначенных как «изнасилование» и «домогательства»	45		
Общее количество «изнасилований»		26	
Случаи, в которых жертва — взрослый человек			21
Случаи, в которых жертва — ребенок			5
В том числе «изнасилования» при инцесте ³³			3
В том числе «изнасилование» двумя (и более) людьми			2
Общее количество попыток «изнасилования»		12	
Случаи, в которых жертва — взрослый человек			5
Случаи, в которых жертва — ребенок			7
В том числе попытки при инцесте			0
Общее количество дел о «домогательствах»		7	
Случаи, в которых жертва — взрослый человек			1
Случаи, в которых жертва — ребенок			6
В том числе «домогательства» при инцесте			4
«Излишние прикосновения»		4	
Другое		2	

Табл. 1. Сексуализированное насилие. «Отчеты разведчиков и дополнения к ним», 1530–1798 гг.

33. Под инцестом понимается сексуальная связь с принуждением между отцом (отчимом), братом или дядей и их дочерьми и сыновьями, сестрами или племянницами. Подробнее о специфике инцеста см.: Emig Jutta u.a. (Hg.). *Historische Inzestdiskurse*. Königstein, 2003; Jarzebowski C. *Inzest. Verwandtschaft und Sexualität im 18. Jahrhundert*. Köln, 2006; Rublack U. Viehisch, *frech und onverschämpt // Von Huren und Rabenmättern. Weibliche Kriminalität in der Frühen Neuzeit / Otto Ulbricht* (Hg.). Köln, 1995. S. 171–213.

Выборка слишком мала, чтобы делать валидные статистические выводы о периоде продолжительностью около 260 лет. Эти цифры должны выступать некоторым индикатором, который подтверждает качественные суждения. Первое, что можно определить по общему количеству зафиксированных случаев — это то, что сексуализированное насилие часто не попадало в поле зрения суда, но, по видимому, не полностью игнорировалось различными инстанциями. Поэтому мы должны проводить различие между пострадавшими, которые предпочли молчать или по меньшей мере не обращаться в суд, и подавшими жалобу и потому занесенными в протокол. В цюрихских «отчетах разведчиков» отсутствуют следы мужских сообществ, практикующих групповые изнасилования, при которых жертва была подвержена еще более неравному соотношению сил. В выборке представлен единственный пример, в котором двое мужчин «совратили» одну женщину. То, насколько велико было количество незарегистрированных случаев и как изменилась стратегия проведения допросов с течением раннего Нового времени, пока остается неизвестным.

Тот факт, что значительная часть случаев — это попытки «изнасилования», можно интерпретировать двояко. С одной стороны, нельзя было однозначно доказать, что «изнасилование» действительно было. Поэтому судья мог наказывать только за попытку «прелюбодеяния», из-за чего обвиняемым выносили более мягкий приговор. С другой же стороны, в некоторых случаях это действительно могла быть лишь попытка «прелюбодеяния». Но, по всей видимости, для пострадавших имело смысл обратиться в суд даже в таких труднодоказуемых случаях. Соответственно, ни советники, ни зарегистрированные жертвы (из записей разведчиков неясно, кто именно подал жалобу), не оставляли такие нападения без внимания. Поэтому замалчивание сексуального насилия не является самоочевидным фактом, хотя истцам было гораздо труднее доказать причиненный им вред, чем в случаях с другими правонарушениями.

Как и ожидалось, инцестуальные связи затрагивают преимущественно детей, особенно сильно зависимых от близких родственников. В целом дети (не только в Цюрихе) часто становятся жертвами сексуализированного насилия³⁴. Как с этими детьми обращались в суде, еще предстоит выяснить.

34. В Лондоне в XVIII веке дети также чрезвычайно часто становились жертвами изнасилований. Durston G. Rape in the Eighteenth-Century Metropolis, Part 1 // *British Journal for Eighteenth-Century Studies*. 2005. № 28. P. 157.

Категории «излишнее прикосновение» и «другое» показывают, как тяжело проложить границы между разными категориями сексуализированного насилия. «Излишние прикосновения» или также «сладоэротические» могут включать в себя гомоэротические практики по обоюдному согласию или сексуальные домогательства до мужчин. Здесь возникает вопрос, можно ли, например, расценивать как домогательства неожиданные объятия без предварительного эксплицитного согласия обоих людей. В любом случае, «излишние прикосновения» могли оставить глубокий след в памяти пострадавшего. Так, спустя 15 лет один из мужчин, подвергнувшийся «излишним прикосновениям» со стороны Ягли Волленвейдера, свидетельствовал перед судом, что был принужден к «блуду» с Волленвейдером. Этого вряд ли можно было ожидать, если бы он не воспринял этот инцидент как глубокое оскорбление и, следовательно, как насильственное действие³⁵. Однако сделать дальнейшие выводы здесь невозможно. В целом сексуализированное насилие над мужчинами особенно трудно уловить в источниках.

Также сложно классифицировать случаи, объединенные категорией «другое». Сюда включены те формы сексуальности, которые были аморальны согласно представлению человека раннего Нового времени, и потому приводили к судебным искам. Например, жалоба жены на своего мужа, требовавшего от нее «нехристианских» форм сексуальной жизни (оральный секс, «неестественные» позы), была отклонена³⁶. Также потерпела неудачу и жена, которая отказывалась выполнять «супружеский долг» и пыталась посредством обращения в суд защитить себя от принуждения к половым контактам³⁷. Были ли эти женщины «изнасилованы» или подверглись «домогательствам» в соответствии с нашими определениями этих понятий? Если привычные для таких судебных актов термины вроде «прелюбодеяния» и т.д. не встречаются, то обвиняемые освобождаются. Но разве женщины все же не подвергались сексуализированному насилию? Можно предположить (и документы, относящиеся к немецким городам XVIII века, служат подтверждением этому³⁸), что этих женщин принуждали угрозами или применением силы, что они, должно быть, считали оскорбительным³⁹. Жертвам сексуализированного насилия в целом было трудно обратиться в суд, но похоже, что для опреде-

35. См.: StAZH. A.27.117. Jagli Wollenweider. 13.11.1684.

36. См.: StAZH. A.27.15. Bartholome Rinnderlis. 3.8.1845.

37. См.: StAZH. A.27.72. Jonathan Eglin u. Margareth Müller [1634].

38. См.: Haack J. *Der vergällte Alltag. Zur Streitkultur im 18. Jahrhundert.* Köln, 2008. P. 155.

39. См.: Haack J. *Der vergällte Alltag. Zur Streitkultur im 18. Jahrhundert.* Köln, 2008. P. 155.

ленных категорий жертв это было особенно тяжело. Неравенство перед судом проявляется не только в парах «жертва — преступник», но и в разных категориях потерпевших.

Как показывают исторические исследования преступлений, не только вид правонарушения, но и социальное положение всех причастных, их межличностные отношения и факт признания вины обвиняемым влияли в раннее Новое время на то, какой вердикт вынесет суд⁴⁰. Поскольку в цюрихских «отчетах разведчиков» редко фиксировались личные данные опрашиваемых, нечасто удавалось установить личность преступника и определить, в каких отношениях находились нападавший или нападавшая и потерпевший или потерпевшая. Малочисленность деталей в протоколах позволяет лишь сделать предположение, что среди преступников были бюргеры, ремесленники и в редких случаях солдаты в возрасте от 15 до примерно 70 лет. Были ли они женаты, указывалось в записях лишь в отдельных случаях. Основываясь на выводах, сделанных в ходе этого и других исследований, жертва и преступник часто не были знакомы, но при этом большинство нападавших входили в ближайший круг знакомых потерпевших⁴¹. Также в различных работах было доказано, что служанки неоднократно становились жертвами своих работодателей⁴². Цюрихские «отчеты разведчиков» позволяют предположить, что то же самое было верно и для Цюриха, но ввиду отсутствия личных данных доказать это не представляется возможным⁴³.

40. В качестве примера см.: Härter K. *Policey und Strafjustiz in Kurmainz. Gesetzgebung, Normdurchsetzung und Sozialkontrolle im frühneuzeitlichen Territorialstaat*, 2 Bde. Frankfurt, 2005. S. 586–1122. Хартер подытоживает подробную аргументацию вышеупомянутой монографии пассажем: «“справедливые” наказания были нацелены не на равноправие, а на социальный статус, честь и социальный капитал, а справедливость и общее благо были не диаметрально противоположностями». Härter K. *Praxis, Formen, Zwecke und Intentionen des Strafsens, 1770–1815 // Strafzweck und Strafform zwischen religiöser und weltlicher Wertevermittlung / Reiner Schulze (Hg.). Münster, 2008. S. 213–231, здесь S. 225.*

41. В выборке примеров из Цюриха — 8 случаев от общего числа случаев сексуализированного насилия (51), когда насильник и жертва были знакомы, и 15 случаев, когда нет, оставшиеся 28 отчетов не получается классифицировать. Однако информация о месте совершения преступления позволяет нам предположить, что доля известных и неизвестных друг другу преступников и пострадавших могла быть схожей. Ведь любой, кто надругался над женщиной или ребенком посреди улицы, с большей вероятностью не знал свою жертву, чем если бы он изнасиловал ее или домогался до нее у себя дома или в собственной комнате, не получив сначала доступа к жертве силой. О происхождении преступника из круга знакомых жертвы см.: Bernard A. *Les victimes de viols à Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles // Les victimes, des oubliés de l'histoire? / Benoît Garnot (Hg.). Rennes, 2000. P. 455–467.*

42. В качестве примера см.: Amussen S. D. *Punishment, Discipline and Power. The Social Meanings of Violence in Early Modern England // Journal of British Studies*. 1995. № 34. P. 1–34, здесь P. 16.

43. См.: StAZH. A.27.42, Hans Altorfer, 3.5.1591; StAZH. A.27.48, Alban Sultzer, X.2.1599; StAZH. A.27.57, Hans Buri, 19.5.1612.

Так, сексуализированное насилие для Цюриха эпохи раннего Нового времени едва ли может быть локализовано в социальной структуре общества на основе «отчетов разведчиков», так что неравенство в парах «истец — ответчик» нельзя описать подробнее⁴⁴.

В редких случаях следует исходить из того, что слуги нападали на детей своего господина, как описано в одном из дел в Цюрихе⁴⁵. Также нельзя однозначно исключать, что дочери работодателей могли сами домогаться до прислуги, как это показано в одном из актов⁴⁶. Но, насколько мне известно, подобные случаи пока не были подробно изучены и не особо бросались в глаза исследователям. Они столь редки, что должны оцениваться как исключительное явление. Однако такие исключения наглядно показывают, что сексуализированное насилие вполне может изменить соотношение сил, присущих разным социальным статусам.

Для рассмотрения следующего аспекта нам стоит обратить внимание на два выдающихся дела: в первом случае сестры буквально подтолкнули свою младшую сестру к «изнасилованию»⁴⁷, во втором же хозяйка под каким-то предлогом заманила горничную с хорошей репутацией, служившую ее соседке, в свой трактир, чтобы ее постоялец мог изнасиловать девушку⁴⁸. Если случаи «изнасилований» и «домогательств» как характеристики социальных и семейных отношений, в которых один участник зависит от другого, были предметом изучения, то (насколько мне известно) случаи, когда женщин или девушек, так же, как и мужчин или юношей, подвергали изнасилованию с целью получения денежного вознаграждения, до сих пор не были отдельно исследованы ни с эмпирической, ни с концептуальной точек зрения. Здесь было бы хорошо вывести исследование за пределы истории сексуальных правонарушений, а также истории проституции и сводничества⁴⁹. Следовало допросить не только пре-

44. С другой стороны, типичным для этих исследований является, например, вывод Дурстона о том, что насильники — это часто молодые мужчины из низших слоев населения. Они насиловали женщин, социальный статус которых был еще ниже, если только речь не шла об отношениях хозяина и служанки, что было довольно распространенным явлением.

45. См.: StAZH. A.27.106. Peter Wuest. 27.5.1674.

46. См.: StAZH. A.27.37. Adam Metler. 8.8.1582.

47. См.: StAZH. A.27.72. Anna Rollenbutz. 3.3.1634.

48. См.: StAZH. A.27.9. Caspar Schreiber, X.X.1539.

49. Однако ссылка на правовое регулирование сводничества на острове Фердинандея имеет место быть: Griesebner A., Mommertz M. *Fragile Liebschaften? Methodologische Anmerkungen zum Verhältnis zwischen historischer Kriminalitätsforschung und Geschlechtergeschichte // Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne / Andreas Blauert, Gerd Schwerhoff (Hg.). Konstanz, 2000. S. 228.*

ступника и жертву, а также свидетелей, но и задаться вопросом о «поставщиках» жертв сексуализированного насилия. **Насилие следует рассматривать не только как процесс, происходящий между тем, кто его совершает, и тем, кто страдает от него, но и как асимметрично структурированное пространство для действий, которое создается теми, кто находится на заднем плане. В проблеме насилия помимо преступников и жертв в качестве третьих действующих лиц добавляются те, кто подготавливает насилие.**

Чтобы принять решение, судьи в Цюрихе до 1835 года не имели под рукой кодифицированного уголовного кодекса и не обращались к юридическим экспертным заключениям. Введение Гельветического судебного права, основанного на кодексе Наполеона, осталось лишь эпизодом из истории Гельветической республики. Следовательно, судьи должны были использовать понятия обычного права о «прелюбодеянии» и «блуде». Каковы были представления о содержании этих понятий, показывают вопросы, которые задавались в суде. Всегда необходимо было уточнять, как произошел физический контакт и какие формы он принимал: получали ли женщина или ребенок подарок, достигли ли они половой зрелости и были ли «порядочными», вела ли себя женщина вызывающе, были ли обнажены какие-то части тел, был ли совершен половой акт, была ли эякуляция внутривагинальной или нет, — все эти вопросы находились в центре внимания и соответствовали современным критериям правовой оценки. В то же время они показывают, что правовое суждение основывалось на конкретных представлениях о неравенстве полов. **Женщины априори подозревались в том, что они проявляли заинтересованность и тем самым провоцировали нападение. Мужчины, наоборот, рассматривались как существа, от природы легко поддающиеся соблазну, чья сексуальность проявляется исключительно при половых контактах.** Таким образом, так как женщины в принципе нуждались в доказательствах и подозревались в соучастии, акты сексуального насилия считались чем-то простительным. Подозреваемые часто утверждали, что они лишь отреагировали на действия женщин и не совершили серьезного сексуального преступления, поскольку коитус не был совершен.

Подобно всем судьям раннего Нового времени, цюрихские судьи Старого режима настаивали на признании обвиняемым своей вины. В 20 из 45 случаев «изнасилований» или «домогательств» «разведчики» фиксировали поведение подозреваемых, и почти все из них пытались поначалу опровергнуть обвинения. Они либо отрицали их, либо утверждали, что не могут ничего вспомнить, поскольку были пьяны, однако при последующих допросах признавались

в содеянном. Двенадцать человек признали свою вину полностью⁵⁰, трое — лишь частично⁵¹. Поскольку лишь двое обвиняемых в «изнасиловании» (или попытке совершить его) или «домогательствах» были оправданы⁵², и четверо отрицали содеянное даже после того, как их били⁵³, можно предположить, что остальные дали признательные показания. В противном случае судьи не могли бы вынести приговор в соответствии с законами раннего Нового времени. Доходящие до суда случаи, по всей видимости, были делами, обстоятельства которых были достаточно прояснены, и потому они имели все шансы на осуждение подозреваемого. Можно сформулировать и по-другому: в этих делах обвиняемые с трудом могли доказать свою невиновность, и потому неравенство жертвы и преступника перед судом частично сглаживалось.

Этому выводу также соответствует тот факт, что лишь трое подозреваемых в нашей выборке осмелились защищаться при помощи ответного нападения: Албан Сульцер в 1599 году оспаривал обвинение в «изнасиловании» семнадцатилетней служанки. Наоборот, она была согласна на половой акт, не сопротивлялась, не кричала и не жаловалась на боль. Следовательно, она не была девственницей. Более того, она распевала постыдные песни. То есть, стратегия Сульцера заключалась в том, что он последовательно ставил под сомнение репутацию своей служанки. В определенной степени это ему удалось, и он был осужден не за «прелюбодеяние», а за супружескую измену⁵⁴. Гансу Якобу Шмидту в 1631 году удалось доказать, что

50. См.: StAZH. A.27.94. Marx Weber. 4.3.1594. Altes Hauptarchiv. 1594; StAZH. A.27.45. Joachim Wyßmüller. 18.11.1596. Altes Hauptarchiv. 1596; StAZH. B.VI.265, fol. 4. Heinrich Lee. 31.1.1607. Altes Hauptarchiv. 1607; StAZH. B.VI.266. fol. 109. Uoli Spillmann. 20.8.1607. Altes Hauptarchiv. 1607; StAZH. A.27.56. Jacob Kun. 17.10.1610. Altes Hauptarchiv. 1610; StAZH. B.VI.,266, fol. 301. Hans Blickenstorffer. 28.4.1611. Altes Hauptarchiv. 1611; StAZH. A.27.57. Hans Buri. 19.5.1612. Altes Hauptarchiv. 1612; StAZH. B.VI.267, fol. 4. Hans Rosenstill. 21.6.1620. Altes Hauptarchiv. 1620; StAZH. A.27.76. Steffann Tanner. 3.2.1638. Altes Hauptarchiv. 1620; StAZH. A.27.90. Caspar Ritzmann. 28.3.1651. Altes Hauptarchiv. 1651; StAZH. A.27.115. Heinrich Buechi. 20.8.1689. Altes Hauptarchiv. 1689; StAZH. A.27.135. Jacobi Baumann. 20.5.1723. Altes Hauptarchiv. 1723.

51. StAZH. A.27.42. Hans Altorfer. 3.5.1591. Altes Hauptarchiv. 1591; StAZH. A.27.65. Hans Hiss. 4.6.1623. Altes Hauptarchiv. 1623; StAZH. A.27.141. Diakon Lindinger. X.X.1730. Altes Hauptarchiv. 1730.

52. См.: StAZH. A.27.9. Hans Morgenstern X.X.1539; StAZH. A.27.9. Hans Morgenstern X.X.1539. Altes Hauptarchiv. 1539; StAZH. A.27.9. Jacob Küng. X.X.1540; StAZH. A.27.9. Jacob Küng. X.X.1540. Altes Hauptarchiv. 1540.

53. См.: StAZH. B.VI.258, fol. 230 f. Hans Boller 8.11.1559. Altes Hauptarchiv. 1559; StAZH. A.27.60. Peter Hußer. 27.11.1615. Altes Hauptarchiv. 1615; StAZH. A.27.70. Hans Jacob Schmid. 16.3.1631. Altes Hauptarchiv. 1631; StAZH. A.27.120. Anton Tschudi. 20.4.1697. Altes Hauptarchiv. 1697.

54. См.: StAZH. A.27.48. Alban Sultzer. X.2.1590.

его супруга, с которой он судился, уговорила их дочь обвинить отца в «домогательстве». В результате Шмидт получил оправдательный приговор, который выносился в то время крайне редко. Каспар Ритцманн в 1651 году отрицал обвинение в «изнасиловании» пятнадцатилетней девушки-инвалида Маргарет Ритцин, утверждая, что это ложь. При дальнейших допросах на него, должно быть, оказывалось давление, в результате чего он частично признал свою вину. И хотя присяжная акушерка, проводившая медицинский осмотр Ритцин, не нашла ничего подозрительного и пришла к выводу, что «изнасилование было несколько не вероятно», Ритцманн был оштрафован на 100 фунтов, а также должен был выплатить 200 фунтов в качестве компенсации⁵⁵. В отличие от других регионов, в суде Цюриха старались не позволять зарегистрированным делам затеряться, и продолжать их рассмотрение на основаниях общего права⁵⁶. Отчетливо видно желание судебных органов последовательно рассматривать зарегистрированные сексуальные преступления наравне с другими преступлениями.

Такое изображение суда, серьезно относящегося к сексуализированному насилию и не пытающегося его скрыть, подтверждает суждения, которых придерживались цюрихские судьи Старого режима касательно системы наказания: при «изнасиловании» / попытке «изнасилования» пять виновных получили телесное наказание, восемь — позорящее наказание, десять — денежный штраф. Четверо обвиняемых были высланы из страны, еще четверо (это были особенно тяжелые случаи с многократными преступлениями⁵⁷) приговорены к смерти. Решения по трем делам отсутствуют. В случаях «домогательств» позорящее наказание (четыре раза) оказывается популярнее, чем штраф (один раз), но в двух случаях неизвестно, насколько велик был штраф. Из в общей сложности 45 дел об «изнасилованиях» и «домогательствах» только один обвиняемый был помилован, и еще с двоих сняли обвинения ввиду отсутствия дока-

55. См.: StAZH. A.27.90. Caspar Ritzmann. 28.3.1651. Altes Hauptarchiv. 1651; StAZH. Schreiben Hebamme. 8.4.1651. Altes Hauptarchiv. 1651; StAZH. Dorsalnotiz Urteil Ritzmann. 7.4.1651. Altes Hauptarchiv. 1651.

56. По оценкам Дурстона, в Лондоне в XVIII веке максимум 15% заявлений об изнасиловании признавались магистратами, мировыми судьями и судами низшей инстанции и, соответственно, передавались в высший суд (суд присяжных) для вынесения решения. См.: Durston G. Rape in the Eighteenth-Century Metropolis, Part 1 // *British Journal for Eighteenth-Century Studies*. 2005. № 28. P. 176–177.

57. StAZH. B.VI.264, fol. 386–387. Joachim Wyßmüller. 18.11.1596. Altes Hauptarchiv. 1596; StAZH. A.27.65. Hans Hiss. 4.6.1623. Altes Hauptarchiv. 1623; StAZH. B.VI.269, fol. 150–152. Hans Heinrich Zinegg. 11.8.1634. Altes Hauptarchiv. 1634; StAZH. B.VI.269, fol. 456–458. Steffan Tanner. 3.2.1638. Altes Hauptarchiv. 1638.

зательств. Ни один из мужчин, «изнасиловавших» женщину, забеременевшую в результате полового акта, не был освобожден из-под ареста, и срок наказания также не был сокращен. Современный для рассматриваемого периода медицинский дискурс о беременности, который предполагал согласие женщины на половой акт, не играл в судопроизводстве Цюриха никакой роли. Здесь также стоит отметить: как бы ни были неравны части пары «преступник — жертва», предстающие перед судом, у обвиняемого было мало шансов уйти от ответственности, как только дело передавалось в суд.

Система наказаний, принятая цюрихскими судьями, дает дополнительную информацию для понимания логики, которой они руководствовались при определении справедливого приговора. Если обвиняемого объявляли бесчестным и безоружным, для него закрывались двери таверн и вход на общественные мероприятия, он терял активные гражданские права, из-за чего подвергался общественному порицанию подобно тому, как подвергались ему прелюбодеи и богохульники. Если телесные наказания применялись относительно редко, то это говорит о том, что обвиняемые были представителями социальных классов, которые могли этого избежать благодаря своей платежеспособности (в основном от телесных наказаний страдали бедняки). То есть, в случаях сексуализированного насилия (как и в других видах преступлений) суд выносил приговор в соответствии с социальным статусом. Поскольку те девять случаев, в которых известен размер штрафа, могут быть оценены, то можно говорить о том, что система наказаний также следует принципу относительности наказания⁵⁸. Равенство не заключалось в том, что за одинаковые проступки назначались равные штрафы. Напротив, суд нормировал размер штрафа в зависимости от тяжести проступка и платежеспособности обвиняемого и с учетом того, какова должна быть компенсация для жертв (попыток) «изнасилования» или «домогательств». Чем богаче был подозреваемый, тем больше назначался штраф и размер компенсации. Помимо судебных издержек, обвиняемый также должен был покрыть медицинские расходы и выплатить денежную компенсацию, размер которой был от 25 до 200 фунтов стерлингов. Также могло быть назначено денежное взыскание в размере пример-

58. См.: StAZH. A.27.8. Hans von Wyl. ca. 1536–1538. Altes Hauptarchiv. 1536–1538; StAZH. A.27.42. Hanns Altorfer. 3.5.1591. Altes Hauptarchiv. 1591; StAZH. A.27.44. Marx Weber. 4.3.1594. Altes Hauptarchiv. 1594; StAZH. A.27.56. Jacob Kun 17.10.1610. Altes Hauptarchiv. 1610; StAZH. A.27.60. Peter Hußer. 27.11.1615. Altes Hauptarchiv. 1615; StAZH. A.27.90. Caspar Ritzmann. 28.3.1651. Altes Hauptarchiv. 1615; StAZH. A.27.908. Heinrich Huber. 10.8.1661. Altes Hauptarchiv. 1661; StAZH. B.VI.265, fol. 4. Heinrich Lee 31.1.1607. Altes Hauptarchiv. 1607; StAZH. B.VI.266, fol.109. Uoli Spillmann 20.8.1607. Altes Hauptarchiv. 1607.

но четверти от суммы компенсации, поэтому размер штрафа часто достигал 250 фунтов. Так как размеры штрафов сильно колеблются, невозможно установить наверняка, были ли штрафы за преступления над детьми особенно высокими, хотя некоторые взыскания указывают на этот факт. В сравнении с прелюбодеянием, за которое обычно штрафовали на 100–150 фунтов, за «домогательства» назначали меньшую сумму, а попытки «изнасилования» наказывались столь же большой суммой, к которой добавлялись компенсационные выплаты. Все это указывает на необходимость рассматривать уголовное преследование сексуализированного насилия не изолированно, а в общем спектре преступлений; что дает возможность сравнить их социальную оценку с другими правонарушениями.

То, что суд Цюриха установил штрафы за «прелюбодеяние», аналогичные наказанию за супружескую измену, а иногда и превышающие его, указывает на то, что было бы анахронизмом исторически понимать «изнасилование» лишь как нарушение неприкосновенности человека. Для Цюриха раннего Нового времени большое значение имел тот факт, что «изнасилование» и «домогательства» были формами проявления сексуальности вне брака. Это было не только сексуализированное насилие над человеком или колебание социальных устоев, но и нарушение божественного порядка. Это подтверждает и беглый взгляд на проблему «кровосмешения», которую мы не будем рассматривать подробнее: видимо, для назначения наказания за инцест не было важно, произошел ли половой акт по взаимному согласию. Очевидно, что для суда в центре внимания находилась не проблема насилия, а нелегитимные для религии сексуальные отношения партнеров, которые становились грешными посредством сексуального контакта.

Некоторые высказывания допрошенных указывают на важный аспект стыда, что многократно встречается в XVIII веке и в единичных случаях в XIX веке. Ответчики заявляли, и это зафиксировано в протоколах, что содеянное ими было «великим грехом»⁵⁹. Подозреваемые также рассказывали, как их жертвы пытались защититься, говоря, что не хотят, чтобы им самим тоже пришлось согрешить⁶⁰. Дети и их родители также объясняли «разведчикам» свое умалчивание о случившемся стыдом⁶¹. Представление о том, что при вынужденном сексуальном контакте жертва также совершает грех, соотносится с судебной инструкцией, согласно которой жертвы ин-

59. См., например: StAZH. A.27.108. Kleinhans Keller 10.7.1676. Altes Hauptarchiv. 1676.

60. См.: StAZH. A.27.115. Heinrich Buechi. 20.8.1689.

61. См., например: StAZH. A.27.90. Margaretha Ritzin. 8.4.1651. Altes Hauptarchiv. 1651.

цеста должны быть наказаны. Например, в случае Сюзанны Мейер, изнасилованной своим братом в 1637 году, суд постановил, что ее следует положить в больницу и что там «ученые часто должны посещать ее». Во время ее нравственного воспитания священнослужители должны были держать Мейер в страхе смертной казни, чтобы она осознала, какой «тяжкий грех» совершила. После «надлежащего осознания своих грехов» представители духовенства должны были отменить угрозу смертной казни; следовало смотреть, как действовать дальше⁶².

В поддержку божественного порядка высказывался в 1656 году и отец Якоба Амманна, настаивая на браке своего сына с Барбарой Унцигер, которую тот изнасиловал: Якоб должен заботиться о своей матери, братьях и сестрах, защищать себя и семью от дальнейшего позора и признать свой проступок как праведный христианин, а «потому что Бог велик, его не обмануть»⁶³. Получив согласие на брак от самой обесчещенной Унцигер, ее отца и отца обвиняемого, суд решил помиловать Якоба при условии, что он сочетается церковным браком с Унцигер в следующую субботу⁶⁴. Все причастные к делу стремились восстановить благочестивый порядок. Такое понимание греха подразумевало, что и преступник, и жертва были морально уравнены как грешники. Кажется, когда такой взгляд утрачивает свое значение для суда в течение XIX века, происходит современная категоризация сексуализированного насилия, отличная от раннего Нового времени и переходной эпохи. Они выходят за пределы религии, которая (в том числе в Женеве⁶⁵) в исследуемый нами период была тесно связана с сексуализированными преступлениями и которая устанавливала моральные эквиваленты или, по меньшей мере, сходства, чуждые нам сегодня.

Также было бы потенциальным анахронизмом прочитывать — соответственно современному взгляду — приговоры раннего Нового времени исключительно как наказания преступников. Осужденные были обязаны оплатить медицинские расходы пострадавших. Согласно решению суда, компенсационная выплата была предусмотрена как приданое девушкам и женщинам; это должно было покрыть неудобства, с которыми жертвам, как не-девственницам, приходи-

62. См.: StAZH. A.27.75. Dorsalnotiz Urteil Susanna Meyer. 12.1.1637.

63. См.: StAZH. A.27.94, undat. Brief, Vater Jacob Ammann.

64. См.: StAZH. A.27.94, Barbara Unziger, 4.6.1656.

65. О сексуализированном насилии над детьми см.: Porret M. *Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève*. Genf, 1995.

лось мириться на брачном рынке. Совет суда мог прямо, как было сделано в 1535 году, распорядиться «о выдаче потерпевшей письма и печати, свидетельствующих о том, что она защищалась, и [что осужденный] не причинил ей вреда»⁶⁶, чтобы подтвердить, что потерпевшая не была обещана, и потому она полностью пригодна для брака. Таким образом суд стремился снизить риск обнищания жертвы и тем самым минимизировать финансовые издержки на государственное обеспечение наиболее бедных слоев населения. В Цюрихе эпохи раннего Нового времени судебные решения были направлены не только на наказание за недопустимые проступки, но и на превентивную социальную политику. Не только потерпевшие должны были добиться справедливости посредством денежной компенсации от обвиняемого, но и общество.

«Разведчики» не проявляют никакого интереса к психологическим аспектам сексуализированного насилия, свидетельства эмоциональных переживаний невероятно редки. Например, в записке судебного пристава фон Эглисау, адресованной Совету в 1651 году, написано, что «изнасилованная» девушка (ее имя неизвестно) «из-за причиненного физического вреда была вынуждена оставаться в постели в течение 17 дней»⁶⁷. Когда во время слушания дела девушке было предъявлено медицинское заключение акушерки, согласно которому следы насилия не были обнаружены, она дала показания, что Гаспар Ритцманн ее изнасиловал:

«Таким образом, в тот момент у нее не было времени, которое можно было бы назвать хорошим, и она не могла ни стоять, ни ходить. [С тех пор, как она упала с вишневого дерева и получила травмы], но это было не так безнадежно, как сейчас, когда ее тошнит ежедневно»⁶⁸.

У современного человека возникает подозрение, что ежедневная рвота — это психосоматическая реакция на травматический опыт насилия, пережитый девушкой. Однако в раннее Новое время закон пытался оценить исключительно физические повреждения, и потому спрашивали у матери, осматривала ли она девочку, и какие травмы она нашла⁶⁹.

66. См.: StAZH. A.27.7. Peter Riedwißer u. Anders Rytze. X.X.1535.

67. См.: StAZH. A.27.90. Schreiben Landvogt von Eglisau. 28.3.1651.

68. См.: StAZH. A.27.90. Namentlich unbekanntes Opfer. 8.4.1651.

69. См.: StAZH. A.27.90. Mutter. 8.4.1651.

Свидетели также — как замечают «разведчики», — не проявляли эмоционального сочувствия жертве. Как свидетельствовал Ганс Хэгелер в 1657 году, он услышал крики Барбары Унцигер и нашел ее плачущей на обочине дороги. Когда он спросил, что произошло, она рассказала, что Якоб Амманн ее «изнасиловал». Затем Хэгелер отправил ее домой, приговаривая, что «она [Унцигер] не должна больше плакать, и что ей стоит идти домой во имя Бога»⁷⁰. В связи с этой реакцией возникает вопрос, действительно ли психологический аспект не был важен для Цюрихского суда и потому не нашел отражения в судебных актах, или в прошлом эмоции выражались и воспринимались отлично от современных ожиданий. Этот вопрос приводит нас к сложной и еще недостаточно изученной истории эмоций⁷¹. В случае суда Цюриха можно лишь констатировать — и это, очевидно, относится и к другим судам того времени⁷², — что психологические травмы не учитывались при назначении наказания, и потому о них никто не спрашивал. Таким образом, физические повреждения и психологические травмы имеют равный вес лишь в современном представлении.

По опросам пострадавших детей заметно, что суд не делал различий между допросами взрослых и детей⁷³. Всегда пытались выяснить, где и как именно все происходило, и настаивали на детализированном рассказе о физических взаимодействиях⁷⁴. Дети знали, как отвечать на эти вопросы. Даже если они не могли подобрать слов (что случалось регулярно) для описания половых органов или по-

70. См.: StAZH. A.27.94. Hans Hägeler. 29.5.1657.

71. О том, как эмоции могут изучаться в методологической и исторической перспективе см.: Schützeichel R. *Emotionen und Sozialtheorie. Disziplinäre Ansätze*. Frankfurt, 2006. S. 29–47; Przyrembel A. *Sehnsucht nach Gefühlen. Zur Konjunktur der Emotionen in der Geschichtswissenschaft // L'Homme*. 2005. № 16. S. 116–124; Kasten I. *Kulturen der Gefühle in Mittelalter und Früher Neuzeit // Querelles. Jahrbuch für Frauenforschung*. 2002. № 7; Reddy W.M. *The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions*. Cambridge, 2001.

72. Суды других регионов также не рассматривают вопрос о психологической мотивации преступников и психологических последствиях для жертв при предъявлении обвинения. См.: Haack J. *Der vergällte Alltag. Zur Streitkultur im 18. Jahrhundert*. Köln, 2008. S. 156. В Голландии наказание преступников основывалось не на психологических или физических травмах изнасилованных женщин, а на их семейном положении. См.: Heijden M. v.d. *Women as Victims of Sexual and Domestic Violence in Seventeenth-Century Holland. Criminal Cases of Rape, Incest, Maltreatment in Rotterdam and Delft // Journal of Social History*. 2000. № 33. S. 624–644.

73. В Лондоне только показания, данные под присягой, считались юридически значимыми. Минимальный возраст для принятия присяги обычно составлял двенадцать лет. Durston G. *Rape in the Eighteenth-Century Metropolis. Part 2. // British Journal for Eighteenth-Century Studies*. 2006. № 29. P. 15–31, здесь P. 17–18.

74. См., например: StAZH. A.27.60. Elsbetha Ferner. 23.11.1615.

ловых актов, они жеста́ми или перефразированными описаниями точно указывали на то, что происходило с их телом. Таким образом, они не теряли способность говорить⁷⁵. Но в этих случаях суд также спрашивал только о физической боли — о внутреннем мире нет никакой информации. Эмоциональные реакции описывались только социальным окружением. В своем письме суду пастор Давид Визендангер описывал, что Маргарет Хотц после «изнасилования» 14 дней «была в глубокой меланхолии, воображая, что дьявол заберет ее»⁷⁶. Свидетели сообщали, что нашли женщин, плачущих и пребывающих в состоянии шока, с растрепанными волосами, на обочине дороги⁷⁷. Однако сравнение приговоров показывает, что информация такого рода не имела никакого веса при принятии решения судьями. Кажется, что редкие указания на эмоциональное состояние жертвы приводятся скорее для того, чтобы подчеркнуть ее невиновность. Тот, кто плачет из-за сексуального нападения и теряет внутреннее равновесие, чист душой, и потому не мог спровоцировать преступника на сексуальные действия и не мог получить никакого удовольствия от полового контакта. Это, видимо, должно было быть аргументом в пользу написания «психологического портрета» жертвы⁷⁸. Из этого эмпирического наблюдения следует гипотеза, что **психологические моменты в дофрейдистские эпохи, безусловно, отмечались и передавались; но это делалось в условиях, отличных от тех, что мы ожидаем сегодня**. И эту разницу нельзя проигнорировать, так как исследование сексуализированного насилия в прошлом вносит вклад в историю эмоций и исторические исследования травмы. Даже если реакции на травму «одинаковые» с точки зрения антропологии — или, что лучше, сопоставимы друг с другом, — методы работы с ними меняются с течением времени, и потому они «неодинаковы».

Какие возможности были у истца и ответчика в суде? Суд всегда старался выяснить, препятствовала ли женщина случившемуся и звала ли на помощь, была ли только порвана одежда и растрепаны волосы и были ли физические повреждения. Таким образом закре-

75. Подробные записи допросов детей по делу Линдингера в 1730 г. см. StAZH. A.27.141. Другая критика психоаналитических интерпретаций заключается в том, что травмированные жертвы не знали, как еще выразиться в суде. Walker G. Rereading Rape and Sexual Violence in Early Modern England // Gender and History. 1998. № 10. P. 1–25.

76. См.: StAZH. A.27.120. Schreiben Wiesendanger. 9.4.1697.

77. См., например: StAZH. A.27.65. Fridli Rhatt. undat. [1623].

78. Внимание на слезы обращали также в судах над ведьмами, однако в этих случаях они интерпретировались как улика, подтверждающая вину. История слез в суде — и, в том числе, слез от смеха, — составила бы значительный вклад в историю эмоций.

плялось неравенство пары «жертва — преступник» перед судом. Согласно правовым концепциям раннего Нового времени, пострадавшая сторона в отчетах разведчиков должна была не только убедить всех в том, что подозреваемый виновен, но и доказать собственную невиновность⁷⁹. Поэтому обращение в суд с делами о сексуализированном насилии было связано с риском быть отвергнутым из-за неубедительности и таким образом пострадать от потери чести. Это также могло быть причиной того, почему в «отчетах разведчиков» зафиксировано так мало подобных случаев.

Реакция некоторых родителей на дело школьного учителя Ридера показывает, насколько тяжелым могло быть судебное разбирательство, особенно для детей. По инициативе помощника судебного пристава Аппенцеллера в 1710 году Ридер был передан в суд из-за «слишком трепетного отношения» к мальчикам-школьникам. Аппенцеллер узнал, что учитель делал нечто непозволительное по отношению к своему племяннику. Аппенцеллер, как следует из его письма в Совет, проследил за этим вопросом и поручил своему слуге расспросить племянника об этом. После того, как мальчик подтвердил свои обвинения, Аппенцеллер попросил судебного рассыльного Грэфа провести дополнительное расследование. От Грэфа он узнал, что отец «избил своего сына год назад, когда он рассказал ему об этом деле». Тем временем, — продолжал Аппенцеллер, — в ходе расследований выяснилось, что еще 14 юношей страдали от «домогательств» учителя, но «боимся, что есть еще те, которым родители запретили рассказывать что-либо»⁸⁰. Что мешало родителям пожаловаться? Риск обвинить учителя, авторитетного человека, или стыд от того, что их сыновья подверглись сексуальному насилию? То, что на этот вопрос невозможно ответить, говорит о том, что жертвам «домогательств» было гораздо труднее обратиться в суд, чем пострадавшим от других преступлений.

В Цюрихе раннего Нового времени потерпевшие необязательно выступали в суде в качестве жертв сексуализированного насилия, чьи показания были заведомо неубедительны. Напротив, как взрослые, так и дети, были достаточно уверены в себе. В ходе очных ставок с насильниками никто не отказывался от своих обвинений. Иногда «разведчики» даже отмечали, что жертвы напрямую обращались к своими мучителям. Так, например, в 1612 году двенадцатилетняя служанка Барбели Саллер во время очной ставки обратилась к сво-

79. Типичный пример: StAZH. A.27.9. Anneli Wipf. X.X.1539; StAZH. A.27.9. Anneli Wipf. X.X.1539. *Altes Hauptarchiv*. 1539.

80. См.: StAZH. A.27.127. *Untervogt Appenzeller*. 7.1.1710.

ему хозяину, который предстал перед судом за ее «изнасилование» и отрицал обвинения, говоря, что это выдумка девушки: «Я всегда называла тебя отцом, а ты все-таки так поступил со мной. <...> Как я могла бы такое придумать, если бы ты действительно не сделал это со мной? Кто мог бы рассказать мне об этом?»⁸¹. Мы не знаем, каким тоном, с использованием какого языка тела и даже в каких конкретно выражениях Барбели обратилась к своему хозяину⁸², но здесь однозначно нет беспомощной жертвы, которая потеряла возможность говорить из-за неравенства иерархических отношений между ней и взрослыми; жертва напрямую обвиняет причинившего ей вред. Неравенство пары «преступник – жертва» в суде не обязательно должно означать бессилие пострадавшей или пострадавшего.

Последние исследования в области уголовного правосудия подчеркивают, что судебная практика основана на переговорах⁸³. Однако в цюрихских «отчетах разведчиков» о сексуализированном насилии почти нет следов таких переговоров в ходе судебного следствия (переговоры за пределами суда не могут быть оценены ввиду того, что они не всегда фиксировались в документах). Ходатайства о «дружбе» в пользу обвиняемых были большой редкостью. В отличие от других правонарушений, лишь в шести случаях наказание было смягчено, большинство решений касалось сокращения срока позорящего наказания и не относилось к денежным штрафам⁸⁴. Также порази-

81. См.: StAZH. A.27.57. *Barbeli Saller. X.X.1612.*

82. К значимости этого элемента с точки зрения лингвистики см.: Krämer S. *Sprache, Stimme, Schrift. Sieben Thesen über Performativität als Medialität // Paragrana. 1998. № 7. S. 33–57.*

83. См. общую дискуссию о прошениях в тематическом выпуске: Nubola C., Würgler A. *Suppliche e “gravamina”. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XV–VXIII) // Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni. 2002. № 59. Также об интерпретации тюрьмы как «арены для переговоров» см.: Bretschneider F. *Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsperrung in Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert. Konstanz, 2008. О специфике суда как месте общественной дискуссии о сексуализированном насилии см.: Töngi C. Um Leib und Leben. Gewalt, Konflikt, Geschlecht im Uri des 19. Jahrhunderts. Zürich, 2004. S. 19. Об общей проблеме переговоров см. статью Иоахима Айбахса в этом сборнике (см. прим. 14 – Прим. редактора.).**

84. В нашей выборке, составленной на основе отчетов разведчиков, лишь один обвиняемый был помилован (см. примечание на обороте StAZH. A.27.56. *Jacob Kun. 17.10.1610. Altes Hauptarchiv. 1610*). Остальные пять случаев помилования, которые были оценены лишь в составе случайной выборки, зафиксированы в книге советов и судей (StAZH. B.VI.258. fol. 230–231r. *Hans Boller. 8.11.1559. Altes Hauptarchiv. 1559; StAZH. B.VI.265. fol. 4v. Heinrich Lee. 31.1.1607. Altes Hauptarchiv. 1607; StAZH. B.VI.266. fol. 109. Uoli Spilmann. 20.8.1607. Altes Hauptarchiv. 1607; StAZH. B.VI.266, fol. 301. Hans Blickenstorffer. 28.4.1611. Altes Hauptarchiv. 1607; StAZH. B.VI.267, fol. 4. Hans Rosenstil. 21.6.1620. Altes Hauptarchiv. 1620*). О мужчинах, которые попали в книгу советов и судей, в отчетах разведчиков нет никаких сведений, хотя некоторые решения из тех, что записали разведчики, занесены в книги советов и судов. Причина этого несоответствия не выяснена.

тельно, что сами обвиняемые — опять же, в отличие от других преступлений — предпринимают лишь слабые попытки апеллировать к смягчающим обстоятельствам. Подсудимые редко приводят стандартный аргумент, согласно которому они в момент преступления были не совсем вменяемы, и оправдывают свои поступки юношеской распушенностью или алкогольным опьянением; игнорируются обычно и другие популярные доводы. Они не ссылаются на свою хорошую репутацию, ответственность за обеспечение семьи или близость важных христианских праздников, чтобы убедить суд проявить снисхождение и милосердие⁸⁵. Ни один из подсудимых также не утверждал, что он был спровоцирован жертвой. Это может быть объяснено тем, что обвиняемые должны были знать, что подобные доводы не убедят суд. Очевидно, о переговорах с представителями суда о наказании в случаях сексуализированного насилия не могло быть и речи.

V. Неравноправные пары в суде, или проблема историзации сексуализированного насилия: цюрихские судебные протоколы 1798–1850 годов

Какую картину рисуют протоколы судебных заседаний XIX века в сравнении с «отчетами разведчиков» Старого режима? Прежде всего в глаза бросается то, что выводы будут сделаны на гораздо более широкой выборке (Табл. 2).

Налицо большая разница в общем количестве случаев, зафиксированном «разведчиками» в своих записях на протяжении примерно 260 лет, и тем, что можно найти в более поздних протоколах судебных заседаний за период около 50 лет. Возникает очевидный вопрос: как мы можем объяснить столь большую разницу? Однако о причинах можно лишь догадываться: изменился ли порог терпимости и стыда по отношению к сексуальным преступлениям, и потому число дел возросло? Привели ли изменения в судебной системе к увеличению обращений по таким делам или прокуроры, которые преимущественно выступали в качестве обвинителя, начали лучше ориентироваться в таких преступлениях и стали более юридически подготовленными? Действительно ли количество сексуальных преступлений возросло пропорционально численности населения? В источниках нельзя найти ответы на эти вопросы.

85. Эти аргументы были широко распространены в делах об оскорблении действием или словом, а также в делах о богохульстве. См.: Loetz F. Mit Gott handeln. Von den Zürcher Gotteslästerern der Frühen Neuzeit zu einer Kulturgeschichte des Religiösen. Göttingen, 2002. S. 96–108.

Общее количество случаев сексуализированного насилия	194		
Общее количество «изнасилований»	83		
Случаи, в которых жертва — женщина		62	
Случаи, в которых жертва — ребенок		21	
В том числе «изнасилования» при инцесте			3
В том числе «изнасилование» двумя и более людьми			4
В том числе «надругательство»			7
Общее количество попыток «изнасилования»	68		
Случаи, в которых жертва — женщина		56	
Случаи, в которых жертва — ребенок		12	
В том числе попытки «изнасилования» при инцесте			2
В том числе попытки «осквернения»			2
Общее количество дел о «домогательствах»	12		
Случаи, в которых жертва — взрослый человек		1	
Случаи, в которых жертва — ребенок		11	
В том числе «домогательства» при инцесте			0
«Сладострастие»	30		
Другое	1		

Табл. 2. Сексуализированное насилие. Протоколы судебных заседаний, 1798–1850 гг.⁸⁶

86. Здесь учтены как первая, так и апелляционная инстанции, которые были ответственны за оценку сексуального насилия под разными названиями в указанный период. См. это в архивных делах с маркировками «У» и «УУ».

Сравнение количественных данных из судебных протоколов с данными, полученными из «отчетов разведчиков», открывает возможность взглянуть на структуру сексуализированного насилия в долгосрочной перспективе. Так, и в период с 1800 по 1850 годы значительную часть жертв сексуализированного насилия составляли «изнасилованные» дети — примерно четверть от общего количества. В основном они становились жертвами сексуальных «домогательств»⁸⁷. Преступники происходили из разных социальных слоев, среди них были и женатые, и одинокие, и молодые, и старые; классифицировать их ни по возрасту, ни по социальному положению не представляется возможным. Суд мало интересовало, были ли знакомы жертва и преступник, поэтому эту информацию можно найти лишь в 38 протоколах. Примерно в трети случаев пострадавший и обвиняемый не знали друг друга; оставшиеся же две трети показывают, что участники случившегося были знакомы, так что в большинстве случаев жертвами сексуального насилия становились дети и женщины из окружения преступника. Здесь имеют место типичные отношения зависимости между хозяином и служанкой, а также между членами семьи. Среди 38 дел о «прелюбодеянии» есть двенадцать случаев инцеста и два случая изнасилования служанок своими хозяевами. Групповые изнасилования остаются единичными случаями. Новым оказывается разграничение понятий «прелюбодеяние» и «надругательство» как нападение на невменяемых, которые признаются особенно уязвимой частью населения. Криминализация гомосексуальных отношений по-прежнему существует в XIX веке, они расцениваются как «сладострастие»; определить, насколько случаи сексуализированного насилия подпадают под эти отношения, также оказывается методологической проблемой⁸⁸. Как показывает сравнение структуры преступлений, совершенных в Цюрихе за пример-

87. Северин Обрэ, изучавшая эту тему на материале Женевы XIX века, столкнулась с сексуализированным насилием над детьми только в двух случаях из 71 случаев насилия над детьми. S. Auray. *Les violences sur enfants. Une contribution à l'histoire de la famille genevoise et de la criminalisation des maltraitances au 19e siècle* // *Kriminalisieren, Entkriminalisieren, Normalisieren — Criminaliser, décriminaliser, normaliser* / Claudia Opitz u.a. (Hg.). Zürich, 2006. P. 147–162. В Невшателе Филипп Генри выявил 12 случаев сексуализированного насилия в течение XVIII века. Henry P. *Crime, Justice et Société dans la Principauté de Neuchâtel. Neuchâtel, 1984. S. 592–594. По сравнению с подобными данными по делам во франкоязычной Швейцарии, в Цюрихе о сексуализированном насилии сообщали и, соответственно, преследовали в судебном порядке чаще.*

88. О гомосексуализме в Цюрихе см.: Lau T. *Sodom an der Limmat. Strafverfolgung und gleichgeschlechtliche Sexualität in Zürich zwischen 1500 und 1900* // *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. 2006. № 56. S. 273–294.*

но 320 лет, существование и фиксирование сексуального насилия остаются неизменными в течение длительного периода времени.

Кроме того, континуальность прослеживается в подходе судей и принимаемых ими решениях. Представители закона крайне редко спрашивали обвиняемых об их мотивах. Единичные ответы подчиняются аргументации, которая следует за образцами раннего Нового времени — подсудимые преимущественно обосновывали совершенное тем, что они хотели наконец узнать, что такое сексуальность⁸⁹. Другие мужчины объясняли свой поступок давней смертью жены или тем, что супруга по разным причинам отказывала им в сексуальном контакте, потому что они получили желаемое с другой женщиной. Так, например, 54-летний Гаспар Гройтер, обвиняемый в инцестуальных отношениях и изнасилованиях своей 29-летней дочери — дело категоризировано как «прелюбодеяние» — в результате которых та дважды была беременна, в 1832 году объяснял содеянное тем, что они с женой не живут вместе, и суд по делам о браке несколько раз отказывал ему в разводе⁹⁰. Видимо, он полагал, что как мужчина, находящийся в трудном положении в браке, он имеет право жить половой жизнью с другой женщиной. Той же логики придерживался защитник 64-летнего Генриха Нуссбоймера, в 1832 году представшего перед судом за то, что на протяжении пятнадцати лет он находился в инцестуальных отношениях со своей 33-летней дочерью. В качестве смягчающего обстоятельства адвокат обращал внимание на то, что «его жена была больна уже много лет, и потому не исполняла «супружеских обязанностей»», а также на то, что «из-за бедности родители и дочь спали в одной комнате»⁹¹. Таким образом, судебные документы свидетельствуют о широко распространенных гендерных представлениях о том, на что имеет право мужчина, однако в них не зафиксировано, с какими эмоциональными переживаниями было связано сексуализированное насилие⁹². Тот факт, что мужчины, по сути, получили право на сексуальность, а психологические травмы женщин и детей, полученные вследствие сексуализированного насилия, ничего не значили для суда, также в переломное

89. См.: StAZH. YY.25.20. Heinrich Leemann. 2.9.1841: 480.

90. См.: StAZH. YY.25.2. Caspar Greuter. 7.7.1832: 943.

91. См.: StAZH. YY.10.25. Heinrich Nussbaumer. 9.2.1832: 152.

92. В Пруссии мужчины также оправдывали инцестуальные отношения тем, что жена была недоступна, поэтому в силу необходимости они прибегали к помощи (приемной) дочери: Jarzebowski C. Eindeutig uneindeutig. Verhandlung über Inzest im 18. Jahrhundert // *Eming, Inzestdiskurse*. S. 161–183, hier S. 176. Те же гендерно-обусловленные идеи проявляются и в тезисе о том, что изнасилование объясняется сексуальной потребностью одиноких мужчин. Shorter E. *On Writing the History of Rape* // *Signs*. 1977. № 3. P. 471–482. Соответствующая библиография: Thornhill R., Palmer C.T. *A Natural History of Rape. Biological Basis of Sexual Coercion*. Cambridge MA, 2000.

время является не несправедливостью, а основой для справедливого судебного приговора.

В единичных случаях суд узнавал об эмоциональных реакциях допрашиваемых. Однако они интерпретировались не как психологические факторы, а как юридически значимые улики признания. Гаспар Херман в протоколе от 11 апреля 1811 года написал о Гаспаре Фере: «После длительного периода упорного отрицания, даже после очной ставки и пыток, подсудимый наконец добровольно признал предъявленные ему обвинения»⁹³. Тюремный надзиратель Саломон Арбенц рассказывал о подсудимом, что он после очной ставки со своей жертвой со слезами говорил о том, что долгое время отрицал содеянное из-за стыда, и поэтому лишь шаг за шагом признавал свое преступление⁹⁴. В качестве доказательства вины расценивались не только слезы обвиняемого, но и отсутствие эмоций. Когда в 1843 году Генриху Босхардту был вынесен приговор, суд утверждал, что против обвиняемого говорит «его совершенно непонятная холодность по отношению к обвинениям [в «изнасиловании» ребенка], которые он, вероятно, не мог принять с чистой совестью»⁹⁵. В основе обвинительных приговоров лежали не только доказанные факты, но и признание вины, которое могло быть прочитано в эмоциях. Эмоции, которые подсудимые проявляли в ходе судебного заседания, очевидно, имели большее значение при вынесении приговора, чем эмоции, которые сексуальное насилие вызвало у жертвы.

Только пятеро подозреваемых предпочли покинуть страну вместо того, чтобы предстать перед судом. Стало быть, побег не был альтернативой судебному разбирательству, так же как не были выходом для обвиняемых и попытки оправдаться тем, что они были пьяны и потому невменяемы. В отличие от других преступлений, например драки, в подобных случаях этот аргумент не принимался судом во внимание. В обвинениях против Генриха Нусбоймера в 1832 году заявлялось, что подозреваемый сам ответственен за состояние алкогольного опьянения, в котором он пребывал и, кроме того, он не был пьян настолько, чтобы потерять рассудок⁹⁶. Таким образом, обвиняемым стало сложнее уклоняться от ответственности, и истцы обращались в суд, когда исход дела был однозначен. Лишь незначительное меньшинство (14) отрицало все обвинения вплоть до конца судебного разбирательства. И лишь один

93. См.: StAZH. YY.106. Caspar Herrmann. 11.4.1811: 131–132.

94. См.: StAZH. Y.52.1. Caspar Fehr. 4.9.1845.

95. См.: StAZH. YY.25.23. 3.6.1843. Heinrich Boßhardt: 1197.

96. См.: StAZH. YY.25.2. Heinrich Nussbaumer. 7.7.1832: 943–944.

подсудимый осмелился выдвинуть ответное обвинение в клевете. Таков случай ямщика Адама Ойхслина, который в 1846 году обвинялся Эстер Сигрист в том, что «делал ей грязные намеки, заставившие ее покраснеть» в то время, когда она в одиночку путешествовала diligencem. В ходе разбирательства по делу о клевете девушка заявила, что Ойхслин «изнасиловал» ее. В итоге суд назначил ему штраф за двусмысленные заигрывания, которыми Ойхслин нарушил свой служебный долг ямщика, но обвинение в «прелюбодеянии» было отклонено⁹⁷. И наоборот, поразительно, что в выборке встречается только одно дело, в котором беременная незамужняя женщина утверждала, что забеременела в результате изнасилования, и суд отклонил это заявление как не заслуживающее доверия⁹⁸. Столь редкие встречные обвинения в клевете говорят о том, что в первой половине XIX века риск утратить доверие в случае проигрыша в суде — как это было в Лондоне⁹⁹, — также все еще был слишком высок, чтобы выдвигать необоснованные обвинения из мести, финансовой выгоды или других мотивов, например, чтобы оправдать внебрачную беременность¹⁰⁰. Неравенство пары «преступник — жертва» перед судом не могло быть использовано ни истцами, ни ответчиками.

В судебных протоколах первой половины XIX века описывается новая форма поведения, которая нигде не фиксировалась «разведчиками». Даже если это всего лишь два исключительных случая, тема открыта для интерпретации: в 1838 году Иоганн Форстер прямо обвинился перед жертвой в суде¹⁰¹, а Рудольф Шварценбах в 1841 году выразил в суде свое раскаяние¹⁰². Если бы такое поведение не было чем-то из ряда вон выходящим, то оно едва ли было бы зафиксировано в протоколах судебных заседаний. Несомненно, судебное разбирательство не ставило своей целью обсуждение преступления или

97. См.: StAZH. YY.25.30. Adam Oechslin. 29.8.1846: 360–367.

98. См.: StAZH. YY.6.1. Rittmeister Steiner. 14.8.1798: 123.

99. См.: Durston G. Rape in the Eighteenth-Century Metropolis, Part 2. // *British Journal for Eighteenth-Century Studies*. 2005. № 29. P. 15–31.

100. О возникновении образа мстительного и жадного до денег истца, необоснованно выдвигающего обвинение в изнасиловании см.: Simpson A.E. The “Blackmail Myth” and the Prosecution of Rape in 1st Attempt in 18th Century London. The Creation of a Legal Tradition // *The Journal of Criminal Law and Criminology*. 1986. № 77. P. 101–150. Для Франции раннего Нового времени, как считает Жан-Луи Фландрин, риск потери чести из-за ложного утверждения, что беременность наступила в результате изнасилования, был слишком высок, чтобы беременные женщины, не состоящие в законном браке, могли использовать это утверждение для себя. Flandrin J.-L. *Les amours paysannes, XVIe–XIXe siècle*. Paris, 1993. P. 287–289.

101. См.: StAZH. YY.25.14. Johannes Forster. 1.9.1838: 1037–1039.

102. См.: StAZH. YY.25.20. Rudolf Schwarzenbach. 20.12.1841: 1515–1524.

даже примирение сторон. Незначительную роль должна была играть ритуальность признания вины и с точки зрения религии. В то время как обвиняемые в «отчетах разведчиков» Старого режима неоднократно просят представителей власти о смягчении наказания, упоывая на милосердие Божье, в судебных протоколах первой половины XIX века фиксируется отказ от подобных религиозных излияний. Это говорит о наличии тесной связи между сексуализированным насилием и грехом для Старого режима, поскольку изнасилование и домогательство были серьезными нарушениями религиозных норм. На протяжении XIX века, напротив, обвинения в «прелюбодеянии» или «блуде» звучат уже не столь часто, но все больше появляется обвинений в нарушении «общественного порядка». В первой половине XIX века проблема общественного спокойствия и порядка, похоже, выходит на первый план по сравнению с религиозными соображениями. Категории преступлений остаются такими же, но их общественный вес меняется.

Спектр уголовных наказаний, известных суду Цюриха в XIX веке, иллюстрирует иную преобладающую по отношению к законам времен Старого режима.

Как и во время Старого режима, суд первой половины XIX века сочетает физические (удары розгами) и позорящие наказания (позорный столб, запрет на «увеселение»¹⁰³, лишение активных гражданских прав), денежные штрафы и высылку за пределы страны, причем применяется тонкая градация по составу и продолжительности наказания. Таким образом, можно говорить о сохранении норм общего права несмотря на то, что они были официально отменены с введением первого уголовного кодекса в 1835 году: «прелюбодеяние» было включено в понятие «блуда». «Тот, кто посягнет на незрелую душу девушки», тот будет виновен еще и в «блуде»¹⁰⁴. В то время, когда сексуализированное насилие над душевнобольными четко классифицируется как «надругательство» и «позор крови», вопрос о нападениях на детей специально не рассматривается. Кроме того, начинают различать разные виды попыток «изнасилования» по степени тяжести. Согласно закону, вынесение приговора основывается на правонарушениях, а не на личности преступника. Новым и типичным для XIX века являются длительные тюремные сроки, которые зависят от степени тяжести преступления¹⁰⁵. Однако сексу-

103. Запрет предусматривал, что осужденным не разрешалось посещать трактиры и принимать участие в празднествах.

104. § 130 *Officielle Sammlung der seit Annahme der Verfassung vom Jahre 1831 erlassenen Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen des Eidgenössischen Standes Zuerich, Bd. 4. Zürich, 1835. S. 91.*

105. § 133, §135. *Bd. 4. Zürich, 1835. P. 92-93.*

Общее количество сексуализированных преступлений (исключая отмеченные как «Сладострастие» и «Другое»)	163	
Общее количество (попыток) «изнасилований»	151	
Общее количество уголовных наказаний за (попытки) «изнасилования»		212
В том числе физические наказания		20
Позорящие наказания		18
Общественные работы «в цепях» (физические и позорящие наказания)		10
Финансовые наказания (штрафы, компенсационные выплаты)		59
Каторжные работы ¹⁰⁶		40
Лишение активных гражданских прав		27
Высылка из страны		19
Смертная казнь		0
Принудительное заключение брака		0
Помилование		0
Оправдательный приговор		19
Были отпущены		46

Табл. 3. Наказания. Протоколы судебных заседаний, 1798–1850 гг.

106. В то время, как в России каторга включала в себя и ссылку, в городе-государстве Цюрих это было необязательно, и каторжные работы (*das Zuchthaus*) могли располагаться в городе, в котором жил заключенный. — Прим. переводчицы.

Общее количество дел о «домогательствах»	12	
Комбинация разных видов наказаний за «домогательства»		16
Физические наказания		2
Позорящие наказания		1
Денежные штрафы		3
Тюремное заключение / Каторжные работы		4
Лишение активных гражданских прав		1
Высылка из страны		2
Помилование		0
Оправдательные приговоры		0
Были отпущены		3

Окончание табл. 3. Наказания. Протоколы судебных заседаний, 1798–1850 гг.

альные нападения по-прежнему считаются посягательством на честь женщины; и как и раньше, после 1835 года закон не признает проблему психологических последствий для жертв. Это иллюстрирует заявление адвоката родителей десятилетней Анны Келлер, которая в 1835 году была изнасилована 52-летним Феликсом Гнемом: «ребенок [пострадал] от вне-физических недостатков, а именно от потери девственности, что могло оказать пагубное влияние в будущем при вступлении в брак»¹⁰⁷. Таким образом, уголовный кодекс способствовал правовым нововведениям, однако он четко придерживался принципов обычного права и продолжал лингвистически смешивать понятия «прелюбодеяние» и «домогательство». С этой стороны (на наш современный взгляд) юридическое неравенство в паре «преступник — жертва» осталось неизменным.

107. См.: StAZH. YY.25.7. Fall Anna Keller. 26.3.1835: 225.

Несмотря на законодательные нововведения, судьи учитывают финансовое положение ответчика при назначении штрафов, и здесь продолжают действовать представления раннего Нового времени о справедливом судопроизводстве. Оно, в свою очередь, включало в себя идею о том, что жертва имеет принципиальное право на компенсацию. Так, например, Иоганн Витзиг должен был выплатить 120 франков, так как суд постановил, что компенсация должна называться «по мере возможностей»¹⁰⁸. В деле же Соломона Ретшманна суд приговорил обвиняемого к выплате компенсации в 40 франков. Однако если Ретшманн окажется неплатежеспособен, то деньги должны быть взысканы не с его престарелой матери, а, по всей видимости, с кого-то другого¹⁰⁹. Также суд следил, чтобы жертва получила установленную выплату. Когда за попытку «изнасилования» был осужден восемнадцатилетний работник фабрики Генрих Шибли, он должен был заплатить 16 франков в качестве компенсации, а также 56 франков за судебные издержки; однако суд (чье именно это было решение — неизвестно) дополнил приговор освобождением Шибли от оплаты затрат на процесс, поскольку у него не было денег на это. Суд оставил приговор в силе и настаивал на возмещении судебных издержек в размере 16 франков¹¹⁰. То есть, он установил сумму, равную компенсации, тем самым не отказавшись от штрафа, но продемонстрировав реалистичность представлений (в этом случае в ущерб жертве) о платежеспособности осужденного. Принцип равенства заключался в том, чтобы наказывать обвиняемого надлежащим образом в зависимости от финансовых обстоятельств, а не устанавливать фиксированное, общеприменимое наказание.

Размер компенсации, устанавливаемый судом, варьировался между крайними значениями в 9 франков 12 раппенов¹¹¹ и 800 франков¹¹². Если не вдаваться в подробности, в качестве общего правила можно вывести, что за «изнасилование» преимущественно выплачивали от 80 до 120 франков, в некоторых случаях сумма могла достигать нескольких сотен франков, но во многих других случаях это могло быть около 40 франков. За «домогательства» судом был установлен гораздо более низкий уровень компенсации, причем

108. См.: StAZH. YY.10.7. Johannes Witzig. 18.3.1812: 99.

109. См.: StAZH. YY.10.5. Salomon Reetschmann. 31.10.1810: 319.

110. См.: StAZH. YY.12.6. Heinrich Scheibli. 13.10.1829: 289–291.

111. См.: StAZH. YY.25.32. Samuel Egli. 12.6.1847. unpag.

112. См.: StAZH. YY.25.7. Felix Gnehm. 16.6.1835: 481–484.

до наших дней дошли лишь два таких приговора¹¹³. Для потерпевших это значило, что они должны смириться с крайне неравноценными компенсациями, поэтому они редко обращались с жалобами, руководствуясь финансовыми соображениями; мотивом скорее было восстановление собственной чести. Это подтверждают те случаи, когда пострадавшие вообще не требовали компенсации или не знали, что им следует ее требовать. И суд часто принимал их сторону. Например, Элизабет Кюнг получила выплату в размере 64 франков в дополнение к компенсации расходов в 16 франков, хотя «изнасилованная» 34-летняя женщина вовсе не требовала компенсации¹¹⁴. В деле Франца Джозефа Сидлера в 1830 году суд вынес приговор за «изнасилование» пятилетней девочки, в котором, помимо прочего, обязал Сидлера выплатить 80 франков компенсации. Однако он мог внести лишь 23 франка. Мать девочки обратилась в суд с заявлением, что ввиду крайней бедности ей нужна вся сумма. Тогда суд обязал казначейство выплатить оставшиеся деньги и продлил срок каторжных работ на три месяца¹¹⁵. В других случаях размер выплаты назначался в зависимости от того, приводило ли преступление к беременности потерпевшей. В деле о двойном «изнасиловании» незамужней двадцатилетней Сюзанн Мюллер суд обязал обвиняемых выплатить каждого по 160 франков, однако, если бы Мюллер забеременела, то сумма бы возросла до 500 франков¹¹⁶. Вопрос же о том, какую сумму алиментов должен выплатить Якоб Кляйн, «изнасиловавший» незамужнюю 26-летнюю служанку, которая забеременела от него, оставили на усмотрение суда по делам о браке¹¹⁷. Принцип равенства также был нацелен на предотвращение ситуаций, в которых жертва сексуализированного насилия стала бы обременять государственную казну. Это может служить объяснением того, почему суд назначал размер денежной компенсации в индивидуальном порядке и только в 7 случаях ограничился исключительно денежными штрафами, которые составили от 8 до 80 франков. **Финансовая поддержка жертв посредством денежных компенсаций и вместе с тем превентивная социальная политика была для суда приоритетом при наказании виновных с помощью штрафов.** Социальная стигматиза-

113. Так, Рудольф Шоненбергер выплатил компенсацию в 6 франков, а Каспар Фер — в 50 франков. См.: StAZH. YY.25.21: 1479. Rudolf Schönenberger, 7.6.1842. Neuere Archive. 1842; StAZH. Y.52.1. Caspar Fehr. 6.10.1845. unpag. Neuere Archive. 1845.

114. См.: StAZH. YY.10.8. Matthias Kolliker. 5.5.1813: 189–191.

115. См.: StAZH. YY.12.6, Geheimprotokoll. Franz Josef Sydler. 8.12.1830: 93.

116. См.: StAZH. YY.10.1. Jakob Breitling und Georg Hirt. 2.7.1806: 156–160.

117. См.: StAZH. YY.10.17. Jacob Kuhn. 6.11.1822: 118–119.

ция часто происходила через долгосрочное или пожизненное полное ограничение в активных гражданских правах и лишение свободы, при этом, в отличие от других преступлений, приговоры ни в одном из случаев, рассмотренных в статье, не были смягчены или даже отменены помилованием.

То, насколько тяжелы были для осужденных судебные издержки и штрафы, иллюстрируется несколькими примерами: в среднем судебные издержки по делам о сексуализированном насилии составляли около 40 франков. Якоб Хаас, который сознательно отдал свою 12-летнюю дочь Сюзанну владельцу публичного дома, чтобы тот заботился о ней, и тем самым привел ее к занятиям проституцией, в 1804 году был приговорен к тому, чтобы в течение трех лет ежемесячно платить два франка в благотворительную кассу для обеспечения своей дочери¹¹⁸, то есть суд предположил, что два франка в месяц покроют расходы по уходу за ребенком. В общей сложности за нарушение своих отцовских обязанностей Хаас был оштрафован на 72 франка. Генрих Босхард, который саблей изувечил руку Генриха Шнайдера, поссорившись с ним из-за трубки, был обязан помимо медицинских и юридических расходов выплатить 80 франков компенсации, а также был приговорен к трем месяцам каторжных работ¹¹⁹. Когда в 1834 году Босхард был осужден во второй инстанции за клевету и оскорбление, штраф составил 40 франков, сумма компенсации — столько же¹²⁰. В сумме штрафы и компенсации, назначавшиеся насильникам, составляли серьезные наказания, которые, впрочем, были сопоставимы с наказаниями за другие правонарушения. Осужденные за «изнасилование», однако, также подвергались многолетней каторге различной степени тяжести, что было сравнимо с наказанием за детоубийство¹²¹. Осужденные за «домогательства» отделялись меньшими штрафами и приговаривались к более легким формам наказания — нескольким месяцам каторжных работ или лишения свободы. Пока у нас нет полноценной истории преступлений в Цюрихе переломного времени, невозможно удовлетворительно оценить, в какой степени судебная система рассматривала сексуализированное насилие как преступление, значительно отличающееся по своей тяжести от других актов насилия.

118. См.: StAZH. YY.7.3. Johannes Bluntschi. 10.10.1804: 1073–1074.

119. См.: StAZH. YY.10.7. 22.4.1812. Heinrich Boßhardt: 136–138.

120. См.: StAZH. YY.10.26. Heinrich Boßhardt. 5.7.1834: 603–607.

121. Например, приговор Элизабет Брайнер к десяти годам каторги: StAZH. YY.107. 18.3.1812. Neuere Archive. 1812.

Когда жертва обращалась в суд, она имела, согласно предварительному результату, реальные шансы на вынесение ответчику обвинительного приговора. Но система правосудия не всегда принимала сторону жертвы. Как показывает случай Луизы Ферр, представление о существовании последовательной судебной политики становится проблематичным. В первую очередь должны быть рассмотрены конфликты внутри правовой системы, которые возникали не в юридических дискурсах, а в судебных инстанциях. Родителям Луизы Ферр, которой было шесть с половиной лет, пришлось столкнуться с этим в 1845 году. Когда однажды их дочь, выполнив поручение, вернулась домой от сапожника Гаспара Ферра, не состоявшего с ними в близком родстве, она рассказала, что он напал на нее. Мать немедленно обратилась к приходскому священнику, но тот пояснил, что не занимается такими вопросами, и направил ее к окружному начальнику. Тот, в свою очередь, попытался уладить этот вопрос, сделав вид, что проблемы не существует. Ферр был арестован только после того, как неместный сельский жандарм Йохан Хардмайер, случайно присутствовавший при возвращении Луизы домой и слышавший ее жалобу, доложил об этом губернатору. Под этим давлением окружной начальник арестовал Ферра и написал очень краткий отчет в цюрихский суд. За это мужчины, проживавшие в той же деревне (об этом Хардмайер рассказал в показаниях), однажды вечером оскорбили его в трактире, а после закидали его окно камнями. Когда Хардмайер попытался также привлечь священника, тот ответил, что не может гарантировать ему безопасность¹²². В ходе судебного разбирательства окружной начальник отозвал свой отчет на том основании, что арест и отчет были «поспешными и, так сказать, были совершены под давлением сельского жандарма». Если бы он «расследовал этот вопрос до ареста так же, как и после, этого скандала [шумихи вокруг ареста Ферра] можно было бы избежать»¹²³. Ввиду этих разногласий суд Цюриха обязал губернатора провести дополнительное расследование. В итоге губернатор пришел к следующему выводу: «Из поведения чиновников и многих граждан <...> ясно, что намерением было замять дело и преследовать сельского жандарма»¹²⁴. По имеющимся источникам нельзя судить, был ли этот случай исключительным или нет. Но можно заметить, что представители судебной власти следовали отнюдь не в одном направлении. В целом можно предположить, что должностные лица в общине стремились ладить

122. См.: StAZH. YY.52.1. Johannes Hardmeyer. 1.9.1845 u. 9.8.1845.

123. См.: StAZH. Y.52.1. Schreiben Gemeindeammann. 8.8.1845.

124. См.: StAZH. Y.52.1. Schreiben Statthalter Schenk. 13.8.1845.

с ее жителями и потому должны были избегать трудностей, которые могут доставить им такие деликатные дела, как сообщения о сексуализированном насилии. С другой стороны, представители судебной власти, которые не проживали в общине, могли свободнее выполнять свои обязанности по надзору. Некоторые инциденты, вероятно, оставались незамеченными, однако тот факт, что для всех местных шансы на открытое расследование не были одинаковы, не следует воспринимать как систематическое сокрытие сексуализированного насилия со стороны властей (или тенденцию к нему).

VI. Эмпирические результаты и теоретические выводы: равное и неравное

До настоящего момента исследование сексуализированного насилия в раннее Новое время и переходную эпоху фокусировалось преимущественно на аспектах, связанных с изнасилованиями и инцестуальными отношениями. Такая проблема, как сексуализированное насилие над мужчинами в основном отошла на задний план. В статье не были рассмотрены отдельно ни случаи инцеста, ни случаи насилия над мужчинами, потому что в цюрихских судебных актах не отмечалось специально, в каких конкретно случаях было совершено насилие. Вместо этого по методологическим причинам в исследование была включена проблема сексуализированного насилия над детьми: это было сделано для того, чтобы иметь возможность выяснить, чем же были изнасилование, инцест или домогательство с юридической точки зрения; для того, чтобы определить предмет исследования, в статье реконструировались нужные юридические понятия, соответствующие рассматриваемому временному периоду. Однако этот прагматически разумный подход проблематичен, поскольку он понимает различие между изнасилованием и домогательством как существенное. Но юристы вплоть до 1830-х годов прямо в зале суда спорили о том, когда именно имело место «прелюбодеяние», и когда — «насилие над человеком для протivoестественного удовлетворения полового инстинкта»¹²⁵. Прокуроры и сами признавали, что «у криминалистов очень разнится понимание термина “попытка домогательства”»¹²⁶. В 1835 году в своде законов

125. См. например: StAZH. YY.10.27. Fall Anna Keller. 12.5.1835. Neuere Archive. 1835. Речь идет о насильственном сексуальном контакте, при котором эякуляция происходила вне влагалища, а значит «неестественно».

126. См.: StAZH. YY.10.26. Fall Heinrich Reymann. 19.7.1834: 665.

впервые было закреплено, что именно понимается под «изнасилованием», но без лингвистического разграничения терминов. Из-за расплывчатости определений следует выбрать другой способ концептуализации сексуализированного насилия. Вместо того, чтобы спрашивать, как изнасилование и домогательства понимались с юридической точки зрения, следует задаться вопросом: что сексуализированное насилие значило для суда? Подобная категоризация на основе судебной практики помогает избежать анахроничного предубеждения в отношении этих преступлений. На примере Цюриха я доказала, что «изнасилования» и «домогательства» необходимо рассматривать вместе, потому что только так можно установить, чем прежние представления о сексуализированном насилии отличаются от современных. Также для судей в Цюрихе раннего Нового времени и переломного времени крайне важное значение имел тот факт, был совершен коитус при акте насилия или нет. Однако для судей не было значимым фактором, кто стал жертвой насилия — ребенок или взрослый. Вплоть до XIX века суды пытались не только оценивать исключительно физические травмы, полученные жертвами, а также ущерб, нанесенный общественному порядку, но и противостоять (хотя со временем и в меньшей степени) греху. Однако любовью, кто обращается только к юридическим кодификациям, игнорирует эти неправовые факторы юридической практики при оценке (не-)равенства в суде.

За период исследования, составляющий примерно 320 лет, протоколы судебных заседаний цюрихского суда подтверждают и дифференцируют эмпирические данные, полученные на других европейских примерах и характерные для отдельных периодов в течение веков, рассмотренных в нашем исследовании. Также в Цюрихе должно было быть большое количество незарегистрированных случаев сексуализированного насилия и многих внесудебных правил. В Цюрихе преступников из «отчетов разведчиков» и судебных материалов нельзя отнести ни к определенной возрастной категории, ни к определенному социальному классу. Из задаваемых судом вопросов также видно, что, как и в других местах, судебный процесс основан на юридическом дискурсе защищающейся и порядочной женщины. Женщина должна была уметь доказывать, что она всеми возможными способами защищала свое целомудрие и женскую честь, а также подтвердить свою хорошую репутацию. Неравенство соотношения сил в паре «преступник — жертва» не подлежит сомнению, даже если мы не можем описать его в деталях.

Некоторые исследования указывают на то, что суды должны были принимать во внимание современную медицинскую концеп-

цию, согласно которой оплодотворение женщины невозможно без ее желания и, следовательно, без ее согласия, и потому беременная женщина не могла считаться изнасилованной. В Цюрихе, однако, не было случаев, когда беременность изнасилованной женщины принималась судом как улика против нее. Несмотря на это, из допроса пострадавших женщин становится ясно, что юридически они имплицитно подозревались в провокации насильника, несмотря на то что ни один подозреваемый не выдвинул такого обвинения. Поэтому обращение в суд по делу о сексуализированном насилии для потерпевшей было связано с риском, что в результате судебного разбирательства ей придется смириться с потерей чести вместо того, чтобы восстановить ее. Эта скрытая асимметрия также, вероятно, была причиной того, почему сами женщины или законные опекуны не предъявляли обвинения в «изнасиловании» или «домогательствах» для извлечения выгоды, например финансовой.

Некоторым группам людей было особенно трудно обратиться в суд. Мужчин, которые жаловались бы на сексуальные преступления, почти не найти в судебных протоколах. Можно предположить, что чувство мужского достоинства не позволяло им сделать этого, а также, что слишком велик был риск быть заподозренным в «сладострастии» или «содомии». Дети, доверившиеся взрослым, сталкивались с тем, что те не хотели признавать случившееся или даже пытались скрыть то, что им пришлось услышать. Была ли причина в том, что они не хотели, чтобы нападения на их детей стали известны и таким образом нанесли бы ущерб их чести? Или они избегали риска связываться с членом деревенской общины или авторитетным человеком? Источники не дают ответов на эти вопросы, но однозначно показывают, что дети очень хорошо могли описать произошедшее, хотя в протоколах судебных заседаний не зафиксировано никаких эмоциональных реакций с их стороны. Дети, чьи дела все же разбирались в суде, допрашивались наравне со взрослыми и не теряли голоса. Протоколы судебных заседаний позволяют нарисовать портрет маленького взрослого, который при допросе не падает без чувств, а с уверенностью смотрит в глаза тому, кто причинил ему вред. Эмпирически удалось выяснить не так много, что, к тому же, вряд ли можно сравнить с другими примерами, учитывая текущее состояние исследований. В теоретическом плане необходимо включить проблему сексуализированного насилия над детьми в историю детства и обсудить вопрос о неравенстве категорий жертв¹²⁷.

127. Хотя Джули Гаммон рассматривает изнасилование девочек младше двенадцати лет в Лондоне XVIII века как типичную черту отношения общества к детству, она не развивает свои эмпирические наблюдения на концептуальном уровне дальше: (Продолжение на след. стр.)

В дополнение к текущему состоянию знаний в этой области, документы из Цюриха показывают очевидную ошибочность представления о том, что связь «насильник — жертва» всегда была основана на насильственных взаимоотношениях между женщиной и женщиной, хозяином и служанкой или отцом (отчимом) / братом / дядей и его дочерью / сыном / сестрой / племянницей. Должны быть приняты во внимание и другие типы взаимоотношений: слуга, который домогался до ребенка своего хозяина, сестры и брата или соседи, которые «одалживали» для «изнасилования» своих сестер или служанок (даже если такие ситуации были исключениями из правил). Подводя итог: к случаям сексуализированного насилия относятся также такие, которые переворачивают отношения социальной власти, а также где третья сторона способствует совершению акта насилия. Это позволяет расширить и дифференцировать категории акторов, при этом не забывая о том, что нельзя сравнивать жертв, дела которых были зарегистрированы с неизвестными, замалчиваемыми жертвами.

Цюрихский суд последовательно принимал меры по полученным жалобам. Изображение патриархальных инструментов власти, нарисованное старой женской историей о досовременных судах, пытавшихся «замять» дела или систематически дискриминировавших жертв, не соответствует действительности. Мы, конечно, должны ожидать конфликтных ситуаций между представителями судебной власти на разных уровнях и, следовательно, предполагать искажения в практике правосудия. Заявителям, вероятно, приходилось преодолевать сопротивление безынициативных приходских священников или местных руководителей, но более высокопоставленные представители судебной власти, такие как суд Цюриха соответствующей инстанции, надприходской орган, обеспечивали минимизацию финансовых и социальных последствий акта сексуализированного насилия для жертв. Суд определял степень порядочности жертв, предоставлял им материальную компенсацию, размер которой зависел от финансового положения виновных, и исключал осужденных из общественной жизни путем тюремного заключения или длительного позорящего наказания так, чтобы ответчики не могли договориться о чем-то с судом. Психологические мотивы преступников или психологические последствия для жертв не принимались во внимание. Если суд все же регистрировал случаи проявления эмоций, то скорее как свидетельства невинности истцов или вины подозре-

Female Juvenile Victims of Rape and the English Legal System in the Eighteenth Century // Childhood in Question. Children, Parents and the State / Anthony Fletcher, Stephen Hussey (Hg.). Manchester, 1999. P. 132–149.

ваемого. Обвиняемые были уверены в своем праве на удовлетворение сексуальных потребностей или могли ссылаться на него, и тем самым раскрывали не эмоционально-исторические, а гендерно-исторические представления о теле.

Правовое судейство не знало фиксированных, равных приговоров. Тем не менее, юстиция не была слепой фигурой, для которой одни и те же преступления были то более, то менее тяжкими. Закон устанавливал «произвольное» правосудие, суть которого заключалась в том, что размер денежной компенсации для жертвы и размер денежного штрафа рассчитывался в зависимости от платежеспособности подсудимого. В противоположность осужденным за другие тяжкие преступления, осужденные за сексуализированное насилие не могли (в отличие от Лондона¹²⁸) рассчитывать на помилование. Таким образом, в эмпирической плоскости юридическая практика в случаях сексуализированного насилия оказывается моральной и превентивной социальной политикой, которая была ориентирована не только на норму обстоятельств¹²⁹, но и на норму личности. Это показывает, что идея переговоров в истории преступности должна более четко разграничивать переговорные процессы в суде и вне суда. Более того, следует изучить, в какой степени эти процессы различаются в зависимости от категорий правонарушений, при этом правовой вердикт должен рассматриваться согласно и своей собственной, и религиозно сформированной логике. Но так или иначе, для Цюриха идея согласования наказания именно с судом в случаях сексуализированного насилия оказывается неубедительной. Религиозную оценку решений суда следует принимать во внимание по меньшей мере до XIX века, когда зал суда начал утрачивать свое значение как место для примирения с Богом.

Другое важное следствие для истории эмоций и пока слабо развитых исторических исследований травмы¹³⁰ заключается в том, что описания эмоций, оцениваемых неодинаково, не могут быть истолкованы как свидетельство антропологических констант. Важно задаться вопросом, какие функции зафиксированным эмоциям приписывают источники. Эмоции не только могут интерпретироваться многозначно — например, слезы как признак радости, боли, грусти и т.д. — но и менять свое зна-

128. См.: Durston G. Rape in the Eighteenth-Century Metropolis, Part 2. // *British Journal for Eighteenth-Century Studies*. 2005. № 29. P. 27.

129. См. примечание 17.

130. Насколько я могу судить, пока не существует ни одного исследования исторической травмы. Тем не менее, есть исследования, касающиеся феномена травмы. Исторический интерес до сих пор сосредоточен на опыте войны и геноцида, особенно в Новое время.

чение с течением времени. Так, например, суд Цюриха в XVI–XIX веках мог расценивать слезы как косвенное доказательство невиновности жертвы или виновности и раскаяния обвиняемого.

На сегодняшний день довольно мало известно о том, в какой степени судебные реформы XIX века повлияли на преследование сексуальных преступников. Обсуждаемый тезис заключается в том, что до XIX века правовые нормы практически не позволяли изнасилованным женщинам добиться судебного осуждения виновных. Кроме того, были распространены историко-правовые и уголовно-исторические идеи, согласно которым судебные реформы XIX века идут рука об руку с модернизацией уголовной практики. В этом контексте под модернизацией понимается отмена пыток, замена письменного судопроизводства устными судебными слушаниями и введение принципа равенства, который подразумевал назначение равных наказаний за равные правонарушения¹³¹. Пример Цюриха ставит это под сомнение. И хотя в Цюрихе во время Гельветической республики были проведены судебные реформы, юридическая практика еще долго оставалась под влиянием привычных правовых норм. Вплоть до 1850 года пользовались не только впервые внедренным в 1835 году уголовным кодексом, но и логикой раннего Нового времени о справедливых приговорах. Эти результаты, полученные эмпирическим путем, подчеркивают то, что взгляд на переломное время, согласно которому именно в этот период социальные структуры раннего Нового времени превратились в современные, должен быть переосмыслен как минимум в случае судебной практики Цюриха. Ввиду многочисленных преемственных связей в области сексуализированного насилия еще предстоит обсудить принципиально важный вопрос о том, пересекаются ли хронологически так называемые «досовременная» и «современная» эпохи и связаны ли эти эпохи теснее, чем это было видно до сих пор. Для того чтобы углубить эту перспективу, необходимы дальнейшие долгосрочные исследования, которые бы способствовали эмпирическому и концептуальному различению того, что является тождественным, и того, что таковым не является.

131. О всестороннем критическом обсуждении таких интерпретаций для Старой империи, Рейнской конфедерации и Германской конфедерации см.: Härter K. *Die Entwicklung des Strafrechts in Mitteleuropa 1770–1848. Defensive Modernisierung, Kontinuitäten und Wandel der Rahmenbedingungen // Verbrechen im Blick. Perspektiven der neuzeitlichen Kriminalitätsgeschichte / Rebecca Habermas, Gerd Schwerhoff (Hg.). Frankfurt, 2009. S. 71–107.*

Проф. Франциска Лоец
Университет Цюриха,
Департамент истории
f.loetz@hist.uzh.ch

Prof. Dr. Francisca Loetz
University of Zurich,
Department of History
f.loetz@hist.uzh.ch

Елизавета Вячеславовна Гайдукова
Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа
экономики» — Санкт-Петербург,
Департамент филологии,
магистерская программа
«Русская литература
в кросс-культурной и
интермедиальной перспективах»
lzbth.gdkv@gmail.com

Elizaveta Gaydukova
National Research University
Higher School of Economics
(Saint-Petersburg),
Department of Philology,
MA programme “Russian Literature
in Cross-cultural
and Intermedial Perspective”
lzbth.gdkv@gmail.com

ПОЗИЦИОНИРУЯ АСЕКСУАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ: КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Илья Малафей

УДК: 316.022.4.

Ключевые слова:
асексуальность, *sexusociety*, Фуко,
качественное интервьюирование.

Аннотация

Эта работа исследует повседневный опыт тех, кто идентифицирует себя как асексуальные и цисгендерные женщины, проживая при этом в странах Центральной и Восточной Европы (Беларусь, Россия и Польша). Я использую понятие *sexusociety*, обозначающее широко распространенные в обществе представления о том, что такое секс и как им нужно заниматься, для того чтобы контекстуализировать и объяснить опыт участников. Я провел шесть нарративных полуструктурированных интервью, чтобы выяснить, как участники понимают свою идентичность, а также как они позиционируют ее в обществе и какое значение она имеет в их повседневной жизни.

Negotiating an Asexual Identity in Central and Eastern Europe: A Qualitative Study

Ilya Malafei

Keywords:
asexuality, sexusociety, Foucault,
qualitative interviewing.

Abstract

This study inquires into the everyday experiences of individuals self-identifying as asexual and cisgender women and residing in Central and Eastern European states (Belarus, Russia, and Poland). I use the concept of *sexusociety* denoting the ideas widespread in society about what sex is and how it should be done to contextualise and explicate the participants' experiences. I conducted six narrative and semi-structured interviews to investigate how the participants make meaning of their identity, as well as how they negotiate their identity and navigate their everyday lives as asexuals.

Introduction

Only a few years ago, I was not aware of the existence of people who identify as asexual, yet since then some of my closest friends have come to an asexual identification. The more I discussed asexuality with these friends, the more acutely I realised that sex was widely taken for granted. **I started being aware of how much time and space in the lives of the people around me and in the media is devoted to sex, and more importantly, how its constant presence goes unnoticed.** It is not surprising then that one of the most popular questions that followed me introducing the topic of my research to other people was, “How did you come up with it?” The most striking fact was not that people did not know what asexuality was (even if they did not, it was fairly easy to infer at least *something* from the word) but the fact that my interlocutors could not comprehend why this was an issue worthy of inquiry. “But what is the problem?” they asked, “They just don’t have sex, so what, who cares?”

Ladelle McWhorter writes about how heterosexual people are not aware of the extent to which the question of sexuality is prominent in everyday life since there are (relatively) no consequences in disclosing heterosexuality: it is “seamlessly received” (as cited in Taylor [2017, 190](#)). Notably, people who identify as homosexual were also surprised by my choice of the topic because while they can see how a homosexual person may be constantly aware of their sexuality, they are unclear on why an asexual person would be. In a way, sexuality is like the Heideggerian hammer: when it works “in the right way” (like for heterosexuals in a heterosexist society) – it is not noticed, when it “breaks” (like for homosexuals in a heterosexist society) – you become aware of it. But what if you do not have a hammer? Yes, in a society where everyone has different occupations, the lack of a hammer is unproblematic. However, what if seemingly *everyone* has a hammer, and you do not? How does one negotiate an *asexual* identity in *sexusociety*? Academic literature and online articles gave me *some* answers, but all these answers came from North American and other Western contexts. “But life in North America is very different from life in Belarus, Russia, and Poland, where my friends live. What is it like to identify as asexual in Central and Eastern Europe?” I thought.

In large part, this research is an attempt to answer this question in order to better understand my friends. I believe that the best in-depth exploratory research is done from a position of genuine personal interest; it is then that you as a researcher do not settle for superficial answers. Apart from playing an important role for me personally, an in-depth exploratory study into the experiences of asexual people in Central and Eastern Europe has societal and academic relevance: it not only addresses

a largely unexamined area in academic research but also challenges some assumptions of sexuality studies and can help us better accommodate asexual people to live fruitful lives in our sexual societies.

Asexuality: an (a)sexual orientation?

The starting point of this research for me was to conceptualise a society “where everyone has a hammer”. Here the concept of *sexusociety* developed by Ela Przybylo (2011b) is useful. In her explanation, she departs from the notion of *sexual culture* (or, as it is also called, *sexual world*). Przybylo states that *sexusociety* is conceptually close to sexual culture and indeed shares its characteristics, yet she motivates the departure from it by emphasising *sexusociety*’s dispersed character and its manifestation through the individual. Sexual culture refers to a complex of ideas held in a society about what sex is and how it should be done. Przybylo (2011a) claims that Western sexual culture is characterised by the sexual imperative which denotes the following: it privileges sex over other activities, fuses sex, sexuality, and the self, and it poses sex as unambiguously good, healthy, and necessary to keep a romantic relationship together. One of the main aspects of sexual culture is that it is hegemonic and all-encompassing. It transmits the “sexuality assumption” meaning that any person is by default perceived as having sexual desire and practising sex (Carrigan 2012, 17). Precisely this assumption is part of what fuels stigmatisation and discrimination of asexuals. The term “*sexusociety*” is more productive than the term ‘sexual culture’, Przybylo (2011b) argues, since just like sexual culture it allows us to talk about the omnipresence of sex and sexuality and their centrality, but *sexusociety* does not locate sex somewhere *there*, outside; instead, it emphasises its distributed character within society. As Przybylo puts it, “*Sexusociety* is everywhere, it is within us, it is us” (446). *Sexusociety* is dispersed and incoherent. Thus, *sexusociety* is a structure but one that manifests itself through individual actions and interactions, making the term suitable for my discussion.

The manifestation of *sexusociety* on the individual level is explained by Przybylo (2011b) with the help of Michel Foucault’s genealogy of sexuality and Judith Butler’s theory of gender performativity. To convey the specificity of *sexusociety* I explicate a Foucauldian understanding of power. For Foucault, the times of sovereign, coercive power are in the past, and he sees power as disciplinary in character. It implies that power is not explicitly exerted but penetrates through all societal realms. It is not the king who possesses the power *over* his subjects; power is distributed among people and institutions. Power for Foucault is also productive:

it produces individuals as subjects. Such an understanding of power manifests in Foucault's discussion of the history of sexuality. In his analysis, Foucault introduces the "*repressive hypothesis*", which is an image of sex that people widely hold. The repressive hypothesis assumes that sexual drive is inherent in human beings, and therefore universal, while power silences sex. It puts forward the idea that a free society is a sexually liberated society in which love is free and everyone has the space to express their sexuality. However, as Foucault demonstrates, sex is not repressed, but it is rather an expression of *productive* power. Foucault argues that sexuality is not an instinct that society tries to repress; for him, sexuality is what is produced by power. He demonstrates that sexuality is a historical construct. Heterosexuality is produced as a norm through the construction of homosexuality as its aberrant opposite. Understandings of sexualities, in turn, construct what it means to be a man or a woman. Males are supposed to desire females who are feminine, and females are supposed to desire males who are masculine. Thus, a gendered subject is produced. As Butler argues in relation to the production of a gendered subject, subjectivity is produced through repeated *performances* of gender, and it entails certain modes of interaction (*social scripts*) with people of "the opposite sex" (heterosex, marriage). These modes of interaction are repeated, which normalises them and creates the perception of them as given, while in fact, people's actual practices vary dramatically. The absence of romantic and/or sexual involvement offers alternative, non-normative performances. The "doers" of these alternative performances can be seen as undermining the regulatory heterosexist frame, which evokes a negative response from society, and that leads to real, material consequences.

Now that I have set the context for the discussion of asexuality, I turn to the literature in the field to introduce a tentative general definition of asexuality, explain the nuances of asexual identification, and explicate some of the issues that asexuals have been reported to face. To explain and define asexuality, I use the definition of sexual orientation provided by Stephanie Gazzola and Melanie Morrison (2012) since they articulate asexuality as an (a)sexual orientation. For them, sexual orientation is an aspect of one's personal and social identities, indicating either the presence or the absence of people who constitute targets of sexual attraction and behaviour. The Asexuality Visibility and Education Network (AVEN), which was created in 2001 to raise awareness about asexuality and became a catalyst for the development of self-consciousness of the asexual community worldwide (Carrigan 2011), defines asexuality as a lack of sexual attraction and/or desire (Gazzola and Morrison 2012). While seemingly straightforward, the term includes a variety

of configurations of self-identification (Carrigan, Gupta, & Morrison 2013). Asexual people can feel little sexual desire to none; they can only feel sexual desire in particular circumstances (e.g., after establishing a high level of intimacy); they can have a neutral attitude to sex, or they can be sex-averse; they also differ in their approach to romance (Kurowicka 2013). In this paper, I rely on self-identifying asexuals as opposed to people whose behaviour fulfils predetermined criteria of asexuality. Mark Carrigan (2012) offers support for such a position, identifying it as the most suitable route for asexuality research; he claims that it is hardly possible to draw a distinction between physiologically grounded asexuality (if such is to be found at all) and its subjective affirmation epistemically.

Discussing how asexually identifying individuals speak about their identification helps us to understand how they position themselves in sexusociety. Anna Kurowicka (2013) reports that many asexuals use essentialist language when speaking about their identification. They describe themselves as ‘naturally so’ and as having always been like this, while the community (or the mere awareness of its existence) has given them the language to talk about their identification. This can be seen, in her opinion, as a strategy to legitimise asexuality as another non-normative sexuality. What is more, she gives evidence that the road to identifying as asexual is similar to that of homosexuals (Kurowicka 2013). At the same time, within the asexual community, as represented by AVEN, there is an emphasis on self-identification and freedom of choice (Kurowicka 2013). This can imply the potential fluidity of asexual identification. Thus, the community manages to combine a commitment to the expression of individual difference with the strengthening of a group identity, which resonates with the ways in which both queer theory and identity politics articulate politically productive identity formation (Carrigan 2011). Asexuality, then, can be seen as a sexual orientation that draws both on the essentialist rhetoric of identity politics and the constructivist rhetoric of queer movements. It implies that asexually-identifying individuals have to play by the rules of sexusociety to seek legitimation by producing an asexual identity, yet at the same time the community as a whole attempts to create a safe and welcoming space through its emphasis on queer rhetoric.

I have found evidence that asexually-identifying individuals encounter negative experiences linked to their identification. Sexusociety exploits the idea of an asexual essence and pathologises asexuals by creating a link between being sexual and normalcy: having a “normal” body *implies* being sexual (Kim 2010). In turn, being normal means being healthy. Given the high level of concern for health in the contemporary West, it is not surprising that asexuality is negatively perceived (Carrigan 2012). In

such context, Gazzola and Morrison (2012) highlight that a non-offensive language and norms of behaviour are yet to be developed. They conclude that asexuals are likely to be discriminated against, analogous to other people with non-normative sexualities. Carrigan (2012) notes the prejudicial and damaging lack of understanding from family, friends, and peers of asexuals as one of the sources of emotional distress. He has discovered that in the case of family, prejudice is particularly emotionally destabilising for asexually-identifying persons. Przybylo (2011a) argues that for women, asexuality can have a specific meaning due to the social and cultural policing of the female body and state claims for female reproduction.

Research design

Given the pervasiveness of sexism as well as the stigma and discrimination of asexuals in the Western context, I focus on the experiences of people identifying as asexual and female in the highly explicitly and implicitly regulated and coercive environments of Central and Eastern Europe (particularly Belarusians and Russians living in Belarus, Russia, and Poland) where any deviations in the realm of sexuality are met with suspicion at best and hostility and aggression at worst (ILGA Europe 2021, 30). I inquire into how they perceive themselves, as well as the strategies that they utilise to negotiate their identity. Therefore, the research question I pose is: *How do individuals who self-identify as asexual and cisgender women and reside in Central and Eastern Europe negotiate their asexual identity?*

I argue that such an inquiry is both academically and societally relevant. First, Przybylo (2013) asserts that writing and researching from an asexual perspective is a significant and unique contribution to the study of sex and sexuality thanks to its questioning of dominant norms of relating between people. Second, the focus on Central and Eastern Europe offers a non-Western-centric perspective and contributes to the study of asexuality by providing an insight into the lives of asexuals in a different sexual paradigm (as explained in the following section). Third, the findings will be of interest to specialists working with asexual people because they will allow developing a deeper understanding of barriers and discrimination asexually-identifying individuals face and of the kinds of support they might need, if any at all.

The study is inductive, exploratory, and uses qualitative methods (grounded theory). A relatively small sample of six people who identify as asexual was recruited through convenience sampling (Table 1). The primary method for data collection was in-depth qualitative interviews, which were conducted via Skype. This methodology is considered suitable

for an inquiry into subjugated subjectivities such as asexual people in environments that are hostile to alternative sexualities (Hesse-Biber & Leavy 2007). It is important to note that the interview with Yulij, in contrast to the others, was conducted in real time via text messages on VK social networking site, since they preferred such means of communication, notwithstanding my concern that it was less productive. The structure of the interview (narrative combined with semi-structured) was preserved. The interview still managed to provide rich data.

I conducted the interview in the language that each interviewee preferred (all of them preferred Russian). This was done so that they were able to communicate freely without a language barrier. The interviews lasted from 45 to 140 minutes, with the average length of 80 minutes, and were audio recorded. I made brief reflexive notes during the interviews that were later used to navigate and interpret the data. I then transcribed recordings of the interviews verbatim.

My personal position should be illuminated in relation to the topic. First, I do not identify as asexual. At the same time, my sexuality does not lie in the realm of the normative, though I do not identify with any label particularly. My motivation for such an inquiry is based on the interest in all non-normative sexualities, and asexuality is particularly interesting due to its symbolic resistance to the omnipresent sexuality. Importantly, I am allosexual¹, therefore I risk overlooking some aspects of the perspectives of the interviewees. To address this issue, I made an effort to stay as open as possible to the accounts of the participants and to be critical about my ideas on sexuality. Nonetheless, there is a possibility that I have missed issues that the interviewees do not explicitly emphasise. Second, I was born and spent most of my life in Belarus. On the one hand, this allowed me to build rapport with the interviewees more easily, as well as better understand their cultural context. On the other hand, the entangled assumptions that are taken for granted by me and the interviewees may pose a problem of me misinterpreting the interviewees' words. To address this, I am committed to the practice of reflexivity (Hesse-Biber & Leavy 2007), which means that I questioned my position continually throughout the research process and marked it in my reflexive notes. Lastly, I have been educated mostly within the Western intellectual tradition. Given the unequal power relations between Central and Eastern Europe and Western Europe, the application of theories that originate in the West in my inquiry can be seen as a drawback that inhibits a better understanding of the participants' accounts. However, I argue that the primary reliance on the interview transcripts and grounded theory approach facilitate productive interaction between the data and theory.

1. *If one is allosexual, it means they feel sexually attracted to other people*

Preferred pseudonym	Age	Gender identification	Place of residence
Katya	21	Female	Warsaw, Poland
Yu	21	Non-conforming female	Saint Petersburg, Russia
Maria	30	Female	Vitiebsk, Belarus
Olga	19	Female	Minsk, Belarus
Yulij	20	Non-conforming female	Minsk, Belarus
Helena	18	Female	Moscow, Russia

Table 1. Participant profiles

One's (a)sexuality is an intimate topic, and the findings of this study are sensitive. Therefore, I took the following measures to ensure adherence to high ethical standards. I thoroughly informed the interviewees about the study, including its aims, the process of data handling, as well as its use, to then ask them to give informed consent by signing a form. The participants then were encouraged to ask any remaining questions. To exclude the possibility of revealing the participants' identities, their names were changed in this report and the data that allows identification was eliminated.

Findings: Negotiating an asexual identity

Many participants underscore that the interview is important for them since it gives them space to try and comprehensively articulate their identification. Two participants jokingly mention that they expected the interview to be a sort of psychotherapy session. This implies that it is a highly personal and complex issue that needs working through, potentially even with a specialist. It also means that it is not something that can be easily discussed with friends in depth.

Some participants claim that while they see asexuality as a term that is applicable to them by virtue of them not experiencing sexual attraction and/or desire or experiencing it to a small extent, it is an umbrella term that encompasses a wide range of identifications as discussed above. I have

identified six main dimensions that can help explicate the participants' understanding of their asexual identities as well as the related experiences: romantic attraction, sexual attraction, sexual desire/arousal, sexual acts, and attitudes to sexusociety.

It is notable that some participants do not use the word "asexual" to talk about themselves if the topic comes up in a conversation. Instead, they resort to a descriptive explanation. However, if they are to put on a label, asexuality resonates with them. Katya explains:

Why I have issues with these labels... I find it difficult to talk, I don't use "I am something." I can't, I don't want to say it, because I understand how people's... mental, linguistic operations work, and when people hear something like [asexuality], notwithstanding what you are, they use their background knowledge that can be non-existent, and that is why what they hear is an unknown word. They hear something-sexual, and they... They have no information, that is why they imagine some wild things that do not have any connection with reality. The funniest thing is that they will just freak out, well, if they are not aware.

She states that once one uses a label, a reference to a "dictionary entry is created". What I infer from this is that there appear a number of characteristics that should be adhered to, and she does not want to be automatically associated with whatever ideas people have about asexuality, especially in a context, as she perceives, where people are under-informed about alternative sexualities. In other words, she is aware of the *stigma* associated with alternative sexualities and of the fact that it can manifest itself in the case of asexuality by transference.

Goffman (1963) defines stigma as a particular relationship between one's discrediting attribute and stereotype. If his terminology is further applied, asexuals are *discreditable* as opposed to *discredited*, which implies that their asexuality is not immediately perceivable by others. It is being different from others in a way that is not desirable in society that stigmatises asexuals. The perceived stigma can explain the participants' hesitation to disclose their asexuality: they do not want to shift from being discreditable to being discredited. Additionally, Goffman argues, in the case of stigmatised individuals, people have a tendency to reduce their personality to this one stigmatised attribute, which the interviewees would like to avoid. However, as I will demonstrate later, even without mentioning asexuality directly, the interviewees are still stigmatised.

Many interviewees also find important the fluidity of their identities and the presence of space for transformation. Yu explains:

I think there are people who have no sexual desires and impulses at all, and the physical part is just off. I don't think that it's my case and that I never feel any desire or something [...]. I don't swear that I will never have sex, it is not celibacy, [it doesn't mean] I will never get pleasure from it, but for me particularly now my beliefs are rather in some culturally-philosophically-theoretical paradigm.

She contrasts her identification with celibacy. For her, celibacy means commitment, and she does not want to commit to asexual identification. She emphasises its rootedness in the present moment and in the feelings that she has now. The interviewees do not close themselves to new experiences, they are just not interested in sexual experiences at the moment. Helena shares this attitude, but in her comment, she stresses the social dimension of identification and her unwillingness to declare her identification to others:

I thought about it, and I think it could cement the label on me. It would be a barrier to me being open to new experiences, in case it reveals itself. It is the same thing as telling everyone that... I don't know, that I am moving to Berlin, and then something will go wrong, and everyone will point it out to me. I do not wish for any changes [that would lead me away] from asexuality. However, in case something comes up, I don't want to have some... Hey guys, I am rewinding everything, nothing happened.

By comparing informing others about identifying as asexual to informing others about one's intention to move, she also invokes the idea that in people's minds identification necessarily entails a fixed set of behaviours, which can be problematic if the identification is reconsidered. The concept of a *social script* is helpful to explicate this account (Przybylo 2011b). While there are dominant social scripts regarding sexuality with which asexual people do not comply by default, sexusociety, by making people with alternative sexualities define themselves against the norm to gain recognition, prompts the creation of asexual social scripts to make asexual people intelligible and comprehensible. What the interviewees are cautious of is the accountability for not complying with the asexual script that identification entails.

Fragmented identification

Even though fluidity plays a big, and positive, role for the participants, it creates space for distress and self-doubt. Katya shares:

I have thought that it is impostor syndrome. As in, if something changes, what will it be for me? As in, again, it is some collapse of identity. What was it? Have I been lying to myself? How can I even live if I know that I might be lying to myself and to others now?

What she calls the “impostor syndrome” is her fear that she *is not* asexual. She believes that, though she does not want it now, she might become willing to engage in sexual/romantic interactions in the future, and if that happens, she will think of her asexual identification as a lie to herself as well as to others. What this brings with it is the doubts about whether any identification in a particular moment is representative of her personality. This, in its turn, makes navigation through life and communication with other people difficult. The origin of this fear is also in her surroundings because she perceives that she might be held accountable for not conforming to the ideas that people have about asexuality. Particularly pressing this issue is with people who exhibit romantic or sexual interest in her. Katya states that she will feel guilty if she enters a sexual or romantic relationship after rejecting other people.

Przybylo develops a related concept “asexual impostor” (2011b, 450). It emphasises sexual people’s disbelief in and refusal to acknowledge the experience of asexually identifying individuals. Przybylo (2011b) claims that sexual people tend to expose asexuals “as a fraud” and to actively and vocally express doubts about the truthfulness of their identification (450). This prompts sexual subjects to remedy the enactments of sexuality that they view as improper; to *discipline* their *performances* (to use Foucault’s and Butler’s terminology). From this stems their insistence that the interviewees need to “find” their sexuality and the attempts to help them do that by insisting on having a sexual encounter (a situation that comes up in multiple accounts).

A peculiar manifestation of the pervasiveness of sexusociety is Yu’s account of her doubts:

For me, internalised homophobia is tightly linked to asexual discourse, because I can never be sure that I am asexual by nature. Or for instance, if I think that the male body is repulsive, maybe I should think about female bodies. But I cannot think about them in a sexual context. Maybe this is because I am internally homophobic, and I need to work on opening up and liberating myself.

Her unwillingness to engage in sexual interactions with men also evokes thoughts that she might be lesbian. However, it does not seem that she exhibits sexual desire towards women. This leads her to the idea that she might be repressing her homosexuality, and it, in turn, feeds her doubts about her identification and causes discomfort. It is the context of a pervasive sexusociety that constructs sexual desire as necessarily present and that makes her feel this way. However, while thinking about the potential need to “discover” her sexuality and experiment in order to do so, she says:

I don't know, for instance, you eat brussels sprouts and you don't like it at all. The whole society tells you “eat more” and it's unclear: maybe you'll try another one and you'll like it, but you'll have to try ten types of brussels sprouts that you dislike, and it's not like you want any brussels sprouts in the first place. So, like, what for?

Through the metaphor of brussels sprouts, she invokes the idea of sex as an *option*, not a necessity, and underscores her lack of motivation to have it. While such a claim constructs sex as a choice, it is clear that she is not suppressing any sexual desire. Cacchioni (2007) explains that for those women who do not enjoy sex, prioritisation of relationships and activities that do not involve sex is a meaningful choice of a lifestyle.

The interviewees underline the lack of language resources to help them articulate the nuances of their identities. The label “asexuality” proves to be significant in the majority of cases. The interviewees state that before they came across the term, they had been experiencing distress concerning their lack of conventional sexual life. Katya claims:

I was very happy when I found [information about asexuality]. I was thinking, “damn!” I found a verbal explanation for some of my frustrations caused by what was happening in my head, emotionally and mentally. I couldn't explain what was happening, and when I understood... Damn, it is great.

Helena describes her feelings when she discovered the notion of asexuality as “as if someone hacked her brain.” The label becomes a referent to the experiences of others: since there is a word that describes my experience, I am not the only one, and knowing that brings relief. It helps to transform thinking about asexuality from “it is a deviation” to “it is as normal as being sexual”. Przybylo (2011b) calls this process *recentering*. The label creates a symbolic safe space “outside other people's matrices”, as Yu puts it, that is, outside the dominant ideas of sexusociety where an asexual person is exposed and devalued.

In the accounts of the interviewees, asexuality appears to be a fragmented rather than monolithic identity. Tension can be observed, and this tension, in Yu's words, makes the negotiation of asexuality the most complex part of her identity. The participants seek an explanation for the fact that, in contrast to others, they do not find the presence of the sexual realm necessary, which stems from them not wanting sex. Here the label of asexuality is helpful and allows the interviewees to feel that their experience is validated and to feel relieved. To an extent, it involves stating that "this is how things are", that there is something about them that makes them not want sex, that they do not arbitrarily *choose* not to have sex, that is, they are not celibate. Thus, there is a mild reference to an asexual essence. At the same time, like a box, an essence-based identification limits the range of behaviours that they can practise without being made to feel bad and guilty. The interviewees lament this and emphasise the instability of their identities. This unwillingness to construct a stable identity around sexuality can be seen as linked to the queer approach to sexuality that emphasises contingency and individual agency in the construction of one's identity. These approaches echo the claims by Kurowicka (2013) about the construction of the asexual identity as the middle way between essentialism and social constructivism.

Such a path to identity construction runs counter to both the liberationist rhetoric of LGBT discourse and the compulsory sexuality of the heterosexist system (Taylor 2017) with the former emphasising the role of practising sex to achieve liberation and the latter utilising sex for population control. Foucault (1978) argues that sciences dealing with sexualities produce the subjects that they claim to merely categorise and describe. I emphasise the multidimensionality of the concept and the fact that the word asexual is and should be used with reservations: as an umbrella term with a multiplicity of configurations and not as a monolithic identity category. This approach allows one to avoid "sexual colonisation" that involves "discovering, delineating, organising, boundary-drawing, and setting rules for normative sex and sexuality" (Przybylo 2011a, 6).

Conclusion

The focus of this research is on the lived experiences of asexually- and cisgender-identifying women in Central and Eastern Europe. My findings are based on six in-depth narrative and semi-structured interviews. Asexual identification is in no way monolithic for the interviewees, and there are various dimensions to it. What unites them is the general scepticism towards sexual desire and sexual practices. The identification of the interviewees

contains traces of both identity-based and queer rhetoric, which echoes the findings of the previous studies done in Western contexts.

The chosen approach has provided in-depth insights into the lived experiences of self-identifying female asexuals in the Central and Eastern European space. It fills an academic gap: the lack of non-Western (non-American) accounts of lived experiences of asexuality. This study provides an account of *some* experiences of self-identifying asexual cisgender women in Central and Eastern Europe and serves as an entry point into the understanding of the functioning of sexusociety through these experiences. For further research, I suggest an in-depth study of the lived experiences of older people in Central and Eastern European contexts. My paper covers only relatively young people who were born after the dissolution of the Soviet Union and who are currently in an active process of negotiating their (a)sexual identity. Since different places are attributed to younger and older people in sexusociety, particularly in terms of power relations (Taylor 2017), there is a potential for such an inquiry to be fruitful. Additionally, the experiences of male-identifying asexual subjects who have had male socialisation are worth researching. In the context of persisting patriarchy, males are perceived as necessarily sexually active (Taylor 2017), and there can be specific configurations of pressure that asexually identifying males experience.

References

1. Cacchioni, Thea. 2007. "Heterosexuality and 'the Labour of Love': A Contribution to Recent Debates on Female Sexual Dysfunction." *Sexualities* 10, no. 3: 299–320, doi: 10.1177/1363460707078320.
2. Carrigan, Mark. 2011. "There's More to Life than Sex? Difference and Commonality within the Asexual Community." *Sexualities* 14, no. 4: 462–78, doi: 10.1177/1363460711406462.
3. Carrigan, Mark. 2012. "'How Do You Know You Don't Like It If You Haven't Tried It?' Asexual Agency and the Sexual Assumption." In *Sexual Minority Research in the New Millennium*, edited by Todd G. Morrison, Melanie Morrison, Mark Carrigan & Daragh McDermott, 3–20. New York: Nova Science Publishers.
4. Carrigan, Mark, Kristina Gupta, and Todd G. Morrison. 2013. "Asexuality Special Theme Issue Editorial." *Psychology and Sexuality* 4, no. 2: 111–20, doi: 10.1080/19419899.2013.774160.
5. Foucault, Michael. 1978. *The History of Sexuality*. New York: Pantheon Books.
6. Gazzola, Stephanie Beryl and Melanie Ann Morrison. 2012. "Asexuality: An Emergent Sexual Orientation." In *Sexual Minority Research in the New Millennium*, edited by Todd G. Morrison, Melanie Morrison, Mark Carrigan & Daragh McDermott, 21–44. New York: Nova Science Publishers.
7. Goffman, Erving. 1963. *Stigma: Notes on Management of Spoiled Identity*. New York: Simon and Schuster.
8. Hesse-Biber, Sharlene and Patricia Leavy. 2007. *The Practice of Qualitative Research*. London: SAGE.
9. ILGA Europe. 2021. *Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex People in Europe and Central Asia 2021*. Brussels: ILGA Europe.
10. Kim, Eunjung. 2010. "How Much Sex Is Healthy? The Pleasures of Asexuality." In *Against Health: How Health Became the New Morality*, edited by Jonathan M. Metzler and Anna Kirkland, 157–69. New York: NYU Press.
11. Kurowicka, Anna. 2013. "Constructing a Stable Identity in a Queer World: The Case of Asexuality." In *On the Crossroads: Methodology, Theory and Practice of LGBTQ and Queer Research*, edited by Alexander Kondakov, 155–66. Saint-Petersburg: Centre for Independent Sociological Research.
12. Przybylo, Ela. 2011a. "Asexuality and the Feminist Politics of 'Not Doing It'." Master's thesis, University of Alberta.

13. Przybylo, Ela. 2011b. "Crisis and Safety: The Asexual in Sexusociety." *Sexualities* 14, no. 4: 444–61, doi: 10.1177/1363460711406461.
14. Przybylo, Ela. 2013. "Afterword: Some Thoughts on Asexuality as an Interdisciplinary Method." *Psychology and Sexuality* 4, no. 2: 193–94, doi: 10.1080/19419899.2013.774167.
15. Taylor, Chloe. 2017. *The Routledge Guidebook to Foucault's History of Sexuality*. New York: Routledge.

Илья Александрович Малафей
Амстердамский университет,
магистерская программа
«Анализ культуры»
ilya.malafei@protonmail.com

Ilya Malafei
University of Amsterdam,
Research Master's
"Cultural Analysis"
ilya.malafei@protonmail.com

4

СЕМИНАР МАРТИНА

МАРТИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ

МАРТИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ

МАРТИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ

МАРТИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ

СЕМИНАР

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕМИНАРЕ «МАРГИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ»

Степан Попов

Конвенциональную историю литературы редко интересуют сюжеты, связанные со странными или маргинальными текстами, странными или маргинальными авторами или уж тем более — со странными или маргинальными издательскими, читательскими или критическими практиками.

Вполне понятно и легко объяснимо, почему это происходит. Так, помимо прочего, и действует дисциплина, призванная сохранять, комментировать, популяризировать и оберегать литературный канон, — то есть закрытую группу некоторых «исключительных» текстов-шедевров, составляющих литературную традицию (и во многом формирующих национальную или иную коллективную идентичность)¹.

Более того, конвенциональная история литературы не просто не видит странное и маргинальное, но и даже отказывается признавать его как релевантный объект исследования (или банально — как релевантный предмет индивидуального читательского интереса). В странном и маргинальном конвенциональная история литерату-

1. О том, как связаны между собой историческая фигура канона, проблематика дисциплинарных границ, а также прагматика производства идентичности, Мишель Фуко, в частности, пишет следующее: «Дисциплина — это принцип контроля над производством дискурса. Она устанавливает для него границы благодаря игре идентичности, формой которой является постоянная реактуализация правил» [Фуко 1996: 69]. Весьма важно и то, что Фуко обнаруживает в описанной им конфигурации репрессивного дискурса ту же институциональную основу, которую можно обнаружить и у конвенциональной истории литературы: «...ее укрепляет и одновременно воспроизводит целый пласт практик, таких, как педагогика, или таких, конечно же, как система книг, издательского дела, библиотек...» [Фуко 1996: 57].

ры — и это, по всей видимости, и есть главная причина отсутствия интереса к нему — усматривает некоторую угрозу легитимности канона, а следовательно, и угрозу собственной легитимности как весьма специфической форме знания².

И уже, по крайней мере, это обстоятельство послужило причиной открыть семинар **Маргинальные тексты**.

Семинар был запущен в начале октября 2020 года. К сегодняшнему дню проведено более 20 встреч.

В рамках семинара читаются как тексты, либо никогда не существовавшие в границах литературного поля (непубличные дневники советского времени³, проза писателей-любителей и толстовцев [Аполлов 1895]); либо плохо или мало известные, в какой-то момент выпавшие из культурного обращения (забытая детская проза 1920-х — 1930-х годов [Левин 1931], параноидальные романы писателей-эмигрантов [Солоневич 1968]); либо обладающие непонятной, спорной и скандальной репутацией и потому никем не востребованные (сталинистский [Павленко 1949] или серебряновечный треш [Крыжановская-Рочестер 1910]).

Помимо этого, проводятся регулярные обсуждения различных теоретических текстов и подходов, так или иначе помогающих концептуализировать маргинальность как аналитическую категорию — или позволяющих понять, что с маргинальными текстами вообще можно и нужно делать.

Напоследок — пара слов о собственном опыте как участника и организатора семинара.

Безусловно, в ходе обсуждения текстов мы постепенно приходили к пониманию того, почему маргинально то, что мы читаем, — и ответы, впрочем, не всегда были очевидны. Но эта задача, кажется, никогда не была приоритетной. Скорее, чтение маргинальных текстов становилось здесь определенной интеллектуальной и культурной практикой, — практикой, с помощью которой менялись и про-

2. Впрочем, подобный взгляд на историю культуру был манифестирован уже Ницше, о критической программе которого тот же Фуко замечал: «...то что Ницше начал критиковать... продолжал критиковать постоянно, — это как раз та форма истории, которая пытается снова ввести (и всегда предполагает) над-историческую точку зрения: это история, задачей которой должно быть сведение воедино, во вполне замкнутой на себя тотальности, покоренного наконец разнообразия времени... <...> история, бросающая на все, что у нее за спиной, взгляд конца света...» [Фуко 2003].

3. И эссе о которых — будет представлено ниже.

должают меняться наши представления о возможном в литературе и письме как форме существования культуры вообще. Фактически в центре семинара были и остаемся мы сами, наши интересы, наши симпатии и антипатии, наш взгляд на маргинальность как таковую.

Преодолевая косность, патриархальность и традиционализм конвенциональной истории литературы, — мы обратились к себе, осознали собственный опыт как исходную точку разговора, сделали попытку перечитать литературное пространство как открытое и инклюзивное.

И уже, по крайней мере, это стоило того, чтобы открыть семинар **Маргинальные тексты**.

Список литературы

1. [Аполлов 1895] — *Аполлов А.* Необыкновенный случай. Быль. М.: Тип. И. Е. Ермакова, 1895.
2. [Крыжановская-Рочестер 1910] — *Крыжановская-Рочестер В.* Адские чары. Оккультный роман. СПб.: Книгоиздательское товарищество, 1910.
3. [Левин 1931] — *Левин Д.* Десять вагонов. Повесть для детей старшего возраста. М.; Л.: ОГИЗ — Молодая гвардия, 1931. 224 с.
4. [Павленко 1949] — *Павленко П.* Степное солнце. М.; Л.: Детгиз, 1949. 48 с.
5. [Солоневич 1968] — *Солоневич И.* Две силы. Роман из советской жизни. Борьба за атомное владычество над миром: в 2 ч. Нью-Йорк: Свободное слово Карпатской Руси, 1968.
6. [Фуко 1996] — *Фуко М.* Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 47–97.
7. [Фуко 2003] — *Фуко М.* Ницше, генеалогия, история // Ницше и современная западная мысль. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2003. С. 532–559.

КАК ЧИТАТЬ МАРГИНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ?

Какую литературу мы называем маргинальной и почему? Подходит ли для работы с ней тот инструментарий, который был выработан для текстов, условно входящих в канон? Возможно ли существование литературы «без полей» — без «ядра» и «периферии»? Об этом и многом другом беседовали участники семинара «Маргинальные тексты» на встрече, состоявшейся 20 марта 2021 года. Для обсуждения в этот день были выбраны работы «О понятии истории» В. Бенъямина и «Поле литературы» П. Бурдые, а также «Гакраб (Битва): Поэма о шахматной игре» Я. Эйхенбаума, так что семинар получился одновременно и теоретический, и практический.

В дискуссии приняли участие студенты магистерской программы «Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Артём Бабушкин, Александра Денисова, Мелания Калинина, Олег Ларионов, Степан Попов, студентка магистерской программы «Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом» НИУ ВШЭ в Москве Светлана Демидова, а также преподаватели НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Виктор Михайлович Димитриев, Илья Александрович Калинин и Андрей Александрович Костин.

Степан Попов: Я позволю себе начать с тезиса, основанного на чтении наших теоретических текстов. О чем нам говорит Бурдье? Он говорит о том, что поле литературы имеет некие собственные правила, предлагает актерам, существующим внутри этого поля, уже сформированные (и не ими) сценарии самореализации — как более, так и менее успешные, и все, что остается актеру в этой перспективе — это в соответствии с собственным социальным опытом, в соответствии с собственным габитусом избрать для себя некую готовую линию поведения. Безусловно, к такой постановке вопроса мы можем предъявить много претензий. В частности, мы можем возразить Бурдье, что, вообще-то, как конвенциями социального поведения, так и правилами поведения в литературном поле актер может манипулировать, и мы знаем много примеров такого рода манипуляций, причем довольно успешных, не буду приводить здесь каких-то дополнительных примеров. Но я бы попробовал сформулировать к Бурдье другую, может быть, даже не озвученную ранее претензию, именно исходя из своего интереса к маргинальной литературе.

Из своего опыта чтения маргинальных текстов я понял, что каждый раз по-настоящему маргинальный текст, по-настоящему маргинальный автор существует вне какого-либо поля или субполя, и поэтому у маргинала нет какого-то примера, в соответствии с которым он мог бы выстраивать некую стратегию поведения. Часто нет у маргинала в перспективе зрения и общего поля литературы — он существует вне его. Маргинал не манипулирует правилами, существующими в поле литературы, он не выбирает себе еще никем не занятые амплуа, он не действует в горизонте возможностей, которые ему очерчивает поле литературы. **Фактически маргинал изобретает невозможное, конструирует себе некое собственное пространство, на которое у поля литературы просто не хватает воображения.** И следовательно, здесь встает вопрос о том, что же позволяет маргинулу это делать.

Беньямин, кажется, немного проясняет, что это могут быть за свойства. Маргинал по Беньямину — это угнетенный, слабый субъект, неопределяемый, игнорируемый традиционными нарративами сильных — как историческими, так социальными или политическими — это, в целом, понятно. Другое дело — и в этом, на мой взгляд, главная ценность Беньямина — это то, что он фактически показывает, что нам делать с маргиналами: необходимо писать их историю. В частности, эта история важна и в эпистемологическом плане: создавая историю маргиналов, мы поймем, что маргиналы создавали нечто такое, что в какой-то момент оказалось ненужным или нереализованным. Так

мы увидим, что могло бы случиться в прошлом, но не случилось, то есть мы с помощью выстраивания истории маргиналов как бы увидим мир нереализованных возможностей, неслучившееся прошлое. И из этого можем уже делать самые разные выводы. И я думаю, текст Эйхенбаума, который я подобрал, дает нам именно такие возможности. Я бы не останавливался только на нем и использовал бы его только как подспорье.

Артём Бабушкин: На самом деле, у меня возражение по поводу концепции Бурдые. Он же не пишет о том, что акторы могут только занимать позиции, которые уже существуют. Он говорит в том числе и о появлении новых позиций, которые как бы возможны грамматически. Как в грамматике есть какой-то горизонт возможностей языка, так и в литературе есть свой горизонт возможного — и в том числе относительно того, что называют манифестацией. И каждый новый автор, который входит в это поле литературы, все равно работает с какими-то конвенциями, в том числе манипулируя ими, и изобретает какую-то новую позицию. Поэтому мне кажется, что эту предпосылку можно обговорить более подробно.

Олег Ларионов: Если я правильно понимаю, для Бурдые очень важен пафос того, что все производится коллективным, совместным действием разных акторов. То есть, грубо говоря, в этой схеме получается, что не будет маргинальных авторов, маргинальных текстов, пока не появятся какие-то люди (например, наш семинар), которые прочтут такие тексты и назначат их маргинальными — введут их, таким образом, в общую конструкцию литературного поля, поместив их на маргинальные позиции. В этой перспективе маргиналы и маргинальность оказываются не какими-то ускользающими от нашего описания сущностями, а скорее производными от нашей деятельности. Мне кажется, здесь есть над чем подумать.

Светлана Демидова: Я, наверно, отчасти продолжу эту мысль. Когда я читала примечания и предисловия к «Шахматной поэме», мне показалось интересным, что мы выбрали именно ее, потому что она попала в наше поле зрения постфактум биографического процесса, в результате распространения некоего биографического ореола — мы читаем Эйхенбаума, у него был такой дедушка, и почему бы нам заодно не опубликовать и его текст. Степан сказал вначале о том, что маргиналы существуют вне какого-то поля и создают собственное поле — мне кажется, что это происходит более сложно. Иногда возникают случаи, когда эти тексты находятся в ореоле литературного быта вторичной литературы, каких-то документов, которые мы ассоциируем с архивными по отношению с тем, что мы считаем находящимся в центре канона.

Андрей Костин: Мне кажется, что это отличный разговор — очень хорошо подобраны тексты, но все-таки я бы хотел немного возразить Степану. У меня постоянный вопрос к Бурдые о том, насколько то, о чем он пишет, описывает ситуацию с хронологически уходящим в историю набором текстов. Кажется, что Бурдые описывает синхронную борьбу. Это существенный момент; архивные тексты, по всей видимости, работают для читающих их через определенное время как-то иначе.

Помимо этого у меня есть вопрос к тексту, который мы читаем: насколько мы хорошо представляем себе поле и контекст, в котором работает Яков Эйхенбаум? В начале Борис Эйхенбаум рассказывает, что он возвращается к отцу и там начинает читать эту самую ново-еврейскую литературу 1810–1820-х годов, и она оказывается важным для него текстуальным опытом. Я совсем в этом не специалист, и было бы интересно, если бы с нами был, например, Эдуард Вайсбанд с нашей кафедры — человек, в общем-то представляющий себе эту литературу. Но по тому, с чем мне приходилось сталкиваться — у пишущих в России по-еврейски евреев в начале XIX века действительно есть некоторая литература, которая во многом заточена и смотрит на русскоязычную литературу как на образец, как раз где-то к 30–40-м годам появляются переводы, например, из Державина или Хераскова на еврейский язык. Когда Рабинович все это переводит языком условного «Демона», «Демон» уже написан, а когда Яков Эйхенбаум пишет — еще нет, и это не случайно, это то, в чем они существуют и на что ориентируются. И если мы применяем Бурдые к этой ситуации, в которой работает Яков Эйхенбаум — мы, кажется, вполне можем описать это поле: место, которое занимает в нем светская еврейская литература, ориентированная на русскую практику, довольно специальным образом располагается среди разных еврейских литератур — и на идиш, и на иврите, и это вполне можно описывать. Другое дело, что, конечно, когда этот текст попадает к нам как к читателям в совсем другое время с совсем другим языком и из других контекстов, он занимает, видимо, какое-то совсем другое место. И тут вопрос — насколько схема Бурдые это предполагает и вообще насколько он заинтересован в описании этих позиций, насколько вообще Бурдые задается вопросом о маргинальности. Может быть, с этой стороны можно было бы подойти к этой проблеме.

Виктор Димитриев: Эта тема — одна из самых для меня интересных. Я бы хотел предложить свою интерпретацию маргинальной литературы в том ключе, в котором говорил о ней в самом начале Степан, однако мне хотелось бы говорить о маргинальности как о некоторой стратегии. Вы описали маргинальность

как что-то, что (в большей степени в перспективе Беньямина) оказывается вытесненным большими нарративами и тем, что невозможно описать — и у меня сразу появляется вопрос, почему сама эта практика, сама эта постановка вопроса о маргинальности не включена в маргинальность как стратегию.

Есть книга, посвященная так называемому «незамеченному поколению» русской эмиграции, ее написала Ирина Каспэ, она называется «Искусство отсутствовать». Речь в ней идет о сообществе эмигрантов первой волны, которое сознательно описывало себя на языке «невозможности описать», которое сознательно описывало свой неуспех как успех, разрабатывало язык, посредством которого эта маргинальность была бы в каком-то смысле не схватываема исследовательским языком. Другими словами, это такая уклончивая практика постепенного включения всех форм различий внутри какого-то маргинального поля в свой собственный язык, и на этом языке все эти структуры различия становятся неразличимы. Очень любопытно, как это функционирует, как уже в 30-е годы эти литераторы пытаются сформировать представление о себе как о маргинальной группе скорее на языке неопишуемого сообщества Бланшо.

С одной стороны, у меня возник вопрос: почему этот тезис о неопишуемости маргинального опыта, о том, что его невозможно вписать в какой-либо исследовательский нарратив, — не является примером стратегического манипулирования в литературном поле? С другой стороны, может быть, здесь имело бы смысл включить еще одну трактовку сообщества, неопишуемого сообщества маргиналов, выраженную в текстах Батая и Бланшо?

Илья Калинин: Да, то, что я хотел сказать с самого начала, хорошо продолжает то, что во многом артикулировал сейчас Виктор. Мне кажется, что эта тема так или иначе у нас возникала и прежде на семинарах. Есть смысл различать два типа маргинальности. Тексты Бурдье и Беньямина особенно удачно подобраны, потому что позволяют нам этот водораздел провести.

Приложив к этому явлению социологическую оптику Бурдье, мы можем увидеть, что он оперирует синхронным срезом. Однако это не значит, что данная оптика позволяет говорить исключительно о современности. Мы можем прикладывать его модель к любой эпохе, по отношению к которой возможна реконструкция и картографирование пространства напряжения между различными агентными позициями, борющимися за доминирование внутри того, что Бурдье определяет как *поле*. Без этой предварительной работы мы не можем, пребывая в каком-то безвоздушном пространстве, выстроить социологическую аналитику по отношению к любому тексту, принадле-

жащему той или иной эпохе. С помощью своей концепции поля Бурдье пытается разрешить, казалось бы, неразрешимое противоречие, по-разному воспроизводившееся в социологии: противоречие между акцентом на структуру и акцентом на социальное действие. Структурный функционализм исходит из того, что жизнь общества подчинена действию объективно существующих структур, норм, правил и законов, неким предзаданным установкам — это та грамматика, о которой уже говорил Артем. Социальный конструктивизм исходит из того, что индивиды своими действиями, интерпретациями, коммуникативными актами сами производят социальную реальность, *ad hoc* разыгрывая свои роли. Понятие поля, которое предлагает Бурдье, синтезирует две эти перспективы: структуры и действия. Мы совершаем то или иное действие, но внутри определенным образом организованного поля. При этом наше действие приводит к тому, что это поле реструктурируется. Структура одновременно и не уничтожается, и становится пластичной, приобретая внутреннюю подвижность и динамизм.

Возвращаясь к тому, что сказал Виктор: безусловно, мы можем говорить не просто о маргинальности или внешней маргинализации (синхронно социальной или ставшей результатом исторических сдвигов), но и о сознательной *автомаргинализации*. Выстраивание собственной маргинальности может быть рассмотрено, по крайней мере, по Бурдье, как совершенно сознательная стратегия достижения успеха, как стратегия приобретения и накопления символического капитала. Согласно логике Бурдье, художник может работать, опираясь на принципы эстетической автономии, настаивая на собственной литературной маргинальности и достигая успеха именно в качестве «непризнанного», а может, наоборот, обращаться к механизмам гетерономии (переносящими на поле литературы принципы экономического или политического полей), предъявляя себя как коммерческого писателя или как писателя, облеченного тем или иным политическим или административным статусом. Про Владимира Сорокина мы уже вспоминали, а можем вспомнить про Эдуарда Лимонова, чья стратегия гетерономии тоже может быть описана через феномен маргинальности. Для Лимонова и литературная, и биографическая, и политическая маргинальность всегда были важным инструментом борьбы и аккумуляции капиталов разного рода. В любом случае, здесь речь идет о маргинальности как о сознательно выбранной, более того, — активной, наступательной позиции. Таким образом, мы можем говорить о маргинальности как о стратегии, как о выборе.

Беньяминовская перспектива взгляда на маргинальность выглядит совершенно иначе. В его случае маргинальность — уже не выбор, а судьба, связанная с изначальной депривированностью субъекта письма по отношению к различного рода измерениям господства / подчинения: социального, классового, политического, экономического, гендерного, расового. Это совершенно иной тип (точнее — совершенно иная логика) маргинальности, за которым стоят другие отношения и, соответственно, другой способ описания. Тот долг, который с точки зрения Беньямина должен испытывать историк, стоящий на позициях диалектического материализма, — это долг перед угнетенными, теми, кто потерпел поражение, в результате которого их голоса оказались стерты с носителей исторической памяти. У беньяминовского историка нет долга перед теми самомаргинализирующимися сообществами, которые создают себя через дискурсивное ускользание, символическую неопишуемость, через попытку выскользнуть за пределы тех или иных нормативных пространств: рынка, товарно-денежных отношений, политической власти, доминантного языка описания. Возможно, есть смысл попытаться более четко провести именно эту границу между маргинальностью как выбором и маргинальностью как судьбой, маргинальностью как стратегией и маргинальностью как эффектом депривации и угнетения по одному из любых возможных признаков.

Степан Попов: Мне показалось действительно важным разделение маргинальности на несколько видов, которое Вы воспроизвели. В связи с чем я вспомнил, что в приложении к трактату Беньямина есть 2 абзаца, абзац А и абзац Б. Меня заинтересовал абзац Б. В нем он пишет, что евреям запрещено пытаться узнать будущее, потому что оно им не принадлежит, они сами (не?) определяют собственное будущее. Оно им дается в некой готовой форме. Любопытно, что Беньямин дает этой, в общем-то, исторической слабости такую положительную перспективу: поскольку евреи не могут знать своего прошлого, они имеют хорошее воображение, они умеют удивляться и, соответственно, удивлять.

И я бы вернулся к Бурдые. Для него важна вот эта модель грамматики относительно литературного поля, и он довольно часто подчеркивает то, что да, можно сплестать и менять позиции, можно, соответственно, с помощью манифестации каким-то образом реструктурировать поле. Однако, по-моему, он настаивает на том, что в поле уже заложен некий предел возможностей, за границы которого субъект не может выйти, и даже если он занимает некую новую позицию, ее существование уже предопределено полем литературы, а через это и полем власти. Мне кажется, что маргиналы, условно,

второго типа, поскольку они не могут знать собственного будущего, поскольку они не знают правил игры в поле, они умеют удивляться и умеют удивлять.

[Пропуск при расшифровке семинара. — Прим. редактора.]

Мелания Калинина: Получается, что маргинальность — это что-то имманентное по отношению к тексту? Даже разделение на маргинальности на две категории: маргинальность сознательную и маргинальность, предначертанную судьбой, — не отменяет того, что это нечто имманентное. Мне подумалось о том, что, когда мы начинали этот семинар, посыл был в том, что мы читаем тексты, которые кажутся маргинальными нам, и наша личность, на самом деле, играла не последнюю роль в этом всем. Фактически, мы делали что-то обратное тому, о чем пишут, например, умные историки: мы брали тексты, фактически вырывая их из поля, из их синхронного окружения, и читали.

Степан Попов: Мелания задала очень интересную перспективу, а именно — обратить наш разговор о маргинальности на наш опыт чтения маргинальных текстов, на наш выбор маргинальных текстов.

Андрей Костин: Есть вопрос со значимостью категории борьбы, соперничества, вопрос о том, насколько это работающие категории, когда мы работаем с тем, что сейчас описываем как маргинальные тексты. Чем интересен Беньямин, так это тем, что когда мы включаем теологию и вопрос о будущем счастье, то, вообще говоря, мы знаем, что это мир, которого мы хотим достичь, это мир, где лев возляжет с агнцем, мир, в котором противоречия и борьба будут отменены. Мы хотим его достичь. Но возможно ли это достижение? Насколько оно нормально достижимо в том числе и для занятия историко-литературным чтением текстов, насколько нормально само представление себе этих самых позиций? Можем ли мы мыслить категорию этого самого литературного поля вне вопроса о том, что разные его позиции не находятся в статике, а постоянно взаимодействуют друг с другом, предполагая более или менее центральные маргинальные позиции вытеснения, забвения и так далее? Это тот момент, в котором, удивительно для меня, несмотря на всю эту мистическо-теологическую подоплеку, Беньямин соприкасается с Бурдые, и категория борьбы становится важной. Возможно ли достижение такого состояния истории, в том числе и для Беньямина, в котором произойдет это самое возлежание льва с агнцем, или нет?

Предполагаем ли мы, что, отбирая и читая маргинальные тексты, а не тексты канонические, центральные, мы переворачиваем что-то или создаем вот этот райский мир сосуществования текстов?

Степан Попов: Мне кажется, что одного чтения и обращения внимания на маргинальный текст, наверно, все-таки недостаточно. На самом деле, если думать о какой-то перформативной силе, то в этом смысле канонические тексты, конечно, живы, и они смогли реализовать собственные проекты, тогда как маргинальные тексты — это, действительно, мертвые и неосуществленные тексты. Мне кажется, что в полной мере воскресить их, не смотря на все наши попытки, все-таки невозможно.

[Пропуск при расшифровке семинара. — Прим. редактора.]

Андрей Костин: Проблема с тем, как мы работаем с этими текстами, и насколько для нас здесь рабочими оказываются Беньямин и Бурдые. Упомянувшиеся [эта часть разговора была выпущена при расшифровке семинара — прим. редактора] опоязовцы, формалисты — это люди, которые занимаются специальным вопросом о том, как работают тексты из архива в современности, как они туда попадают, пройдя через сито какого-то времени, в виде текста, лишённого авторской привязки в современности, и как они с нами работают. Вот то, что занимает Тынянова и Шкловского.

Мы должны решить вопрос, который у нас здесь с вами встает: важна ли для нас маргинальная позиция, важно ли восстановление контекста? Это тот вопрос, который я задавал к Бурдые вначале: да, мы можем реконструировать позицию поля, в котором создается изначальный текст. Но это никак не будет объяснять взаимодействие этого текста с нами и с тем, как мы его читаем. Он оказывается сейчас в какой-то абсолютно другой структуре. Мы можем, идя за Тыняновым, реконструировать истории смены этих полей. Это само по себе увлекательное занятие. Для Тынянова этой маргинальности, которая существует внутри текста, в принципе нет. Это принципиальная позиция для Тынянова: маргинальность есть только функция поля, а не что-то существующее внутри самого текста. То, во что мы здесь упираемся, это то, насколько нам нужна или не нужна история литературы, и аппарат реконструкции контекста, и реконструкция прошлых состояний поля.

Илья Калинин: Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, как раз восстановление контекста и есть та работа, которую Беньямин призывает совершать по отношению к традиции угнетенных, о которой он пишет, потому что именно их голоса не звучат

из дошедших до нас текстов. Не звучат в том числе потому, что мы не знаем того контекста, внутри которого эти голоса когда-то возникли. Светлана сказала, что, когда мы смотрим на маргинальность с точки зрения депривированности, это удаляет нас от беньяминовского понимания. Могли бы Вы еще раз тезисно озвучить этот аргумент?

Светлана Демидова: Я имела ввиду, что сам проект Беньямина, кажется, предполагает то, что мы знаем, какие тексты и какие голоса, что за группу мы хотим возратить и сделать «говорящей». Поэтому это проект, не идентичный тому, что мы сейчас, например, разбираем какой-то индивидуальный текст и осознаем его как маргинальный.

Илья Калинин: Я с Вами согласен. Мы, когда говорили о Беньямине с Виктором, скорее заходили со стороны мистической, кабалистической, иудаистской линии в интеллектуальной генеалогии Беньямина [эта часть разговора была выпущена при расшифровке семинара — прим. редактора]. Но помимо нее мы не должны забывать и о другой линии, связанной с его фигурой. В биографическом плане эти два беньяминовских крыла опираются на его дружбу с Гершомом Шолемом и Бертольдом Брехтом. В этой второй перспективе слова Беньямина об историческом материализме не стоит понимать метафорически. Это тот самый исторический материализм, о котором говорит Маркс. Поэтому, когда мы сталкиваемся с понятием «традиция угнетенных», которая требует реконструкции, — на языке мистики Беньямин обозначает ее как «воскрешение» — это не метафора. И необходимость обращения к этой традиции угнетенных не нужно понимать исключительно в каком-то таком герменевтически-талмудическом ключе, речь идет о вполне конкретном социокультурном, политэкономическом, расовом, гендерном угнетении, объекты которого взывают к тому, чтобы быть услышанными сквозь канонизированные дискурсивные напластования, оставленные победителями. Иными словами, речь в данном случае идет не только о реконструкции и интерпретации, но и о восстановлении когда-то отнятой субъектности, — о возвращении исторической справедливости.

Вопрос в том, как эта маргинальность связана с текстом. Понятно, что она точно связана с фигурами автора, повествователя, лирического героя, с субъектностью, которая через текст реализуется. Любопытно, что если все-таки искать какие-то точки пересечения между Бурдые и Беньямином, то, как уже было сказано, долг историка перед угнетенным субъектом / маргинальным текстом может состоять в воскрешении контекста. Потому что канонические тексты являются таковыми именно потому, что их контекст оказался

социально признанным и уцелел: в этом смысле победители пишут не только текст, но и контекст; они задают и фигуру, и фон. Поэтому историку проще и соблазнительней работать с мейнстримной линией развития литературы (под мейнстримом я понимаю здесь в том числе и релевантную для него периферию, к которой любили обращаться опоязовцы). А вот тексты угнетенных — даже в том случае, когда они уцелели, — вписаны в контекст, еще более стертый, чем они сами. Это стирание обусловлено тем, что условия производства этих текстов погружены в пространство социальной депривации, политического угнетения, символической репрессии. Именно поэтому они не включены в работу институтов и практик культурного хранения, монополизированную культурой победителей. В этом случае долг беньяминовского историка (оказывающегося одновременно и революционером) состоит в том, чтобы извлечь это позабытое наследие из небытия, вернуть проигравшим их место в истории.

Кстати, тут можно вспомнить еще одну традицию интереса к этому вопросу. Это то, что Джеймс Скотт¹ обозначает как «скрытый транскрипт», — понятие, которое можно приложить, например, к колониальной ситуации. Скажем, голос Калибана в «Буре» Шекспира подчиняется такому скрытому транскрипту, неизбежному для социального действия угнетенных. Любому читателю понятно, что в «Буре» главные герои — это Просперо, Миранда, младший брат Просперо, узурпировавший его трон, а также — Неаполитанский король и его сын. Но там есть еще одновременно злое и смешное чудовище Калибан. Кто он такой, этот Калибан? Он — законный владелец необитаемого острова, на котором внезапно появился преданный собственным братом Просперо. Но, чтобы это понять, нам нужно приложить к тексту особую оптику, чувствительную к эксплицитно отсутствующему контексту, вписать шекспировскую пьесу в историю Великих географических открытий и колонизации. Только тогда мы сможем увидеть Калибана не просто как посмешище и чудовище, попытавшееся овладеть невинной девушкой, но и аборигена, колониального субъекта, которого мейнстримная культура превратила в монстра.

Вспомнился и еще один теоретический момент. Судя по всему, интерес ко всему вытесненному и маргинальному был характерен для той эпохи, о которой мы говорим, читая Беньямина. В этой же связи можно вспомнить о Бахтине с его одержимостью традицией менипповой сатиры, которую он по сути определяет как некую «вторую литературу», низовую линию, вытесненную на периферию

1. Scott J. *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press, 1990. 251 p.

культуры еще в античности, но никуда не исчезнувшую и сохраняющую энергию критики доминирующих догматов, нормативных вкусов, идеологических императивов благодаря альтернативному по отношению к официальной культуре горизонту «материально-телесного низа». Эта концепция не раз потом подвергалась критике, Бахтина упрекали в том, что он эту традицию искусственно конструирует с опорой на практически не сохранившиеся античные источники. Но это делает ее тем более интересной, тем отчетливее в ней обнажается имплицитная мессианская идея: дать голос какой-то иной — изначальной, но подавленной — народной культурной традиции, противостоящей официальному канону. От этой традиции осталось мало материальных следов, они проступают только благодаря особой аналитической чувствительности, сопоставимой с мессианской энергией спасения, пронизывающей подход Бенямина. Этот одновременно теоретический и исторический пафос — характерный симптом времени, Бенямин приходит к нему в 1930-х годах, Бахтин — в 1940-х (и с особенным подъемом в начале 1960-х — коротком периоде возвращения вытесненного и репрессированного). Почему такие разные теоретики, как Бенямин и Бахтин, были так увлечены этой задачей? Ее же пытался по-своему решать и Тынянов с его интересом к Кюхельбекеру и публикацией его рукописных текстов, оставшихся вне литературного процесса XIX века.

Степан Попов: Да, и соответственно, интерес Шкловского к Матвею Комарову...

Илья Калинин: Совершенно верно, интерес Шкловского к Матвею Комарову, Левшину и Чулкову, интерес лефововцев к рабкорам и селькорам...

Степан Попов: Мне еще интересно то, как по-разному они с этим работают. Мы можем реконструировать контекст, который существует вокруг маргинального текста, но какой именно контекст мы будем реконструировать? Контекст той репрессивной машины, которая сделала маргинальный текст маргинальным? Или тот контекст, который мы реконструируем в истории литературы для канонических текстов? Каким образом стоит эту операцию производить? Может быть, даже основываясь на тех примерах, которые мы обсуждали. Какой контекст нам нужно реконструировать, когда мы работаем с маргинальным текстом?

Мелания Калинина: Мне почему-то вспоминается Скиннер с его реконструкцией авторской интенции. Мне кажется, это очень сочетается с тем, о чем мы сегодня говорим: с тем, что у нас есть некоторые тексты, у которых утрачено представление о том, что за высказывание они собой представляют и как нам реагировать на это

высказывание. Мы как будто пытаемся реконструировать не только какой-то исторический контекст-срез, а именно иллокутивную силу этого высказывания. А нужно ли нам на самом деле это делать? И если да, то как? Это вопрос открытый, на мой взгляд. Нужно ли нам убирать историческую перспективу нашего взгляда, оставляя за текстом полную индивидуальность или нет?

Андрей Костин: Отличная реплика Мелании. Я бы хотел продолжить разговор о Беньямине и восстановлении контекста. Напомню, что Беньямин в этом тексте начинает с того, что нам сначала нужно вообразить будущее. Восстановление этого самого угнетенного — это способ связать его с будущим. Это абсолютно мистический образ. Почему здесь интересен маргинальный текст? Потому что воображение этого будущего приходит мистически, таинственно, в единственный момент и только здесь и сейчас. В полной мере вот это мистическое озарение виденья будущего, вообще говоря, невоспроизводимо. **Восстанавливая угнетенных, создавая полную линию от момента угнетения до будущего, мы пересоздаем всю историю. Я здесь скажу, что важен не столько сам контекст, сколько рассказ о другой альтернативной истории, в которой бы эта умершая традиция оказалась бы дорогой в будущее. Что за литература могла создаться там, где поэма про шахматы оказалась бы в центре поля?** Что это говорит нам о будущем, в котором мы должны скоро оказаться? Проложение кротовой норы от никогда не существовавшей литературы к современности, в которой мы увидели этого маргинала, и из современности в будущее, где что-то оказывается другим, — я читаю Беньямина так...

Это довольно хорошо соотносится с тем, как работает история литературы в конце 20-х — начале 30-х годов с большими проектами. Я специально занимался историей того, как выстраивают изучение XVIII века в конце 1920-х — начале 1930-х годов. И там есть этот проект: мы сейчас выкинем к чертям Ломоносова с Сумароковым, вытащим крестьянских и пролетарских авторов и напишем совершенно другую историю, которая будет вести, естественно, к той пролетарской литературе, которую мы сейчас создадим, к литературе будущего замечательного коммунистического общества. Ведь этой истории, которую мы сейчас рассказываем, абсолютно не нужны Ломоносов с Сумароковым. Они там оказываются маргинальными, они оказываются совершенно ненужными ключевому рассказу. То, что читается за попытками рассказывать о Комарове, и даже не столько о Комарове, как в более ранних работах Шкловского, — это то, с чем успешно борется Гуковский в 9–10 выпуске «Литературного наследства». Гуковский говорит: «Нет, у нас есть Ломоносов, Сумароков, никуда

вы от этого не уйдете. Мы знаем, как их читать, это великие авторы, их нельзя убрать в архив. Да, у нас есть крестьянские стихи, но всего этого большого поля вы выкинуть не можете». И всё, топчут ногами Святополк-Мирского в рецензии в «Лит. наследстве», а потом делают с ним буквальное уничтожение. Все, на этом все заканчивается. Здесь очень здорово то, что сказал Илья: вообще говоря, исследователей рубежа 1920–30-х годов мало занимает реальный контекст тех «низовых» текстов, которые они вытаскивают. Они знают, что есть схема, в которой у них должны появиться говорящие угнетенные, которые говорят вещи, которые они в них читают. Их очень мало занимает, что же это такое. Они видят этих угнетенных и конструируют их такими, какими они должны быть в идеальной теории. Это большая проблема, главная проблема — с тем, как работает история литературы XVIII века до сих пор с забытыми голосами, не видя вокруг контекста, а видя будущее, в котором они должны оказаться.

Илья Калинин: С одной стороны, я согласен с Андреем, с теми упреками, которые он адресуется адептам мессианского переписывания истории с точки зрения угнетенного...

Андрей Костин: Я не обвиняю, наоборот.

Илья Калинин: Да, хорошо. Но! Для меня при всех «перегибах на местах», зачастую приводящих к догматизму и тенденциозности, которые мы можем опознать за подобного рода интенциями написать новую «правильную», пролетарскую историю литературы, основанную на марксистской телеологии, во всем этом остается важный нередуцируемый остаток. Мне интересно не то, как впоследствии конструируется, пишется эта история с точки зрения условного Матвея Комарова, который пожимает руку рабкору 1920-х годов и таким образом, наконец, восстанавливает истинную историю литературы. Условно говоря, такую тенденцию можно обозначить как вульгарную реализацию того, что Беньямин понимает под мессианской задачей историка. Мне же интересна другая линия, возникающая в его тексте, — историко-материалистическая (разумеется, две эти линии переплетены между собой, но все же...). Чем должен быть занят беньяминовский исторический материалист? Он должен быть занят реконструкцией условий производства текстов, голосов, субъектностей, то есть в каком-то смысле тем, что могло бы быть названо — историко-социологической реконструкцией контекста, причем как в его материалистическом, производственном измерении, так и в перспективе отношений власти. И вот тут происходит определенный клэш, какая-то внутренняя схватка между марксизмом как социальной теорией и марксизмом как теорией революции, то есть в каком-то смысле — мессианской теории. Марксизм как социальная теория

действительно многое дает для анализа материальных условий производства, в том числе производства текстов. В этом смысле из книги Шкловского о Матвее Комарове можно извлечь много позитивного знания. При этом революционно-мессианская составляющая марксизма в целом (не только в идиосинкратическом бенъяминовском марксизме, но и в марксизме классическом есть свои теологические импликации) создает силовое поле, притягивающее к себе взгляд из того будущего, в котором революционный мессия распахнет окно и войдет из трансценденции в наш мир. И тогда нам станет видно далеко во все стороны света, и тогда мы поймем, что нам не нужны Ломоносов с Сумароковым, а нужен Матвей Комаров. Именно этот, зачастую трагикомичный, энтузиазм, призывающий радикально переписать историю с точки зрения «трудящихся классов», я и называю теоретическими «перегибами на местах». Разумеется, их часто бросающаяся в глаза концептуальная несостоятельность позволяет критикам подобного рода моделей выдвигать уничтожительные аргументы в их адрес. Потому что в этих моделях действительно очень много взято от неудержимого желания, от ожидания того, чего прежде еще не бывало. Однако, характерный для такого рода попыток догматизм, а порой и невежество, не отменяет справедливость самой задачи — реконструкции / воскрешения / спасения той традиции угнетенных, о которой пишет Беньямин (точно так же, как практика «реального социализма» не подрывает самой социалистической идеи).

Андрей Костин: Отлично, Илья, большое спасибо! Тут я опять вернусь к вопросу, который задавал раньше. Значит ли вот это серьезное занятие маргинальным текстом, бенъяминовское отношение к маргинальному тексту, переписывание? Все ли в конце концов спасутся? Возможно ли спасение для всех или только для избранной группы? Это очень важные вопросы. Все-таки вот эти львы, которые возлягут с агнцами, это будут специальные веганские львы или и те львы, которые едят агнцев? Можно ли вообще решить эту проблему или нет?

Степан Попов: Знаете эту задачку? Перевезите через реку волка, козу и капусту так, чтобы никто не пострадал.

Мне в Беньямине, в его проекте, кажется интересной не только мысль о спасении, но и о том, что в настоящее время написание этой истории слабых и угнетенных помогает бороться с разными формами угнетения и репрессий (Беньямин с фашизмом и так далее). И мне кажется, что именно эта перспектива политического сопротивления с помощью воскрешения угнетенных особенно важна. Мне эта перспектива очень нравится и, если понимать это положение очень широко, во многом я считаю, что этот семинар служит свою службу,

во всяком случае — борьбы против репрессирующих представлений в литературном каноне. Мы сами от них освобождаемся, а потом понесем куда-нибудь наши знания. Кто знает, к чему это приведет.

Андрей Костин: Но что меня в этом смущает: если мы создадим мир, в котором все будут читать подряд еврейские поэмы начала XIX века о шахматах, записки 15-летних дворянок о странных путешествиях из Москвы в Петербург и антиалкогольные брошюры конца XIX века, не угнетем ли мы таким образом людей, которые хотят читать замечательную историю странных любовей Евгения Онегина и Татьяны Лариной?

Степан Попов: Мне кажется, что это деятельность, которая не ведет к конечному результату, это такой постоянный разыгрываемый перформанс, который снимает с общества разные неприятные консервативные наслоения.

Андрей Костин: Вопрос в том, чего мы хотим?..

Илья Калинин: Я в этом смысле полностью разделяю пафос Степана. Мне кажется, что с канонами и так все будет в порядке. Просто потому, что общество в любом случае организовано иерархично. В социуме всегда есть центр и периферия. В этом смысле у канона есть свое, что называется, гарантированное конституцией «светлое будущее», потому что канон отражает социальную и ценностную иерархичность самого общества. По крайней мере, до построения коммунизма с канонами все будет в порядке *(сказано с шутливой интонацией)*.

А что нам в этом смысле дает практика чтения маргинальных текстов? Одновременно критическую и эмансипаторную позицию, которая выходит за пределы и филологического знания, и литературы. В этом смысле это некая революционная практика, связанная с рефлексией относительно разных форм господства и угнетения. И поскольку господство сохранится, «Евгений Онегин» как канонический текст останется вместе с ним, а также вместе с нами. Но, может стоит осуществлять еще что-то... Я бы не назвал это контркультурой в строгом смысле, хотя что-то есть в наших практиках чтения маргинальных текстов от той контркультуры, которая существовала в теоретической мысли и практиках 1960-х годов. В этой связи можно вспомнить «Группу информации по тюрьмам», которую Фуко, Видадь-Наке и другие французские интеллектуалы инициировали после поражения революции 68-го года. Чтение маргинальных текстов можно сравнить с деятельностью этой группы, если понимать тюрьму как метафору не только социального, но и символического угнетения, сквозь стены которого мы пытаемся услышать голоса заключенных.

Мелания Калинина: Я правильно понимаю, что мы не узакониваем чтение маргинальных текстов, чтобы не убить саму идею маргинальности? Получается, мы даем и каноническим текстам шансы на спасение в девятый час, потому что, если происходит чтение маргинальных текстов, то и канонические тексты обретают черты маргинальности. Они тоже спасаются таким образом от помещения на плакат по рекламе поправки в конституцию, как это было с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Степан Попов: Это вопрос такой, условно говоря, культурной революции 20-х годов. Мы пришли и думаем, что сейчас мы действительно вернем угнетенным их субъектность, и они как-то сами выстроят собственную идентичность, исходя из своего социального опыта. А оказывается, что им, как писал критик Авербах, нужны рассуждения на вечные темы, им нужен красный Лев Толстой и так далее. И в этом нет, я думаю, ничего плохого. Я не думаю, что возможно субъективироваться, получить какую-то культурную идентичность, исходя из чтения одного этого набора текстов, который у нас есть. Представьте человека, который прошел школьную программу вот по этим текстам. Я бы не стал так экспериментировать. Десятиклассники читают вместо «Войны и мира» «Две силы» Солоневича и пишут сочинение о том, почему Советскому Союзу не нужно было давать атомную бомбу...

Андрей Костин: Чем хорош Беньямин — так это тем, что все-таки он задает вопрос до конца. У него не пропадает вопрос об этом самом светлом коммунистическом будущем, его принципиальной возможности или невозможности. Беньямин пытается представить мир, в котором, в конце концов, не будет этого угнетения. Ведь если все равно постоянно будут формы угнетения, то имеет ли смысл сама по себе борьба? Зачем она?

Илья Калинин: Конечно, мы имеем эту задачу именно в качестве вечно маячащего впереди горизонта, а не практической проблемы, которая может быть решена раз и навсегда. Понимаете, мы уже живем в этом мессианском времени спасения, потому что его окно, или хотя бы форточка, может открыться в любой момент. Мы всегда живем в ситуации, внутри которой предполагается наличие этой форточки, через которую к нам войдет мессия. В этом смысле, этот мир, это время уже настали, потому что мы исходим из горизонта их возможности. С другой стороны, это время «все время» откладывается и никогда окончательно не настает.

И чтобы как-то успокоить Меланию: на ее вопрос о том, не произойдет ли некое узаконивание, кодификация маргинальных текстов, можно ответить категорическим отрицанием. У нас нет для этого

никакой власти — нет и никогда не будет. Может быть, это даже хорошо. Для нас и для всех остальных.

Андрей Костин: Вопрос еще в том, спасутся или не спасутся. Это правда чудовищно важный вопрос. И с Пушкиным, и с прочими. Они попадут туда, потому что они приняли наш путь спасения? Они войдут туда на равных? Евгений Онегин с Солоневичем войдут на равных или один из них войдет как лев, а другой как агнец? Этот лев станет вегетарианцем в этом мире спасенных или нет? Одна из форм того, что мы здесь делаем, это то, что мы создаем университетские курсы, которые предполагают, что вообще не будет никаких обязательных к чтению текстов. Преподаватель будет с помощью алеаторных методов случайным образом подбирать набор для чтения в рамках своего курса. Я беру сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века и отбираю вам 10 текстов оттуда просто с помощью костей. Что там будет, то мы и пройдем в этом курсе.

Степан Попов: Я бы на самом деле представил, что мы можем написать риторику и вообще оставить общеуниверситетские курсы без текстов. Составим просто одну большую риторику, нарежем абсолютно все тексты, которые у нас существуют, представим их в виде примеров...

Андрей Костин: Отлично! Мы начинаем задаваться вопросом, что это за светлое будущее, в которое мы должны прийти. К тому, что говорила Светлана: дело не всегда в единственном тексте, дело в том, чтобы перестроить мир, сделать его иным, и для этого есть свои способы, технологии, механизмы борьбы и так далее. Потому что без этого маргинальный текст и останется маргинальным, а наша задача состоит в том, чтобы сделать что-то иное.

Светлана Демидова: В контексте предложения создать курс на основе алеаторной тематики мне вспоминается Барт с его несуществующими курсами, посвященными созданию разных историй чтения, и этимологии, и внутренних историй наук, и вообще наук, которых никогда не было. Такое синтетическое искусство — воплотить в университете бартовскую модель чтения.

Степан Попов: У кого есть еще какие-то футуристические проекты? Можем сказать о них еще два слова. Ярмарка футуристических проектов.

Мелания Калинина: Я как человек, который преподает в школе, уже замечаю за собой болезненное желание экспериментировать... Мне кажется, интуитивно, когда преподаешь в рамках школьной программы, когда у тебя есть тексты, которые там лежат, и ты более-менее понимаешь, как они туда попали, как о них предполагается, чтобы ты о них рассказывала, и при этом у тебя

есть что-то в твоей голове, что ты прочитала и что тебе нравится, и о чем хочешь рассказать другим, то все упирается опять в вопрос высказывания — иллюкативности интенции, то есть что я донесла своим ученикам в момент обсуждения абсолютно любого текста. Это, в общем-то, осталось где-то на поверхности. К вопросу о том, что говорил Андрей Александрович, мне кажется важным верить в то, что львы будут вегетарианцами, потому что в конечном итоге можно же любить и Пушкина, и Солоневича.

Илья Калинин: Мне кажется, точно не нужно понимать текст Бенъямина как призыв к тому, чтобы бывшие угнетенные заняли место угнетателей, когда Комаров придет на место Ломоносова. И дело даже не в том, что в «счастливой России будущего» будут добрососедствовать Комаров и Ломоносов, а в том, что спасение состоит в том, что и к Пушкину, и к Слепушкину² будет применен общий диалектический материалистический анализ. На данный момент можно говорить о следующем теоретическом status quo. Описание творчества Комарова с точки зрения поэтики, выработанной на материале господствующего канона его эпохи, мало что дает, кроме обоснования его художественной несостоятельности. Напротив, совсем иные, вполне релевантные результаты возникают при его социологическом описании с точки зрения исторического материализма. Но что стоит за этой предпосылкой? С точки зрения нормативной поэтики, Ломоносов и Пушкин — настоящая литература, а Комаров и Слепушкин — какой-то треш и мусор. Поэтому первые подлежат поэтологическому описанию, а вторые — социологическому. Но в этом методологическом различии, собственно, и состоит эпистемологическое угнетение. Но когда мы и к Пушкину, и к Слепушкину применим общий для них обоих способ описания, в этом и будет состоять отмена угнетения — та революция спасения, о которой говорит Бенъямин. Речь не идет о том, что это единственно возможный метод анализа: различие между Пушкиным и Слепушкиным останется, но разрыв между ними перестанет носить репрессивный характер (гений vs экспонат поэтической кунсткамеры).

Андрей Костин: Но не значит ли это, что не будет разницы между львом и агнцем? Мы не сможем их отличить одного от другого? Не будет аппарата для того, чтобы отличить льва от агнца?

Илья Калинин: Нет, сможем, потому что условия производства текста у Пушкина и Слепушкина радикальным образом отличаются, поэтому и тексты их радикальным образом отличаются. Здесь нет никакого нивелирования.

2. Слепушкин, Фёдор Никифорович (1787–1848) — крестьянский поэт-самоучка.

Степан Попов: Мне кажется, если продолжать рассуждение Ильи Александровича, нужно все-таки еще подумать над тем, что у нас есть лев и агнец, они отличаются, но возможно ли выстроить этот светлый мир без поражения в правах льва, если он останется львом?

Андрей Костин: Да, это важный вопрос. Мы явно на него не сможем ответить, и это самое замечательное.

Мелания Калинина: Тут что-то как раз про третьи и девятые часы, про меру ответственности. Все разные, все приходят в разные часы, но итог один. Это не убирает и не уничтожает разницу между пришедшими. Это какое-то имманентное свойство и мера ответственности каждого, кто пришел.

Светлана Демидова: Да, но с другой стороны, это ставит нас перед очередной попыткой создания новой теории эстетики. Потому что, если мы предполагаем, что лев все равно остается львом, но при этом у нас остается эта категория поэтики, то у нас снова возникает проект переформулирования наших эстетических категорий. Но это тоже что-то риторическое и неразрешимое.

ДНЕВНИКИ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЩАСТНОГО. 1970–1971 ГОДЫ

Из фондов структурного подразделения «Музейный комплекс им. И.Я. Слоцова» Тюменского музейно-просветительского объединения. Дневники цитируются по публикации¹ Льва Боярского с его любезного разрешения. Сокращения и примечания Л. Боярского сохранены, орфография В. Щастного сохранена. Купированы имена ныне здравствующих родственников и знакомых автора дневника. Текст дневника и биографическая справка подготовлены Меланией Калининой, участницей семинара «Маргинальные тексты».

1. Боярский Л. Один год из жизни тюменского пенсионера. Ч. 1. / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019).
Боярский Л. Один год из жизни тюменского пенсионера. Ч. 2. / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019).
Боярский Л. Еще один год из жизни тюменского пенсионера / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019).

Биография

Щастный Владимир Васильевич (1894–1988) родился в семье крестьянина Виленской губернии (в наши дни большая часть территории губернии находится в составе Белоруссии, остальная — в составе Литвы). В 1905 году отец В.В. Щастного устраивается столяром на постройке Бологое-Седлецкой железной дороги, на станции Парافیново, где и остается после окончания работ служить путевым сторожем. Щастный начинает учиться примерно с девяти лет и заканчивает двухклассное сельское училище в 1911–1912 годах, а затем устраивается табельщиком дорожного мастера станции Зябки Риги-Орловской железной дороги. В 1915 году его призывают в царскую армию, отправив в Сретенск (Забайкальский край) в стрелковый батальон. Однако обучение военному делу длилось всего месяц: Щастный страдал эпилепсией и был уволен после проверки здоровья сначала в госпитале Гродно, а потом в Москве в 111 сводном эвакуационном госпитале. Мать и отец Щастного примерно в это же время были эвакуированы в Тюмень, куда направляется после увольнения и он сам, устроившись рабочим службы пути.

В 1919 году Щастный вступает в Коммунистическую партию, а с 1921 года активно вовлекается в общественно-партийную деятельность. В частности, он был нарзаседателем при губернском суде, членом бюро ячейки В.К.П. (б), членом месткома и кассы взаимопомощи. В 1924–1926 годах был избран гражданами большого и малого городища города Тюмени членом городского совета рабочих и крестьянских депутатов шестого созыва, а в 1929–1930 годах был уполномоченным Тюменского Ц.Р.К. от рабочих и служащих тюменского затона.

С 1923 года Щастный становится постоянным рабкором-репортером газеты «Трудовой набат». Его заметки были посвящены разным вопросам партийной, профсоюзной жизни, в частности работе различных местных предприятий. В 1927 году он оставляет корреспондентскую работу в связи с получением инвалидности.

Во время Второй мировой войны Щастный работает весовщиком на товарном дворе станции Тюмень, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1948 году переходит на работу сторожем (последнее место работы — гастроном № 29). В 1968 году Щастный выходит на пенсию, и именно этому периоду жизни посвящены публикуемые здесь дневники.

1970 год

16 января, пятница². Большая облачность, снег. Т. 18–10 гр. В спецполиклинике сделано вливание в правую руку. Во второй половине дня ездил в баню на улице Ленина. Когда я уже помылся и ополоснулся холодной водой, я отдал своё мыло незнакомому мне мужчине по его просьбе.

25 января, воскресенье. Опять несчастье. В 11 часов 30 минут к нам пришёл сын [имя сына — прим. редактора], лицо в крови, с затёкшим глазом. По его словам, вчера, когда он шёл на станцию, на него напали 3 человека и железным прутом разбили ему голову. В результате скорая помощь, милиция и акт, по которому надо будет уплатить 15 рублей. В 18 часов пришла медсестра, она сделала мне укол в ягодицу.

26 января, понедельник. В 10 часов посещала медсестра. Она сделала мне вливание пенецелина в правую ягодицу. Она же забинтовала раненую голову сыну. Сегодня же сын уехал домой. В 22-30 ещё раз приходила медсестра произвести вливание пенецелина в ягодицу левой ноги.

27 января, вторник. Большая облачность, снег. Т. –34–22 гр. Письмо сыну. Здравствуй, сын. Как ты доехал домой? Прошу тебя больше не позорить себя пьянкой перед семьёй и коммунистической партией. Веди себя как настоящий коммунист и встреть 100-летие со дня рождения великого Ленина хорошими показателями на работе и в быту. С коммунистическим приветом отец.

3 февраля, вторник. Н/снег. Т. –16–10 гр. Для научной библиотеки при краеведческом музее передал книгу Тобольск. Книгу написали Д. Копылов и Ю. Прибыльский хорошим литературным языком.

7 февраля, суббота. Перем. облач. Н/снег. Т. –5–6. Сегодня и вчера я на лечении в спецполиклинике, а моя Христиньюшка продолжает пьянку с неким собутыльником, которому скормила холодец за 5 руб., о чём я узнал, придя с автоостановки, найдя окурки и жену пьяной. Кто был курящий, я понял только сегодня утром. Часов в 9, я устанавливал камин, Христиньюшка ещё лежала в постели, к нам постучали. Кто там — спрашиваю я. — Я Ваня! — слышу я ответ. Толь-

2. Цвет подчеркивания соответствует цвету карандаша в рукописи В.В. Щастного.

ко я успел открыть дверь, как Ванька оказался у постели моей жены. Она быстренько одевается и уходит с ним. Когда я покончил с каминном, пошёл выяснять, куда ушла жена. Она оказалась у Шабалиной на улице Шевченко под логом. Вот с кем пропивает мою пенсию моя жена. Этот Ваня — то ли грузчик, то ли шофёр, обещает расколоть дрова. А дрова ещё неизвестно, когда будут с дровяного склада станции Тюмень. Это позор, несчастье и оскорбление для меня.

10 февраля, вторник. Малооблачно. Темп. –13–6 гр. Вчера крепко буранило. Снег, метель, в результате у дома скопилось много снега, который, несмотря на моё плохое состояние, мне пришлось убирать и сбрасывать в огород. Вместо лекарств в порядке лечения пришлось выпить водки с молоком и перцем, в результате сильный кашель успокоился.

Закончено чтение замечательной книги об Октябрьской революции глазами зарубежных участников. Это были венгры, поляки, румыны, немцы, китайцы, австрийцы, словаки, чехи, активно сражавшиеся за власть советов. И всё же пришлось принимать лекарство. Вино не может быть лечебным средством.

13 февраля, пятница. Ясная погода. Темп. 0–3 гр. Болезнь прогрессирует. Ночью и днём продолжался сильный кашель с жёлтым харчком, болит голова в лобной части, шум в ушах. От приёма лекарств толку нет. Христиньюшка мажет мне грудь скипидаром. Температура в 9 час. 37,4, в 14 часов — 37,3.

[Без даты — примечание Л. Боярского]. Коротко о здоровье. Кашель успокоился, харчек тоже. Темп. в 8 час. вечера 36,4, в 24 ч. — 36,2.

16 февраля, понедельник. Ясная погода. Темп. –5–12 гр. В спецполиклинике был на приёме у врача Исламкиной. Она признала у меня грипп и выписала таблетки кодеин-сода-терпингидрат.

20 февраля, пятница. 20–2 гр. Получил пенсию. На свою сберкнижку положил 30 руб., на книжку Христиньюшки 25 руб., уплатил за два месяца за радио один рубль, и купил 2 литра молока за 48 коп. И осталось у меня в кошельке от пенсии три рубля 54 коп.

21 февраля, суббота. Ясная погода. Темп. –20–2 гр. Христиньюшка сегодня подкрепила себя водочкой. День прошёл спокойно.

6 марта, пятница. Ясная погода. Темп. $-15-3$ гр. [имя сына — прим. редактора] пьёт. Сегодня у нас побывала внучка [имя внучки — прим. редактора]. Она рассказала о пьянстве отца. В Ялуторовском отрезвителе он уплатил 25 руб. В Тюменском отрезвителе за отдых уплачено 15 рублей. Дело очень неприятное и губительное.

8 марта, воскресенье. День праздничный, скучный. Приезжала внучка [имя внучки — прим. редактора], а бабушку притащили на руках сын и соседки Шабалиной пьяную бросили на пол в кухне. Это очень прискорбно для меня. По радио слушал радиофестиваль Ленин в нашей жизни. Приём лекарств продолжается, капли корвалол. Температура $37,2$.

14 марта, суббота. Ясная погода. Темп. $-9 + 2$ гр. Подвальная статья об Израиле в газете Тюменская правда 14.3.1970 г. Реакционное нутро сионизма.

25 марта, среда. Облачность с прояснением. Т. $-2+4$ гр. Весна даёт знать о себе. Сегодня пришлось неплохо поработать на водозащите, чтобы не пустить воду в подпол. Вынесено из ограды 60 ведер, вычерпывалась вода банкой с переливом в ведро. В спецполиклинике. Сегодня Христиньюшке назначили вливания в ягодицу от ушной боли. Новое время № 12, 1970 г. Происки империализма в Индокитае. Фашистский закон. Союз монополий и военщины в США.

30 марта, понедельник. Пер. обл. $-2+2$ гр. Проведена беседа с ученицей 5 класса средней школы № 30 [имя девочки — прим. редактора] и даны ей в подарок журналы «Наш современник» за 1969 год. [Подпись девочки — прим. Л. Боярского]. При вручении журналов посоветовал ей завести свой дневник.

А Христиньюшка все эти дни выпивает в тихомолку. Это я выявил сегодня. Обнаружил 2 поллитры из-под водки.

11 апреля, суббота. Сплошная облачность, без существенных осадков, темп. $+2-6$ гр. Сегодня начата весенняя уборка. Вымыты потолки в обеих комнатах и кухне, произведена побелка известкой капитальных стен и русской печи. Побелку произвела Христиньюшка. Сегодня Всесоюзный коммунистический субботник!

17 апреля, пятница. Малооблачно, $-5+1$ гр. Съездил в машиностроительный техникум, чтобы узнать, как учится внучка [имя внучки — прим. редактора]. И вот что узнал — в марте пропустила 32 часа.

За прошлый семестр не сдала экзамен по технологии и не сдала зачёт по строительным конструкциям. Зав. дневным отделением Боровинский А.Я. составил отзыв об успеваемости и задолженности [имя внучки — прим. редактора]. [Переписан в дневник — прим. Л. Боярского]. Данный документ в подлиннике я отправил заказным письмом матери [имя внучки — прим. редактора].

В 16 часов к нам пришла [имя внучки — прим. редактора] и с ней был внушительный разговор о необходимости исправить свои ошибки в учёбе.

18 апреля, суббота. Ясная погода, т. 0+2 гр. Сильная боль в груди. Принимал сахар и запивал водой. От еды отказался из-за тошноты. По пригласительному билету пришлось быть участником торжественного заседания, посвящённого 100-летию со дня рождения Ленина.

22 апреля, среда. Переменная обл. –10–2 гр. Митинг у памятника В.И. Ленина. Открыт памятник тов. Щербиной Б.Е. при участии большого участия трудящихся Тюмени. Сегодняшней знаменательной дате посвящены все газеты СССР. Написал письмо в Калининский райком КПСС об обыске у меня в ночь с 19 на 20 апреля милицией в числе 2 человек с собакой. Пятый день продолжается беспросыпная пьянка Христиньюшки. Это беда и несчастье домашнего быта.

[Пропуск при расшифровке дневника — прим. редактора].

23 июля, четверг. Небольшая обл., +18–30 гр. Пьянка Христиньюшки продолжается. Некоторое время прошло с того времени, когда Христиньюшка решила разводить цыплят. Накупила 23 штуки, из коих к сегодняшнему дню оставались 5 штук, остальные перемерли. Сегодня своих цыплят продали, деньги ушли на водку.

25 июля, суббота. Переменная облачность, дождь. Темп. +15–28 гр. Пять рублей на сберкнижке. Литр красного вина из гастронома № 28. Пьянка Христиньюшки продолжается. Прочитаны записки снайпера Василия Зайцева За Волгой земли для нас не было. В своих записках Зайцев ведёт рассказ о боевых действиях против фашистов за изгнание из Сталинграда.

24 августа, понедельник. Внучка [имя внучки — прим. редактора] выходит замуж. Так сказала она нам, зайдя в гости со своим кавалером [имя жениха внучки — прим. редактора]. Свадьба будет в Голышманово.

2 сентября, среда. Значительная облачность, неб. дождь. +5–16 гр. Внучка [имя внучки — прим. редактора] 29 августа 1970 года вышла замуж за [имя мужа внучки — прим. редактора], 1950 года рождения. После регистрации брака [имя внучки — прим. редактора] присвоена фамилия мужа [фамилия мужа — прим. редактора]. Свидетельство о браке № [номер свидетельства о браке — прим. редактора] от 29.08.1970 г.

12 сентября, суббота. Малооблачно. Т. 8–27 гр. Неприятности продолжаются. Сегодня пьянка Христиньюшки омрачила приход к нам моих братьев. Как на меня, так и на моих братьев очень нерадостно из-за её безцензурных сквернословий. В результате мы с братьями побеседовали в ограде. Соседям Михаилу с Марией на добрую память передано две глубоких и две мелких тарелок.

13 сентября, воскресенье. Малооблачно. Т. +6–29–18 гр. Вчера в 17 часов я с Христиньюшкой пошёл в сберкассу, чтобы снять с книжки 10 рублей, когда вернулись, оказалось, что в доме во всю орёт магнитофон. Внучка со своим муженьком пришли без нас, сорвав замок, ворвались в дом. Вечером они сбросили плитку со стола включенной, в результате чего сломался выключатель. Сегодня пришлось поставить новый выключатель и отремонтировать плитку, на что был приглашен сосед. Работа была оплачена картофелем, по два ведра стоимостью 2 рубля.

14 сентября, понедельник. Малооблачно Темп. +10–23 гр. Письмо сыну. *Здравствуй добрый день дорогой [имя сына — прим. редактора]! С приветом к тебе твой отец и мать. Третий год внучка [имя внучки — прим. редактора] живёт в Тюмени студенткой машиностроительного техникума. Учебу провалила из-за прогулов, вышла замуж за отчисленного из индустриального института [имя мужа — прим. редактора] проживающего по прописке в деревне Плеханово Роцинского сельсовета, военнообязанного, работающего вагоновожатым пассажирских поездов. Жить он должен по месту прописки, а не где придётся. 13 сентября [имя внучки — прим. редактора] пришла к нам в дом со своим [имя мужа — прим. редактора] и этот последний нас совсем обидел. И это не первый случай. Был случай, когда [имя внучки — прим. редактора] сидела на табурете, положив ноги на окно и стучала по столу, грозясь бабушке, что она, а не бабушка является хозяйкой дома. [имя мужа — прим. редактора] курит папиросы по 40 коп. за штуку. Не забывай [имя сына — прим. редактора] твой отец нервно больной, я за себя не ручаюсь.*

23.9. Нас попроведал сын [имя сына — прим. редактора] по моему письму от 14 сентября. Капитально починил проводку, нарушенную [имя внучки — прим. редактора] со своим [имя мужа внучки — прим. редактора]. Хотел остаться до завтра, но уехал в Ялуторовск, обидевшись на мать, за то, что она ударила его своим туфлем по лицу. [Имя сына — прим. редактора] играл на гитаре и пел песни. Я подарил [имя сына — прим. редактора] книгу Ленин с нами. Книга в двух местах о связи Ленина с тюменским подпольем.

2 октября, пятница. Сегодня я был в доме пенсионеров, близко ознакомился со всей обстановкой. Заселение дома будет 10–15 октября.

4 октября, воскресенье. Переменная облачность. –6+3 гр. Попроведал брата Петра с Лидой. Отведал маленько луку свёклы и солёных помидор. Поделились домашне-бытовыми делами о предстоящем заселении в доме пенсионеров, что против меня решила жена Христиньюшка. Мне же ни в коем случае от заселения отказаться невозможно, а то наш парторг товарищ Торчаков Всеволод Яковлевич мне сказал, что комнату в пансионате мне предоставили по решению обкома партии и отказываться нельзя. После ухода моего из дома Христиньюшка купила пол-литра водки. К моему приходу была пьяная. Таковы наши семейные дела.

Сегодня. После вчерашней выпивки Христиньюшка всю ночь не спала и вела очень плохо, допивая свою зубровку. Сегодня весь день лежала в постели. Сегодня же, 5.10.1970 г. начал читать книгу Владимир Ильич Ленин. Биография.

14 октября, среда. Большая облачность, б/с ос. Т. +4–6 гр. За последние дни сырая погода, на улицах грязь. После продажи домашних вещей (1 мал. 3-х литр. чайник и 2 эмалиров. кастрюли проданы соседям за 7 руб.) Христиньюшка продолжает выпивать, а сегодня где-то в пьяном виде вывалялась в грязи, пришла домой в очень неприглядном виде.

15 октября, четверг. А сегодня Христиньюшка сама пошла в гастроном № 29 по хлеб. Куплено: хлеб, виноград полкило и 0,5 л. водки. Вместе с Х. пришла некая старуха, зарекомендовавшая себя дружинницей, много курящей папирасы, с поллитрой красного вина. Обе старухи часа полтора веселились, распевали песенки, потом гостья ушла, а Христиньюшка ещё час сквернословила. Я вынужден побеседовать о своём положении с секретарём нашей партоганизации.

23 октября, пятница. Дождь, +6+15. Капуста изрезана на спецмашине и засолена со всеми вкусовыми пряностями в бочке. Получено письмо от сына [имя сына — прим. редактора], см. вкладку [вклеено письмо — прим. Л. Боярского].

2 ноября, понедельник. Большая облачность. Сегодня, в 20 часов, когда я лежал в постели уже, меня крепко передернуло. К счастью не произошло эпилептического припадка. Да и нервность даёт знать о себе. Письмо работникам сберкассы. *Уважаемые работники сберкассы. Я являюсь вкладчиком вашей сберкассы с 8.8.1951 г. С того дня для меня сберкасса является лучшим другом, и меня можно признать самым частым клиентом по приходу и расходу своих сбережений. Я всегда был и остаюсь доволен хорошей работой всех работниц сберкассы с августа 1951 года. Успехов вам в труде, крепкого здоровья и всего хорошего. Вкладчик В. Щастный.*

7 ноября, суббота. Большая облачность, снег. Темп. 11–7–6 гр. Под знаменем Октября — к победе коммунизма! В Тюм. правде прочитал доклад т-ща Сулова на торжественном заседании, посвященном 43-й годовщине Великой октябрьской социалистической революции. По радио в 12 часов слушал праздничную демонстрацию на Красной площади в честь Великого Октября. Получены праздничные приветствия от Александровой Н.З, Рощевских, Губинской Р.М., сына [имя сына — прим. редактора], брата Петра и брата Виктора, сестры Сони.

9 ноября, понедельник. Большая облачность, снег, метель. Т. –11 гр. Зима вступает в свои права. Продолжает идти снег с метелями, сегодня уже пришлось брать в руки метлу и лопату. Начинается снегоборьба в ограде, прочищены проходы к воротам в огород, сделана завалинка у дома. Итак, началась сибирская зима.

19 ноября, четверг. Ясная погода, темп. –27–17 гр. По-видимому, в последней декаде ноября мы переселимся в дом пенсионеров на ул. Минской, 86, а в нашем домике останется внучка [имя внучки — прим. редактора] с [имя мужа внучки — прим. редактора]. Сегодня выяснилось, что внучка [имя внучки — прим. редактора] работает в Облоно с продолжением учёбы в маш-стр. техникуме.

24 ноября, вторник. Переменная облачность, б/с ос., –4–3 гр. В 17 часов в красном уголке станции Тюмень состоялось партийное собрание коммунистов станции. По рекомендации горкома ВЛКСМ

приняты в кандидаты КПСС тов. Егорова, Муромцева и Сеницын. Избраны делегаты на узловую партконференцию 19 человек. Все делегаты при тайном голосовании избраны единогласно. Письмо сыну. Здравствуйте, [имя сына — прим. редактора] и [имя жены сына — прим. редактора], с приветом к Вам отец и мать. Наше состояние удовлетворительное. Дом решили не продавать, пусть в нем живут на здоровье внучка [имя внучки — прим. редактора] со своим мужем. Окончательно переедут в субботу со своими вещами. Дорогой [имя сына — прим. редактора]! Поскольку наш дом не будет продан и жить в нём будут наши внучата, просим тебя отдать нам сорок рублей. С приветом отец и мать.

25 ноября, среда. Переменная облачность. Т. –7–10 гр. По телефону разговор с сыном. С хладопункта станции Тюмень я вызвал дом связи Ялуторовска и сообщил [имя сына — прим. редактора] о получении путёвок в дом пенсионеров на меня и мать, срок вселения до 1 декабря 1970 года. [имя сына — прим. редактора] обещал приехать на поезде.

26 ноября, четверг. Туман, переменная облачность. Т. 11–12 гр. Прокатился на автобусе в краеведческий музей. Отдал зав. научной библиотекой М.П. Черепановой карточки, заполненные мною на газетные статьи и очерки с памятной запиской, что я приостановил ведение картотеки в виду предстоящего перехода моего в дом пенсионеров. Прочитан журнал «За рубежом» № 45 1970 г. Путь Анджелы Дэвис. Террором, насилием, судебным произволом пытаются власти Америки подавить движение против американской агрессии в Юго-Восточной Азии, задушить всякое проявление инакомыслия.

27 ноября, пятница. Большой снег, метель. Темп. –7–6 гр. Сегодня внук [имя мужа внучки — прим. редактора] на такси в 9 часов отвез меня и Христинюшку в дом интернат. Перевезена вся имеющаяся у меня литература — книги, журналы и газеты. После медпроверки я получил ключи от комнаты № 5 на втором этаже, оборудованной двумя кроватями. После ознакомления с комнатой, Христинюшка с [имя мужа внучки — прим. редактора] уехали домой, а я остался на месте.

28 ноября, суббота. Переменная облачность, Т. –8–6 гр. Второй день в доме интернате. В столовой питание хорошее. Завтрак — яичница, чай, хлеб, масло. Обед — суп мясной, рыба с картофельным пюре, кисель. Ужин — гречневая каша с маслом, кисель, печенье. Сегодня Христинюшка на такси в сопровождении внучки [имя внучки — прим. редактора] переехала окончательно в дом интернат. Привез-

ла подушки, дорожку на пол, часы настольные мои. 50 лет Советской Армии. Смотрел по телевизору выступление тов. Л.И. Брежнева.

16 декабря, среда. На улицах по асфальту гололёд. Т. –28–24 гр. Сегодня ветераны труда прослушали в зале киносеансов лекцию, прочитанную лектором Обкома КПСС о международном положении. А в это же время, Христинюшка сходила в магазин за водкой, выпила и в результате непристойно себя вела во время обеда в столовой, не забывая сквернословить. Сегодняшняя пьянка, бранные бесцензурные слова кончились тем, что директор дома интерната сказал прямо — с завтрашнего дня вас приказом исключают из интерната. В результате сегодня же моя жёнушка уехала в свой дом на ул. Революции, № 14, к внучке [имя внучки — прим. редактора], увезя свои вещи и двое моих брюк на такси. Примечание. Несколько раз ударив меня в минуты расставания, всё же потом поцеловала меня и мы троекратно поцеловали друг друга. Наблюдатели рассмеялись.

1971 год. Часть первая

6 января. Христинюшка приезжала ко мне за деньгами. Денег я ей не дал, в результате чего уехала домой, не забыв проявить своё сверхплохое поведение.

11 января. Вынужден был обратиться к директору интерната тов. Тимохину Семёну Никитичу с просьбой дать приказ по охране, чтобы мою жену Щастную Христину не пропускали в дверь ввиду её крайне плохого и непростительно плохого поведения, как для меня, так и для всех ветеранов труда, живущих в доме-интернате. С.Н. обещал удовлетворить мою просьбу.

12 января. В 10 часов Александра Фёдоровна попросила меня закрыть форточку после проветривания её комнаты. Только я успел закрыть форточку, сообщили, что приехала моя жена. Я отказался от встречи с женой, попросив сказать, что, я уехал в город. После я пришёл в кабинет директора и ещё раз попросил о недопуске моей жены.

13 января. Маленько о погоде. В декабре 1970 — январе 1971 года погода стояла с умеренными морозами и только.

14 января. Мороз перескочил за тридцать. После обеда, сразу после обеда, по приглашению кладовщика переносил посуду — та-

релки, фарфоровые чайники, кастрюли, противни и прочие товары в складочное помещение в подвале дома ветеранов труда. Работа продолжалась один час тридцать минут.

За время пребывания моём в доме ветеранов труда мной получены: комнатные туфли, кальсоны, трусы мужские, две сорочки, носки.

Примечание: костюм шерстяной — см. страницу 8 настоящей тетради.

16 января, суббота. Малооблачно, темп. 29–28–36 гр. Сегодня попроведали меня. Я сидел в кресле и слушал радиопередачи последние известия в 10 часов. Но вот дверь в мою комнату открывается, пришла внучка [имя внучки — прим. редактора] с мужем [имя мужа внучки — прим. редактора], что для меня составило приятное явление. Мы побеседовали полчаса. Дал [имя внучки — прим. редактора] один рубль для покупки мне общей тетради. Она приходила ко мне с письмом бабушки, которое я изорвал. В 13 часов проводил своих гостей, угостив их медовыми конфетами.

17 января, воскресенье. Малооблачно, темп. 33–27 гр. Моя прогулка. Хотя морозная погода, но маловетренная, почему я решил совершить прогулку на ул. Елизарова к брату Виктору после завтрака. Расстояние от дома ветеранов труда, где я живу, до дома Виктора, прошёл за 15 минут. Виктора дома не было. С женой Виктора пили чай, беседовали на житейские темы.

18 января, понедельник. Переменная облачность, неб. снег. Т. –15–7 гр. Политинформация в кинозале. Тов. Еременко прочёл в газете «Правда» за 15 января статью «Уроки кризисного развития в компартии Чехословакии».

[Пропуск при расшифровке дневника — прим. редактора].

19 января, вторник. В 7 часов слушал последние известия по радио. В 7 часов 30 минут встаю, одеваюсь, привожу в порядок свою постель, умываюсь и иду в 15-ю комнату, где живёт друг Мартынов Николай Васильевич. Он больной, слабый, поэтому я его ежедневно проведываю не менее одного раза. У Н.В. я нахожусь до 8 часов 35 минут, напомнив другу, что сейчас принесут ему завтрак, я иду в столовую завтракать. Успев позавтракать раньше меня, ко мне подходит тов. Кочерова Александра Фёдоровна со словами, где Владимир Васильевич был? Я до завтрака был у Н.В., он сидит на своей кровати, обернувшись одеялом, отвечаю я. Мало ли что может случиться

с Вами из-за сильного кашля, отвечает А.Ф. Я благодарю ея за внимание. Подошло время обеда 13 часов. Я помогаю другу подняться с кресла, он чувствует себя слабым, мне его жалко, я, невольно прослезившись, целую друга и веду его в свою комнату. Вот как получается настоящая человеческая взаимосвязь дружеская. Как непохожа в последние годы моя семейная жизнь с Христинюшкой из-за ея любви к пьянке с сыном [имя сына — прим. редактора]. Однажды он сказал мне: «Давай мне, отец, сорок рублей, [имена внуков В.В. Щастного — прим. редактора] проводить в Ригу». Делать нечего пришлось дать — пусть учатся внуки в лётном училище.

Примечание. Сын [имя сына — прим. редактора] по образованию техник-связист, получает 120 рублей зарплаты, коммунист. Жена его [имя жены сына — прим. редактора] с зарплатой соответственной учительской работе. Да, я счастлив и благодарен советскому правительству за возможность пенсионерам отдыхать и спокойно жить в домах интернатах.

21 января, четверг. Внучка [имя внучки — прим. редактора] выполнила мою просьбу. Переменная облачность, темп. –3–8 гр. Товарищ Кочетков Дмитрий Ильич сегодня попроведал по-дружески, по-коммунистически, по-товарищески тов. Мартынова Николая Васильевича, а затем зашёл ко мне. Беседовали минут 30. Я познакомил друга с содержанием писем от моей сестры Сони и с моим письмом Соне [эти и другие письма переписаны полностью, письма от родных вклеены в дневник — прим. Л.Боярского]. Сегодня внучка в 19 часов 30 минут привезла мне три общие тетради по 48 листов стоимость по 14 копеек. Спасибо. Щастный [подпись — прим. Л. Боярского].

22 января, пятница. Переменная облачность, темп. –5–0–2 гр. Врач Чернова Валентина Александровна выписала мне капли, 5 раз на спину накладывать горчичники и вливание лекарств путём уколов в вену рук.

23 января, суббота. Значительная облачность, темп. –4–3 гр. После завтрака на автобусе прокатился до музея и передал книги зав. научной библиотекой тов. Черепановой Марии Петровне. Книги от меня приняты с благодарностью. После в беседе с Марией Петровной и Долгушиной Анной Андреевной я рассказал им о своём жизненном пути за последние два месяца.

25 января, понедельник. Сделал подписку на журналы 1971 года.

1. Проблемы мира и социализма.
2. Агитатор ЦК КПСС.

Получена пижама от сестры-хозяйки Мамаевой Зои Григорьевны.

27 января, среда. Облачность с прояснениями. Темп. –8–2 гр. В порядке очереди дежурил в вестибюле у входных дверей. В порядке взаимопомощи тов. Быковой А.Ю., больной, комната № 19, помог получить посылку с почт. отд. 27. Оформление документально произведено в комнате Быковой, чему она осталась довольна по отношению ко мне и работникам почты.

28 января, четверг. Темп. –1–0 гр. Получены перчатки и шёлковая рубаха от сестры-хозяйки. Стоимость рубахи 4 р. 05 коп.

31 января, воскресенье. Малооблачно. Темп. –12–5–7 гр. В третий раз пришли ко мне брат Виктор с Милитиной. Они угостили меня помидорами. Маленько побеседовали. Они довольны моим решением остаться в доме ветеранов труда.

1 февраля, понедельник. Туман. Памятная записка врачу Черно-вой В.А. У нас в доме-интернате живёт много людей с плохим состоянием зубов, в результате чего плохо пережёвывается, переваривается в желудке пища. Просьба обратить Ваше внимание на приготовление мясных блюд из языков и сердец, кои надо пропускать через мясорубку. По-моему это мероприятие позволит полностью использовать мясные блюда. Щастный.

Примечание. 31 января к ужину было подано блюдо — мясо, пропущенное через машинку, но недостаточно прожаренное, в результате кое-кто проносили. Получилось и со мной в первый раз с 27 ноября — даты моего появления в доме.

Дружеская помощь. Сегодня 1 февраля я заходил к больному другу Мартынову Н.В. и находил его спящим. Прихожу в четвёртый раз и нахожу его лежащим на полу головой к окну. Тут же лежит поваленный стул. Я приглашаю из 14 комнаты Константинова Т.К. и мы вдвоём поднимаем Н.В. на кровать. Я укрываю друга его пальто. На мой вопрос, долго ли он лежал на полу, Н.В. отвечает: часа два. Да, плохо у моего друга со здоровьем, плохо.

8 февраля, понедельник. Перем обл неб снег т–13–7–12 гр. [Пропуск при расшифровке части текста дневника — прим. редактора] Мартынов Н.В. сегодня из больницы привезён домой и помещён в свою комнату.

Примечание. Мартынов был в больнице на ул. Щорса.

15 февраля, понедельник. Значит обл снег метель т–20–12–14 гр. Политинформация. Потехин С.Н. информировал нас после завтрака в кинозале о международном положении, о подписании договора о запрещении размещения на дне морей и океанов ядерного оружия. Об успешном полёте на Луну космонавтов С. Руса, А. Шепарда, Э. Митчелл. Астронавты вернулись на землю 10.2.1971 г.

16 февраля, вторник. Переменная облачность метель т–25–15–17. В Лаосе сбито 89 самолётов и вертолётов США. Выведено из строя более 1500 солдат, уничтожено более 50 танков и других машин.

19 февраля, пятница. Ясная погода, темп. –28–18–22 гр. В первый раз прогулка по корридору после возвращения из больницы Мартынова Н.В. С помощью меня сегодня сделали прогулку. Трижды прошлись. Для общего ознакомления прочитана статья В. Большакова «Антисоветизм — профессия сионистов». Возмутительно, что в правительственных кругах США, Бельгии и других стран орудуют сионистские штурмовики.

20 февраля, суббота. Облачность. Темп. –22–14–16 гр. В первый раз в жизни в троллейбусе прокатился в аптеку на улице Ленина за таблетками от головной боли для Александры Фёдоровны Кочеровой. Стоял вахтёром в вестибюле с 14 до 18 часов. В порядке громкой читки прочитан журнал «Звезда». По просьбе тов. Кочеровой А.Ф. сходил в гастроном, купил колбасы 200 гр. И конфет 200 гр. Всего 96 коп.

22 февраля, понедельник. Переменная облачность, темп. 29 гр. На нервной почве ночью меня два раза передёрнуло. Явился зуд по коже, в результате чего пришлось намазывать мазью руки и поясницу.

3 марта, среда. Ясная погода. Темп. –36–34–22 гр. Здоровье друга Мартынова улучшается.

Постепенно здоровье Николая Васильевича улучшается. Он понемногу начинает ходить с тростью без посторонней помощи, а сегодня он решил постричься. Сегодня среда — день работы парикмахера. И вот мы с моим другом потихоньку спускаемся по лестнице со второго этажа на первый, подходим к парикмахеру, который производит стрижку волос моего друга, освежает его одеколоном и мы потихоньку, поблагодарив товарищей за пропуск нас без очереди, поднимаемся на второй этаж, заходим в комнату.

Итак, всё в порядке, я и Николай Васильевич довольны.

5 марта, пятница. Переменная облачность. Темп. 25–9–11 гр. На нервной почве зачесалась кожа, днём зуда уже не было.

6 марта, суббота. Ясная погода, темпер –25–8–13 гр. Сегодня по состоянию своего здоровья я не смог быть участником XIV-й областной партконференции. Делегаты заслушали доклад второго секретаря Г.П. Богомякова о проекте директив по пятилетнему развитию народного хозяйства СССР.

[Пропуск при расшифровке дневника — прим. редактора].

8 марта, понедельник. Облачность, темп –16–7 гр. Счастливо и жизнерадостно встретили свой праздник женщины, живущие в доме ветеранов труда, проводя свою старость в радость с большой благодарностью коммунистической партии и советскому правительству за свою заботу о людях, имеющих за своими плечами большой трудный путь. Я приветствовал всех женщин от имени себя. Сегодня была моей гостьей и жена Христинюшка. Она привезла мне фуражку. Я после завтрака проводил её домой на автобусе № 15 — кольцо и привёз свою чайную ложку.

9 марта, вторник. Ясная погода. Темп 17–8–10 гр. По газете «Правда» о событиях в Индокитае. Пираты США В 1970-м году по различным данным в 29 провинциях Вьетнама уничтожили ядохимикатами 71500 гектаров земли, 27500 мирных жителей. Патриотами сбито 253 вертолёт и самолёт, выведено из строя 5600 солдат противника. Потоплены 4 судна, захвачено большое количество военного оружия.

10 марта, среда. Со здоровьем неважно. Ночью и днём сильно колотило ноги. В первый раз за время моего пребывания в доме ветеранов труда, я не съел полностью второе блюдо — мясную котлету. Продолжается кашель.

15 марта, понедельник. Облачно с прояснениями. Темп –6–4–6 гр. Сегодня по заданию доктора исторических наук Павла Ивановича Рощевского у меня были студенты 2 курса группы Б пединститута Шорохова Галина Петровна и Терентьева Анна Александровна. Студентки сделали со слов моих записи о моём детстве, учёбе в 2-х классном училище, о моей жизнедеятельности до 20-х годов, партработе, корреспондентской работе. Я отдал свою памятную книжку моих записей в период охраны магазина гастронома № 29.

[Пропуск при расшифровке дневника — прим. редактора].

16 марта, вторник. Облачно с прояснениями. Темп 6–4–6 гр. Со склада сестры-хозяйки получены кепи мужская серая цена 3 р. 40 коп., ботинки утеплённые кожаные.

19 марта, пятница. Малооблачно. Темп. –4–0–2 гр. Слушал по радио из Москвы в 23 ч. Моск. вр. песни парижской коммуны. Песни исполнялись на французском языке с пояснениями на русском языке.

22 марта, понедельник. Малооблачно, темп. 1+2 гр. [Пропуск при расшифровке части текста дневника — прим. редактора]. Христинюшка попровела меня. В 8 часов 22 марта она привезла мне носки хлопчатобумажные без резинок и брусничного варенья 500 гр. Я дал Христинюшке 3 рубля и печенья 500 гр.

27 марта, суббота. Малооблачно. Темп. 11–0–2 гр. Концерт школьников 37 школы г. Тюмени состоялся сегодня в кинозале нашего интерната ветеранов труда в 11 часов. Обеспечиваемые остались очень довольны и горячо аплодировали учащейся молодёжи. Моя прогулка. Пользуясь хорошей погодой, сделал прогулку на улицу Елизарова к братцу Виктору.

1971 год. Часть вторая.

13 июня, воскресенье. Перем. обл. Тем. 18. Сегодня все на выборы. Сегодня у нас в библиотеке дома интерната ветеранов труда, как и во всех избирательных участках Тюменской области, состоялись выборы депутатов Российской Федерации. Все обеспечиваемые дома-интерната дружно отдали свои голоса за победу блока коммунистов и беспартийных. Полёт станции «Салют» продолжается. Самочувствие хорошее, сообщает замминистра здравоохранения СССР. Важно установить, как реагирует организм человека на различные неблагоприятные космические факторы. Прокатились на автобусе. Я, Новосёлов Агапий Алексеевич с женой Анной Ивановной после обеда решили посмотреть зоопарк передвижной на пароходе «Роза Люксембург», стоящий на реке Туре вблизи от музея краеведческого. В этом плавучем зоопарке есть порядочно разных птиц и зверей. Желающих познакомиться с зоопарком очень много, взрослых и детей, молодёжи и пожилых людей. Стоимость билетов 40 коп. Подход к пароходу очень неудобный, но это не мешает смотреть на зверей.

14 июня, понедельник. Переменная облачность. Темп. +15+26 гр. Приятные новости для меня и друга. Полёт станции «Салют» продолжается. Космическая генетика в полёте. К тайнам галактики. Репортаж из центра управления полётами спецкора «Правды». 100 витков Салюта вокруг Земли. Мимо, не везёт. Проверены мои лотерейные билеты 3-го выпуска денежно-вещевой лотереи 1971 г. РСФСР номера серий 16771 16795 и 19900. Не попавшие в число счастливых. Ну и что — пусть будет так. Я с этим согласен. В. Щастный.

17 июня, четверг. Переменная облачность. Темп. +20+30 гр. В спецполиклинике был на приёме у глазного врача Урванцевой Эммы Карповны. Выписаны лекарства: глазные капли йодистый калий в оба глаза, в течении месяца. Приятные новости для меня и друга. Правда 16 июня. Полёт станции «Салют» продолжается. Вахта в космосе. Эксперименты продолжаются. Опубликованы секретные документы Пентагона. Сенатор Макговерн: раскрывается история невероятно-го обмана, переполох в официальных кругах Вашингтона. Это для меня печально. Врач Урванцева выписала рецепт на глазные капли. Это хорошо. Но вот что меня опечалило. Она вычеркнула в рецепте слова «персональный пенсионер республиканского значения». Ник как не могу понять, что творится вокруг меня?

22 июня, вторник. Значительная облачность. Темп. +18+24 гр. Начинаем прогулки с другом Мартыновым. С сегодняшнего дня Николай Васильевич будет делать прогулки под моим наблюдением. Чтение газет продолжается. Снежный ком разоблачений. Телеграммы из Оттавы, Нью-Йорка и Вашингтона. Новые разоблачающие документы.

25 июня, пятница. Переменная облачность. Темп. +16+25 гр. Вчера и сегодня прогулка друга Мартынова не состоялась. Его слабое самочувствие. Но его ознакомление с газетой «Правда» продолжается. Сенат потребовал вывести войска США из Индокитая в течении девяти месяцев. Эдвард Кеннеди обвинил администрацию в обмане.

26 июня, суббота. Переменная облачность. Темп. +14+26 гр. Сфотографировались. Сегодня к 18 часам ко мне приехала на автобусе Христинюшка и после завтрака мы сделали прогулку на ул. Мельникайте в надежде найти фотосалон комбината Бытового обслуживания, где и фотографировались на фото. Уплочено за 4 штуки два рубля 80 коп. Квитанция № 437612. Салют в полёте. Самочувствие космонавтов хорошее. Сегодня друг Мартынов опять не смог пойти на прогулке по корридору. Кое-как раза два прошёл по своей комнате. Это печально для меня.

30 июня, среда. Большая облачность, без существенных осадков. Т. +13+21 гр. Научная станция «Салют» продолжает полёт. Соперничая с солнцем. Спецкор «Правды» о том, как работают сейчас сибирские нефтяники, о новых направлениях в развитии нефтедобычи в Тюменской области. То, чего опасался Белый дом, случилось. Бушующий скандал в правящих кругах Америки. Стало очевидно, что история с пентагоновскими бумагами во многом изменит положение вещей в Вашингтоне. Букет цветов. Вечером в 21 час мною получен букет цветов живых от девочек 17 средней школы.

2 июля, пятница. Ясная погода. Темп. +12+21 гр. [В траурной рамке — прим. Л. Боярского]. Вчера после завершения программы полёта пилотируемой орбитальной станции «Салют» при возвращении на землю погибли командир экипажа «Союз» Г.Т. Добровольский, бортинженер В.Н. Волков, инженер-испытатель В.И. Пацаев.

[Пропуск при расшифровке дневника — прим. редактора].

2 сентября, четверг. Ясная погода, т. +9+22 гр. Кинокартина «Юность Максима» сегодня просмотрена в кинозале обеспечиваемыми. Первый банный день сегодня у нас после полуторамесячного перерыва, по случаю отсутствия горячей воды в виду бывшего ремонта на ТЭЦ. Кошмары Америки. О преступности в Соединённых штатах, статья Новое время, № 35. Ещё у нас не хватает санитаров. В результате нет ночных дежурств как таковых, а поэтому я взял на себя обязанность с прошлой ночи следить за своим другом Мартыновым Н.В. в результате его болезни. Ночью ключ от его комнаты у меня.

4 сентября, суббота. Туман, дождь. +12+23 гр. Головная боль у меня и у моего друга Мартынова Н.В.

16 сентября, среда. Ясная погода. Темп. +11+24 гр. Самочувствие плохое. Слушал по радио — Доллар и американский фашизм.

20 сентября, понедельник. Пер облачность. Темп. +8+22 гр. Заполнил талоны пенсионных книжек на получение пенсии за сентябрь месяц себе и Нечаевой Ф.И., Спасенниковой А.Д., Мартынову Н.В. Для последнего по доверенности я получаю пенсию постоянно. Спасенникову сопровождал пешком в гастроном и обратно, где она покупала продукты: копчёную рыбу, конфеты, печенье, чай, мыло. После обеда прокатился на автобусе.

21 сентября, вторник. Ночью дождь, днём переменная облачность. Т. +8+17 гр. Кочакову А.Ф. проводил пешком — на автобусе — пешком к ея племяннице Барш ул. Володарского 58 кв. 17. Прочитана замечательная книжка С.Ю. Багоцкий «О встречах с Лениным в Польше и Швейцарии». Это всестороннее освещение многогранной деятельности В.И. Ленина в предреволюционный период.

23 сентября, четверг. Пер обл дождь темп +10+19 гр. Внуки [имена внуков — прим. редактора] зашли ко мне. Они сегодня на самолёте в 16 часов улетели в Ригу, где будут продолжать учёбу в авиационном училище. Я пожелал внукам стараться учиться хорошо и отлично, внимательно выполнять задания на практике. Со здоровьем у меня не ладно, боль в горле и груди, пришлось отказаться от обеда, на ужин только выпил стакан молока.

За 26 сентября. Письмо сыну [имя сына — прим. редактора]. *Здравствуйте, дорогие мои. С приветом к Вам отец. Какие предприняты меры в отношении вашей дочери [имя внучки — прим. редактора] с ея мужем, о чём я просил вас в своём письме от 22 сентября? Сегодня бабушка приехала, говорила — издевательства продолжаются со стороны внучки и ея мужа. Выдумывают новые словечки. «Бабушка-фашистка». Кто дал право давить бабушку-старушку и ругать ея нецензурными словами. Стыд, позор, жестокость. Требую немедленно убрать свою дочь с ея мужем от бабушки. С этого дня не считаю [имя внучки — прим. редактора] своей внучкой, пока со стороны их не получилась [нрзб] новая бесчеловечность. С приветом Щастный.*

27 сентября, понедельник. Малооблачно. Темп. +4+16 гр. Сын [имя сына — прим. редактора] был у меня. По словам [имя сына — прим. редактора], бабушку никто не давил, а просто однажды она была связана на кровати из-за ея буйства в нетрезвом виде. Моё письмо от 22 сентября получено, письмо от 26 сентября я посоветовал по получению уничтожить.

3 октября, воскресенье. Облачно с прояснениями. +1+7 гр. Сегодня у меня была жена Христинюшка. Я отдал восемь рублей, старые валенки и шерстяной пиджак и проводил ея на автоостановку. К моему возврату домой ко мне пришла тётя Регина. Она принесла мне вишнёвого варенья, винограду и дала мне пару хороших яблок. Встреча была приятной, хоть и не длительной со стороны домашнебытовых условий тёти Регины. Ей исполнилось уже 77 лет. Закончено чтение выступления А.А. Громыко на пленарном заседании 26 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

8 октября, пятница. Переменная облачность. Промыты и законпачены окна. Наш дом ветеранов Труда готовится к встрече зимы.

10 октября, воскресенье. Большая облачность, дождь. –2+6 гр. Моя тихая прогулка совершена по ул. Максима Горького в 10 часов к племяннику [имя племянника – прим. редактора]. [Имя племянника – прим. редактора] мне отдал электрочайник, отремонтированный им. [Пропуск при расшифровке части текста дневника – прим. редактора]. [Имя племянника – прим. редактора] мне дал банку варенья малинового, за что я поблагодарил его и его жену [имя жены племянника – прим. редактора]. Домой вернулся к 13 часам.

18 октября, понедельник. Облачно, дождь. –2+6 гр. Это для меня не радостно. Ночью при выходе из туалета я упал и падал ещё два или три раза. На кровать залез и скоро уснул. При падении разбил голову до крови. Приём лекарств нормальное. Сегодня ничего не читал.

19 октября, вторник. Ясная погода. Темп. 0 гр. Самочувствие плохое. Приём лекарств нормальное. По телефону вызывали в горком КПСС. По состоянию своего здоровья поехать не смог.

21 октября, четверг. Дождь. Темп. –1+5 гр. Христинюшка попроведала меня. Спасибо. Я дал ей 10 рублей от своей пенсии и наручные часы, списанные по акту.

26 октября, вторник. Большая облачность. Христинюшка попроведала меня. Была у меня с 9 до 14 часов. Отдал ей списанные по акту старые туфли, белую рубаху. Мимо. Лотерейные билеты [серии, номера – прим. Л. Боярского] оказались несчастливymi.

28 октября, четверг. Снег. Тем. –8–6 гр. Вчера на улице была грязь, а сегодня настоящий зимний день. Прочитан доклад Помпиду. Пользуясь морозной погодой, сделал прогулку к новому месту жительства брата Петра.

30 октября, суббота. Облачно с прояснениями. Сын [имя сына – прим. редактора] попроведал меня. Дружелюбие, радушие, сердечность. У телевизора. Сегодня последний день дружественного визита Л.И. Брежнева во Францию. Я и Мартынов Н.В. смотрели передачу по телевизору.

5 ноября, пятница. В медпункте. Был на приёме у врача Валентины Александровны. Получены лекарства таблетки витамин ц с глюкозой, банки на спину через день, мочегонные уколы в ягодичы 5 раз. Франция приветствует визит Л.И. Брежнева. Ветер перемен на Ист-Ривер. За свободу чехов и словаков. А.Н. Косыгин в Канаде. Тучи над Индостаном. Валютный кризис и третий мир.

7 ноября, воскресенье. Снег. Темп. 0–2 гр. Всенародный праздник Великого Октября.

У динамика слушал передачи о празднике трудящихся в Москве. Получены поздравления от Обкома КПСС, тюменского горкома КПСС, райкома КПСС, брата Виктора, сына [имя сына — прим. редактора], тётушки Регины, Губинской Р.М., Александровой Н.З., Носова Д.И., Филимоновой Е., внуков из Риги.

11 ноября, четверг. Перем. облач. Темп. +2+4 гр. Моё состояние здоровья неладное. Очень зудится кожа на руках и пояснице на нервной почве. Врач Валентина Александровна, осмотрев на моих руках красноту, выписала лекарство — болтушка на зудящие места и микстура Павлова [рецепт вклеен — прим. Л. Боярского].

18 ноября, четверг. Малооблачно. Темп. –6–2 гр. Приём лекарств продолжается и смазывание зудящих мест болтушкой.

23 ноября, вторник. Малооблачно. В четвёртый раз студентка пединститута Терентьева А.А. посетила меня. Сегодня она провела беседу с Кочаковой А.Ф. по сбору воспоминаний для будущих поколений. [Далее в рамке — прим. Л. Боярского]. Здоровье Косаткина Михаила Кирсановича очень плохое. Другу приходится оказывать ему посильную помощь. Сегодня Мише я дал сахару и печенья. Он отдал мне имеющихся денег 10 рублей и мелочью 1 руб. 22 коп. Друг Миша просил, чтобы я чаще заглядывал к нему и побольше находился при нём. Я очень рад хоть чем-нибудь помочь ему.

26 ноября, пятница. Ясная погода. Темп. –4–3 гр. Сегодня друга Косаткина попровела его родственница Ульяна из Велижанского района. Это хорошо. Письмо сыну [имя сына — прим. редактора]. *Просьба купить для меня отрывной календарь-справочник. Когда будешь по служебным делам в Тюмени, зайди ко мне для беседы на домашне-бытовые темы. Щастный.* Журнал «Новое время», № 47 1971 г. В номере: На дальних подступах к Белому дому. Борьба с невидимым врагом — микробами.

2 декабря, четверг. Переменная облачность. Т. –4–3 гр. В кинозале просмотрена картина «Егор Булычёв и другие». Косаткин М.К. сегодня лежит в постели спокойно. ~~Косаткина Ульяна Алексеевна сегодня не была.~~ [Здесь и далее любые упоминания о Косаткиной У.А. вымараны — прим. Л. Боярского].

6 декабря, понедельник. Большая облачность. Т. –6–3 гр. Косаткина Ульяна Алексеевна хотела сегодня остаться при Мише в ночное время, но всё же вечером ушла во свояси.

Уплочены партийные взносы за себя и друга Косаткина М.К. Слушал по телевизору и смотрел выступление Л.И. Брежнева на съезде ПОРП. Сделана перевязка ног бальзамовой мазью.

7 декабря, вторник. Облачно с прояснениями. Т. –8+5 гр. Наконец друг Михаил Кирсанович Косаткин отмучился. Болезнь рака привела его к преждевременной смерти сегодня в 15 часов 50 минут, а через два часа его отвезли в морг.

19 декабря, воскресенье. Ясная погода. Темп. –22–19 гр. В нашем доме несколько человек заболели вирусным гриппом. Врачём Черновой со вчерашнего дня объявлен карантин и обеспечиваемым объявлены меры предосторожности. От заболевания каждый день в столовой будет даваться к обеду чеснок, как средство от заболевания гриппом. Тираж 7 выпуска ДВЛ 1971 г. Мимо счастливых билетов. Всего из всех приобретённых мной в 1971 году билетов выиграл 1 рубль. А что скажет 1972 год, узнаем. Приобретены лотерейные билеты за №№ серий 40248, 40249, 40250.

21 декабря, вторник. Облачность, небольшой снег. Т–4–5 гр. Друг Мартынов Николай Васильевич сегодня, наконец, после длительного перерыва решил пройтись по корридору с моим сопровождением в 11 часов дня. На этой прогулке пришлось сделать три остановки для отдыха друга. Я прополоскал его плевательницу, налил свежей воды в плевательницу друга. Пробыл вместе с другом до 20 часов.

24 декабря, пятница. Снег. Инспектор дома интерната ветеранов труда т-щ Тимохин Семён Никитич и врач Чернова Валентина Александровна сообщили обеспечиваемым, что в честь нового года в столовой будет поставлена ёлка для обеспечиваемых. Это хорошо или нет, сказать трудно. Не будет ли опасным делом ёлка у нас в доме в противопожарном отношении?

29 декабря, среда. Снег. –30–18 гр. Сегодня в 18 часов друг Мартынов Н.В. сделал прогулку по корридору. «Новое время». Журнал, № 52 1971 года. Девальвация доллара. Прозрение Дэниела Эллсберга. Лечение от экземы продолжается.

31 декабря, пятница. Ясная погода. Темп. –33–25 гр. Последний день проходящего 1971 года в нашем доме ветеранов труда прошёл довольно оживлённо. В столовой во время ужина горела ёлка разноцветными электролампочками и среди обеспечиваемых чувствовалось приятное настроение. А после ужина люди с хорошим состоянием здоровья группировались для встречи нового года с закусками и конечно же, вином, после распевали песни. Другие слушали радиопередачи, как я с Николаем Васильевичем.

МОНСТРЫ И МАРГИНАЛЫ ПИСЬМА, А ТАКЖЕ ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ — ЧИТАЯ ДНЕВНИКИ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЩАСТНОГО

Степан Попов

УДК: 82–95.

Ключевые слова:
маргинальный автор,
маргинальная литература,
советский дневник,
позднесоветская эпоха,
рабкоры, критическая теория,
история литературы.

Аннотация

Перед этим эссе стоит всего одна задача — сделать попытку адекватно прочитать публикуемые материалы Владимира Васильевича Щастного, а также кратко обрисовать те историко-литературные сюжеты и социально-политические контексты, которые можно счесть наиболее актуальными для него как автора (или — наиболее релевантными для опыта чтения его «странного» типа письма). Помимо этого, в эссе представлен обзор некоторых подходов к изучению культурной маргинальности, разработанных в границах критической теории второй половины XX века.

Monsters and marginals of literature and where they come from – reading the diaries of V.V. Schastny

Stepan Popov

Keywords:
Marginal Author, Marginal Literature,
Soviet Diary, Late Soviet Era,
Rabkors, Critical Theory,
History of Literature.

Abstract

This essay has only one purpose – to make an attempt to adequately read the published materials of V.V. Schastny and to outline the cultural, social and political contexts relevant to him as an author (or – relevant for experience of reading his «strange» texts). In addition, the essay provides an overview of some of the approaches to the study of cultural marginality developed within the framework of the critical theory of the second half of the 20th century.

Стиль письма пенсионера Владимира Васильевича Щастного следует определить даже не столько как «странный» или «неестественный», сколько как — и это, по всей видимости, будет наиболее справедливая и точная оценка, — **монструозный**.

Часто Щастный значительно удлинняет фразу, использует для описания стандартных бытовых ситуаций слишком много слов, по сути дела — проясняет и без того очевидные, обычно не проговариваемые детали и подробности: «Во второй половине дня ездил в баню на улице Ленина. Когда я уже помылся и ополоснулся холодной водой, я отдал свое мыло незнакомому мне мужчине *по его просьбе* [здесь и далее, если это не оговорено отдельно, курсив мой — прим. С.П.]» [Боярский 2019а]. Или: «Сегодня пришлось неплохо поработать на водозащите, чтобы не пустить воду в подпол. Вынесено из ограды 60 ведер, *вычерпывалась вода банкой с переливом в ведро*» [Боярский 2019а]. Такими необязательными, ненужными уточнениями переполнены тексты Щастного.

В особенности — записи о медицинских процедурах¹, которые делаются пишущему: «В 10 часов посещала медсестра. Она сделала мне вливание пенецелина *в правую ягодицу*... <...> В 22–30 еще раз приходила медсестра произвести вливание пенецелина *в ягодицу левой ноги*» [Боярский 2019а]; «Врач выписала мне... вливание лекарств *путем уколов в вену рук*» [Боярский 2019b] и т.д.

Выполняя, на формальном уровне, свою коммуникативную задачу, — давая изложение произошедших с пишущим событий, фактически, хронику его повседневной жизни, — письмо Щастного, тем не менее, оказывается избыточным. Иногда текст даже становится автопародийным: «Счастливо и жизнерадостно встретили свой праздник женщины, живущие в доме ветеранов труда... <...> *Я приветствовал всех женщин от имени себя*» [Боярский 2019b].

Отдельные выражения, встречающиеся в записях Щастного, также невозможно охарактеризовать иначе, как **монструозные**. К примеру: «Христинюшка [жена В. Щастного — прим. С.П.] приезжала ко мне за деньгами. Денег я ей не дал, в результате чего уехала домой, *не забыв проявить свое сверхплохое поведение*» [Боярский 2019b].

1. Следует отметить, что Щастный преимущественно фиксирует именно инвазивные процедуры, то есть — связанные с прямым вторжением в тело пациента. Понятно, почему рассказ о сделанных ему инъекциях Щастный ведет не от первого лица, используя вместо этого пассивный залог («сделала мне вливание»): это единственно возможный здесь способ описания. Любопытно, однако, что к повествованию в пассивном залоге в целом пишущий, без какой-либо особенной мотивировки (и вне контекста медикалистского дискурса), в своих записях обращается весьма часто. О возможной функции и значении чего — будет отдельно сказано далее.

Еще: «Я помогаю другу подняться с кресла, он чувствует себя слабым, мне его жалко, я, невольно прослезившись, целую друга и веду его в свою комнату. *Вот как получается настоящая человеческая взаимосвязь дружеская*» [Боярский 2019b].

Образцы «монструозной» речи можно обнаружить и в личных письмах Щастного, копии которых тот прикладывает к своему дневнику: «Просьба купить для меня отрывной календарь-справочник. Когда будешь по служебным делам в Тюмени, *зайди ко мне для беседы на домашне-бытовые темы*» [Боярский 2019с]. Или в более формальных записках, которые он посылает врачам дома-интерната (и которые также помещает в тексте дневника): «Просьба обратить Ваше внимание на приготовление мясных блюд из языков и сердец, кои надо пропускать через мясорубку. *По моему это мероприятие позволит полностью использовать мясные блюда*» [Боярский 2019b].

Это обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о том, что пишущий опознает собственную манеру письма как легитимную: *последняя перестает действовать исключительно в границах интимного жанра, перестает функционировать как «язык для себя» — и используется уже для социальной коммуникации.* Дополнительным аргументом тому может послужить следующий эпизод из его записей: «Проведена беседа с ученицей 5 класса средней школы № 30 [имя ученицы — прим. С.П.] и даны ей в подарок журналы “Наш современник” за 1969 год... <...> При вручении журналов посоветовал ей завести свой дневник» [Боярский 2019a]. Легко предположить, что за советом завести дневник последовали и инструкции по способу его ведения и заполнения.²

2. По крайней мере, в той культуре, в которой воспитывался Щастный и в которой он формировался как пишущий, руководства по ведению личных дневников, безусловно, существовали, оказывали определенное влияние на их авторов и играли важную идеологическую и культурную роль. О чем более подробно может рассказать, например, Йохен Хелльбек: «...судя по “книжке красноармейца” периода Гражданской войны, по крайней мере некоторые революционные активисты пытались использовать дневник в целях политического воспитания. <...> ...предписание вести дневник вполне соответствовало общей стратегии Красной армии, направленной на ликвидацию политической неграмотности бойцов и выработку в них чувства сопричастности борьбе, имеющей всемирно-историческое значение» [Хелльбек 2017: 58]; «...существуют некоторые свидетельства того, что еще в 1920-е годы ведение дневников использовалось в советских школах как педагогический инструмент — не только для совершенствования речевой выразительности, но и как средство саморазвития...» [Хелльбек 2017: 62]; «...помимо включения их авторов в советский проект, ведение дневников имело и общественную цель. Дневники и воспоминания должны были обсуждаться в рабочих бригадах и публиковаться в стенгазетах, чтобы воспитывать и мобилизовывать отстающих членов коллектива» [Хелльбек 2017: 66]. В связи с проблематикой советских дневников см. также книгу Ирины Паперно: [Паперно 2009].

Вообще же, высокая социальная активность Щастного, — и в частности, его попытки распространить личные практики на других, сделать их предметом общего интереса и, самое главное, использования, — составляет специальную, обособленную проблему; и о которой, возможно, следует сказать отдельно.

Помимо этого, в **монструозном** стиле Щастного можно выделить еще одну особенность (уже, впрочем, отмеченную выше): пишущий очень часто, — и что характерно, немотивированно, фактически, в качестве негласного правила, — использует пассивный залог вместо активного и оказывается, таким образом, субъектом без действия, без какой-либо выраженной агентности.

Такой модус письма Щастный использует при описании повседневных и досуговых практик: «Вместо лекарств в порядке лечения *пришлось выпить водки с молоком и перцем*, в результате сильный кашель успокоился. *Закончено чтение замечательной книги* об Октябрьской революции глазами зарубежных участников...» [Боярский 2019a]; своих дел по хозяйству: «*Вымыты потолки* в обеих комнатах и кухне, *произведена побелка известкой* капитальных стен и русской печи. *Побелку произвела [sic!] Христиньюшка*» [Боярский 2019a]; и даже актов социального взаимодействия: «В первый раз прогулка по коридору после возвращения из больницы Мартынова Н.В. *С помощью меня сегодня сделали прогулку [sic!]*. Трижды прошлись» [Боярский 2019b].

Грамматическое здесь, однако, лишь иллюстрирует концептуальное: сознательная элиминация присутствия субъектности в письме отражает и сознательную элиминацию присутствия субъекта в самом же пишущем.

Так, в своих записях Щастный почти что не производит персональных оценок происходящих с ним событий. Если что-то он и фиксирует, то лишь собственные эмоциональные состояния, редкие аффекты, возникающее по тем или иным поводам, — чаще, безусловно, неприятным: «Только я успел открыть дверь, как Ванька оказался у постели моей жены. Она быстренько одевается и уходит с ним... Вот с кем пропивает мою пенсию моя жена... <...> *Это позор, несчастье и оскорбление для меня*» [Боярский 2019a]. Но иногда и более радостным: «Но вот дверь в мою комнату открывается, пришла внучка [имя внучки — прим. С.П.] с мужем [имя мужа внучки — прим. С.П.], что *для меня составило приятное явление*» [Боярский 2019b].

Остается, тем не менее, не вполне понятно, как читать, понимать и интерпретировать Щастного. **Маргинал** по происхождению и сложившейся биографической траектории (о чем дает достаточно ис-

черпывающее представление автобиография пишущего³) — Щастный производит такое же, **маргинальное** и неконвенциональное, письмо. И все же, стоит сделать попытку оценить его материалы. Начать следует издалека.

В «Берлинской хронике» Вальтера Беньямина есть одно любопытное автоэтнографическое наблюдение: «Если я пишу по-немецки лучше большинства писателей моего поколения, то в основном благодаря двадцатилетнему соблюдению единственного правила: *никогда не употреблять слова “я”*, кроме как в письмах» [Беньямин 2005: 174]. Сформулированные здесь Беньямином правила письма, до известной степени (и что уже было продемонстрировано), разделяются и Щастным. Эта аналогия, при ее кажущейся надуманности или несерьезности в действительности не лишена определенного концептуального потенциала и дает весьма продуктивную рамку для анализа.

Из автобиографии Щастного известно, что в 1920-е годы тот был вовлечен в рабкоровское движение. Этот опыт Щастный описывает как воодушевляющий, в первую очередь — от появившейся возможности много и активно писать, от самого факта создания текста. Любопытно, что трактовка функций рабкоровского движения, даваемая Щастным, — не вполне корректна.

Сергей Третьяков, один из его идеологов⁴, настаивал на том, что рабкоровские тексты ценны прежде всего своей политической миссией и способностью перформативно менять социальную реальность. Пересказывая же мотивы рабкоров, неверно понимающих свои цели и задачи, Третьяков замечал: «Большинство заметок даже не старается сделать какие-нибудь выводы. Нельзя же считать выводом концовки: “надо подтянуться”, “давайте об этом говорить”, “пора изжить”... и т.д. Это простейший тип заметки. Чисто информационный. Человек видит что-то и рассказывает о виденном... <...> Для них заметка — самоцель. Это — профессионалы по ловле “социальных блох”. У этих людей задача рабкорства стоит вверх ногами» [Третьяков 2000а: 223]. Щастный, гордый лишь от количества произведенных им текстов, в этой перспективе, безусловно, проявляет

3. Отдельно важно здесь то обстоятельство, что Щастный с детства страдал от эпилепсии: впоследствии это сильно осложнило его профессиональную жизнь. Можно даже сказать, что болезнь предопределила выпадение Щастного из полноценной социальной жизни.

4. Стоит сразу отметить, что связь между Беньямином и русским авангардом 1920–1930-х, в первую очередь, выстраивалась именно через работы Третьякова. О чем, в частности, см., например, здесь: [Чубаров 2018].

себя как несознательный рабкор. Однако это не означает, что он не владеет рабкоровским типом письма — или не понимает его специфики.

В частности, то, что Щастный, фиксируя какие-либо события, стремится описывать их максимально полно, с большим количеством деталей и так, будто он дает инструкцию по воспроизводству своих действий, — отвечает установке рабкоровского письма на точность и «нелитературность» выражений, на устранение коннотативного поля текста, рационализацию процесса производства письма в целом. Виктор Шкловский, еще один идеолог рабкоровского движения, писал по этому поводу⁵: «Настоящая литературная школа состоит в том, чтобы научиться описывать вещи, процессы. Например, очень трудно описать словами, без рисунка, как завязать узел на веревке. Описать вещи точно так, чтобы их можно было представить и только одним способом, тем самым, которым они описаны» [Шкловский 2018: 628].

Более того, само по себе **положение Щастного в собственном тексте, то есть положение не как автора и главного героя повествования, а исключительно как «безличного» оператора письма, также вписывается в рабкоровскую литературную программу.** В другой своей статье все тот же Третьяков отмечал: «Индивидуально специфические моменты у людей в биографии вещи отпадают... но зато чрезвычайно выпуклыми становятся профессиональные заболевания данной группы и социальные невроты... <...> В “биографии вещи” эмоция становится на подобающее ей место и ощущается не как личное переживание. Здесь мы узнаем социальную весомость эмоции...» [Третьяков 2000b: 72]. Предлагая не столько описывать вещи вместо людей, сколько попробовать увидеть и осознать возможность производства текстов уже о социальности и о включенности человека в социальность и материальный мир, мир вещей и производственных процессов, — Третьяков, фактически, тем самым устраняет, **отменяет** привычку рефлексировать о субъекте как о глав-

5. См. также любопытный совет, который Шкловский дает молодым авторам в своей книге «Техника писательского ремесла»: «Вот нужно посмотреть на предмет, как-будто вы про него не знаете... Если вы хотите описать хозяйчика, который угнетает рабочего, то не называйте его сразу хозяйчиком, а покажите его в работе... Нужно идти от описания к называнию, а не от называния к описанию» [Шкловский 1930: 21]. Весьма примечательно, что постулируемый здесь Шкловским проект письма, не называющего (денотация) вещи, а только изображающего (сигнификация) их, — сходен с размышлениями, к примеру, Ролана Барта о характере «языка дровосека», то есть типа письма с преобладающим «операциональным характером» и устанавливающим с предметом описания «транзитивные отношения» [Барт 1989: 115]. Более подробно о концептуальных связях между советской и французской критическими теориями см.: [Калинин 2012].

ном источнике и материале любого рассказа, фикционального или нефикционального⁶.

Щастный, очевидно, симпатизирует этой концепции Третьякова. Возможно, именно поэтому он так активно пересказывает в своих дневниках новости (обязательно международные!), которые слышит по радио, узнает из газет или телепередач: «Новое время No 12, 1970 г. Происки империализма в Индокитае. Фашистский закон. Союз монополий и военщины в США» [Боярский 2019a]; «У телевизора. Сегодня последний день дружественного визита Л.И. Брежнева во Францию. Я и [имя друга — прим. С.П.] смотрели передачу по телевизору» [Боярский 2019c]. Конспектируя новостные сводки, пишущий таким образом вписывает себя в широкий социальный и политический контекст, стремится ощутить себя как часть и как актора большого исторического процесса (а не как частного индивида, проживающего свою частную жизнь).

Здесь, впрочем, следует сделать еще один шаг в сторону.

Уже Антонио Грамши определяет «народную культуру», то есть культурные практики непривилегированных сообществ (и, соответственно, — письмо непрофессиональных **маргинальных** авторов), как подражательную, вторичную или просто зависимую от доминирующего, «высокого» культурного дискурса: «Существует стилистическое различие между сочинениями, предназначенными для публики, и другими, например между литературными произведениями и письмами... <...> ...в мемуарах и вообще во всех сочинениях, предназначенных для узкого круга и для себя самого, преобладает умеренность, простота, непосредственность, тогда как в других сочинениях часто преобладает напыщенность, риторика, декламационный стиль, стилистическое ханжество. Эта “болезнь” настолько распространена, что передается народу, из-за нее “писать” означает теперь взбираться на ходули, создавать праздничную атмосферу и “предпочитать” излишне болтливый стиль, во всяком случае, выражаться не так, как обычно принято» [Грамши 1959: 514]. Согласно Грамши, воспринимаемый как престижный,

6. Важно, что и Беньямин разделяет эту литературную установку — в частности, в своем «Берлинском детстве на рубеже веков». Это становится ясно сразу же, из предисловия к книге: «...биографические моменты в моих набросках, проступающие скорей в силу непрерывности, а не глубины жизненного опыта, отходят на задний план. А с ними и лица — школьных товарищей и родных. Зато мне было важно воссоздать **картины** [выделено автором — прим. С.П.], в которых отразилось восприятие большого города ребенком из буржуазной семьи» [Беньямин 2012: 9]. Интересна формулируемая Беньямином задача текста: показать себя, в первую очередь, как субъекта социальной жизни; применить рамки социального (и даже антропологического) анализа — по отношению к самому исследователю, по сути дела — к самому себе же.

«высокий» литературный дискурс адаптируется непривилегированными сообществами и вследствие чего — тривиализируется, становится пародией.⁷

Мишель Фуко, напротив, пытался представить непривилегированных как способных говорить «за самих себя». По мысли философа, **угнетенные** лучше знают собственную ситуацию и собственный опыт, и поэтому вполне готовы самостоятельно о них рассказывать: «...интеллектуалы поняли, что массы ради знания в них уже не нуждаются. Дело в том, что массы сами прекрасно и отчетливо все знают, знают даже намного лучше, чем интеллектуалы, и гораздо лучше могут это выразить» [Фуко 2002a: 68]. Более того, Фуко подчеркивал, что задача интеллектуала в этих обстоятельствах сводится лишь к созданию таких политических условий, где речь **угнетенных** будет услышана и воспринята адекватным образом: «...главная задача интеллектуала состоит не в том, чтобы критиковать сопряженные с наукой идеологические положения или же действовать так, чтобы его научная деятельность сопровождалась правильной идеологией; она заключается в том, чтобы знать, возможно ли установление новой политики истины» [Фуко 2002b: 209].

Гайатри Чакраворти Спивак, возражая Фуко, напротив, настаивала на том, что желание интеллектуалов позволить, наконец, **угнетенным** (субалтернам) говорить за самих себя утопично: любой дискурсивный способ выражения, пишет Спивак, уже апроприрован властью, и любая речь любого угнетенного, соответственно, будет искажена. Единственный же способ для **угнетенных** произвести какое-либо автономное высказывание, — это обратиться к невербальным, к примеру, телесным практикам самовыражения и тем самым избежать ситуации, где язык подводит говорящего, действует в пользу того, кто пытается его же и репрессировать [Spivak 1988].

7. В этой связи любопытно, что и советская теория 1920-х подмечает эту особенность рецепции культурного канона со стороны «народных» реципиентов. Осип Брик, в частности, пишет, что часто угнетенный стремится мимикрировать под угнетателя, стремится копировать принадлежащие ему культурные образы и модели поведения: «Есть рассказ Яковлева о чекисте, который влюбился в советскую барышню. Этот чекист ездит с барышней и со своими приятелями по Волге. Приятелям его флирт не нравится. Чекист поднимает барышню на руки и хочет бросить ее в воду. Полная инсценировка Стеньки Разина и княжны...» [Брик 2000: 84]. Важна, тем не менее, также и оценка, даваемая Бриком этому явлению: «...чекист и барышня могут казаться похожими на Стеньку Разина и княжну; но познавать чекиста и барышню через художественный образ Стеньки и княжны — это не значит их познать, а значит затемнить дело... Важны не общие черты, не общая схема, а индивидуализация факта» [Брик 2000: 84].

Щастный же показывает, что **маргинальное** — это не обязательно вторичное, оппозиционное культурной норме или, наоборот, искаженное ею. Прежде всего, это прослеживается в том, как пишущий в своих материалах работает с идеологическим дискурсом.

Если дневник 1920–1930-х годов, — как его описывает все тот же Хелльбек, — стремился апроприировать официальный идеологический дискурс, произвести на его основе идентичность автора и таким образом позволить последнему «нормализоваться» в новых политических и культурных обстоятельствах⁸, то **дневник Щастного воспринимает идеологию не как автономный дискурс (с которым необходимо выстроить некоторые отношения), а как язык или, точнее, — даже как своего рода риторический механизм.**

При помощи идеологии Щастный дает советы своим близким: «Прошу тебя больше *не позорить себя пьянкой перед семьей и коммунистической партией*. Веди себя как *настоящий коммунист...*» [Боярский 2019a]. Используя идеологический нарратив, пишущий также исследует социальную реальность и производит свою оценку последней: «...я счастлив и благодарен советскому правительству за возможность пенсионерам *отдыхать* и спокойно жить в *домах интернатах*» [Боярский 2019b].

Важно, однако, что идеология не имеет здесь какого-либо символического капитала или культурного авторитета. Напротив, идеология выполняет простую структурирующую функцию: она только позволяет пишущему находить наиболее подходящие, точные выражения для описания действительности и собственных ощущений от нее; по сути дела — лишь дает Щастному готовые, легкие для усвоения, экономичные формы письма.

И стоит дополнительно зафиксировать: как Щастный манипулирует советским идеологическим нарративом, так он манипулирует и европейским авангардным дискурсом 1920-х годов (где можно обнаружить и Третьякова, и Беньямина). Используя те языковые ресурсы, которые ему предоставляют эти дискурсы и большие нарративы, Щастный, однако, не мимикрирует под последние, а остается самим собой, остается автономной фигурой.

8. Хелльбек по этому поводу пишет следующее: «Многие авторы дневников сталинской эпохи были увлечены поиском того, кем они, в сущности, являются и как они могут преобразовать себя. <...> Их дневники были действенными инструментами для вмешательства в собственное Я и сопряжения его с осью революционного времени» [Хелльбек 2017: 19–20]. Взгляд на советский дневник 1920–1930-х годов как на лабораторию по производству идентичности — и как на специфическую форму установления «персональных» отношений с идеологическим дискурсом — разделяет также Игал Халфин: [Halfin 1997].

Будучи настоящим **монстром** письма, Щастный, таким образом, адаптирует не принадлежащие ему дискурсы и нарративы, искажает их, использует их концептуальный и литературный потенциал в свою пользу. Как тот читатель-браконьер Мишеля де Серто, он «движется по землям, которые ему не принадлежат, словно номады, браконьерствующие на территориях, которые не были покрыты их письменами» [де Серто 2013: 292].

И соответственно, будучи настоящим **маргиналом**, Щастный не остается подавленным или **угнетенным**, а становится фигурой, проявляющей себя через агрессивный, в какой-то степени даже захватнический тип культурного поведения и социальной коммуникации. Щастный оказывается не жертвой, а наоборот — агрессором.

И если бы конвенциональная история литературы смогла бы увидеть Щастного, научилась бы его читать и интерпретировать (и таких же, как он⁹) — то, пожалуй, как дисциплина последняя бы только **приобрела** (а не потеряла).¹⁰

Список источников

1. [Беньямин 2005] — *Беньямин В.* Берлинская хроника // Павлов Е. Шок памяти. Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Манделштама. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 165–209.
2. [Беньямин 2012] — *Беньямин В.* Берлинское детство на рубеже веков. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. 144 с.
3. [Боярский 2019а] — *Боярский Л.* Еще один год из жизни тюменского пенсионера / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019). См. с. 247–255 наст. изд.
4. [Боярский 2019б] — *Боярский Л.* Один год из жизни тюменского пенсионера. Ч. 1. / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019). См. с. 255–261 наст. изд.

9. Стоит отметить, что таких монстров письма, как Щастный, советский Архив, в действительности, содержит в огромном количестве. Сам по себе Щастный здесь — лишь одна из наиболее заметных и удивительных фигур.

10. См. по этому поводу также следующий материал: [Костин, Попов 2021].

5. [Боярский 2019с] — *Боярский Л.* Один год из жизни тюменского пенсионера. Ч. 2. / Публ. дневника В.В. Щастного. URL: [link](#) (дата обращения: 15.09.2019). См. с. 261–268 наст. изд.
6. [Третьяков 2000а] — *Третьяков С.* Рабкор и строительство // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 221–226.
7. [Третьяков 2000b] — *Третьяков С.* Биография вещи // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 68–73.
8. [Шкловский 1930] — *Шкловский В.* Техника писательского ремесла. М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. 77 с.
9. [Шкловский 2018] — *Шкловский В.* О писателе и производстве // Собрание сочинений: в 2 т. Том 1. Революция. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 625–631.

Список литературы

1. [Барт 1989] — *Барт Р.* Из книги «Мифологии» // Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 46–131.
2. [Брик 2000] — *Брик О.* Ближе к факту // Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 80–86.
3. [Грамши 1959] — *Грамши А.* Народная литература // Избранные произведения: в 3 т. Том 3. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. С. 513–546.
4. [де Серто 2013] — *де Серто М.* Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с.
5. [Калинин 2012] — *Калинин И.* Угнетенные должны говорить: массовый призыв в литературу и формирование советского субъекта, 1920-е — начало 1930-х годов // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 587–664.
6. [Костин, Попов 2021] — *Костин А., Попов С.* Конец дисциплины. О чтении гомофобных стихов, силе, каноне и беседах. URL: [link](#) (дата обращения: 29.10.2021).
7. [Фуко 2002а] — *Фуко М.* Интеллектуалы и власть // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 66–81.
8. [Фуко 2002b] — *Фуко М.* Политическая функция интеллектуала // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 201–210.

9. [Хелльбек 2017] — *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 424 с.
10. [Чубаров 2018] — *Чубаров И.* Теория медиа Вальтера Беньямина и русский левый авангард: газета, радио, кино // Логос. 2018. № 28. С. 233–260.
11. [Halfin 1997] — *Halfin I.* From Darkness to Light: Student Communist Autobiographies of the 1920s // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1997. H. 2. S. 210–236.
12. [Paperno 2009] — *Paperno I.* Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams. New York: Cornell University Press, 2009. 304 p.
13. [Spivak 1988] — *Spivak G.C.* Can the Subaltern Speak? // *Marxism and the Interpretation of Culture* / Edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg. London: Macmillan Education LTD, 1988. P. 271–317.

Степан Денисович Попов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), Школа гуманитарных наук и искусств, магистерская программа «Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах»
stepanpopov15@gmail.com

Stepan Popov

National Research University “Higher School of Economics” (St. Petersburg), School of Arts and Humanities, MA programme “Russian Literature in Cross-cultural and Intermedial Perspective”
stepanpopov15@gmail.com

5

РЕЦЕНЗИИ

ДАМЫ ПОКИДАЮТ ОБОЧИНУ

Полина Гуккина

УДК: 821.161.

Дэвис Н.З. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 384 с.

Women Leave the Margins

Polina Gukkina

Рецензия посвящена недавно переизданному труду историка Натали Земон Дэвис «Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века» — одной из самых известных книг в области социальной и микроистории. Автор реконструирует жизненные нарративы иудейки Гликль бас Иуда Лейб, католички Мари Гюйар дель Энкарнасьон и протестантки Марии Сибиллы Мериан с тщательностью академического исследователя и искренностью увлеченного рассказчика. В книге оспаривается представление о Новом и Старом Свете XVII века как о сети патриархальных сообществ со строгой иерархией и затрудненной социальной мобильностью для его менее привилегированных членов, в том числе женщин ремесленного и торгового сословия. Дэвис показывает, как некоторые из женщин, желавших независимости и имевших к тому склонность, в этих условиях все же обретали сильное влияние на свой жизненный путь.

Работа канадско-американского историка Натали Земон Дэвис «Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века» (*Women on the Margins: Three Seventeenth-Century Lives*, 1995) уже давно признана классической и до сих пор является одной из самых известных в жанре гендерной истории. Именно этой книгой издательство «Новое литературное обозрение» наконец открыло новую серию «Гендерные исследования»; впрочем, первый перевод на русский язык читатель увидел еще в 1999 году благодаря тому же «НЛО». Повторное издание имеет скорее символическую ценность, открывая новоучрежденную книжную серию издательства, посвященную гендерным исследованиям. Сама серия, за год пополнившаяся шестью изданиями, знакомит русскоязычного читателя как с классическими работами, не переводившимися ранее на русский язык, так и с новейшими исследованиями в области необыкновенно популярных сейчас *gender studies*.

Конечно, за более чем двадцать лет с момента публикации маргинальность исследований женской истории несколько ослабла и потеряла прежнюю революционность; различным аспектам «женского» посвящается не один десяток книг каждый год. Тем не менее, основательность работы с источниками и глубокое понимание устройства и бытования автобиографических текстов и эго-документов все еще делают эту книгу образцом захватывающей повествовательной научной прозы, посвященной достаточно специфическому вопросу микроистории. В более ранней (и самой известной) своей работе — «Возвращение Мартена Герра» (1983), — по культовости сравнимой с бестселлером Карло Гинзбурга «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке», Дэвис уже с большим вниманием отнеслась к фигуре жены протагониста, Берtrand. По мнению критика Лизы Биргер, Дэвис особенно интересует постоянное присутствие Берtrand «на фоне» пропажи своего супруга¹. Исследовательницу можно смело назвать одной из пионерок «феминистского» (или просто «женского») поворота в микроисторическом и социальном дискурсах.

Своими литературными собеседницами (в начале книги — буквально) историк избирает трех европейек, живших между 1599 и 1724 годами: гамбургскую еврейку и коммерсантку Гликль бас Иуда Лейб, французскую урсулинку Мари Гюйар дель Энкарнасьон и протестантку-лабадистку, художницу и исследовательницу насекомых Марию Сибиллу Мериан. Выбор героинь столь разного бэкграунда продиктован не столько стремлением показать сходства и разли-

1. Биргер Л. «Дамы на обочине» // *The Blueprint*. 23.12.2020. URL: [link](#) (30.06.2021).

чия их жизненных сценариев, сколько фактом существования их эго-документов, содержащих авторские воззрения. Они дополняются с опорой на архивные и библиографические документы и данные, то и дело упоминаемые в занимающих более сотни страниц примечаниях. Противоречивые судьбы героинь для Дэвис становятся поводом поставить под сомнение тезис об абсолютной социальной аморфности женщин невысокого происхождения в Европе раннего Нового времени, где от них ожидали лишь выполнения предписанной обществом пассивной роли жены и матери.

«Дамы на обочине» не отступают от микроисторической традиции нарративности и даже некоторой сюжетности, обеспеченной здесь следованию биографиям героинь. Большое количество предположений и интерпретаций позволяют даже неподготовленному читателю усваивать уравновешенные эмпатией автора сведения о социально-экономическом положении женщины того или иного статуса.

Маргинальность точки зрения в данном случае усиливается положением героинь в своих сообществах: еврейская вдова, монахиня-урсулинка в далекой и суровой Новой Франции, бывшая «сектантка»-лабадистка были не только заранее ограничены в интеллектуальном развитии «женской долей» и представлениями о благочестии (которые, впрочем, не вызывали у них отторжения), но и сталкивались с вызовами, обычно не свойственными женщинам их круга. Однако само это нахождение в стороне от семейной и общественной иерархии давало им большую свободу в принятии решений.

Гликль бас Иуда Лейб, известная как Гликль фон Хамельн, оставила монументальное жизнеописание из семи книг, сопровождая эпизоды своей жизни наставлениями, библейскими цитатами, притчами и легендами из разных источников и даже собственного сочинения. Дэвис отмечает, что в еврейской традиции подобные тексты опирались на «вековую традицию «этических завещаний», содержащих изложение собственного опыта и уроков нравственности. Они передавались детям вместе с указаниями о похоронах и о том, как распорядиться товаром»². Такие сочинения могли распространяться за пределами круга семьи и даже тиражироваться, то есть существовало довольно четкое представление о том, как они должны быть организованы и о чем должны рассказывать, так, записи фон Хамельн скорее следовали правилу, нежели его нарушали. За свою долгую жизнь (78 лет) Гликль дважды стала вдовой, несколько раз меняла место жительства и самостоятельно вырастила восьмерых детей после смерти первого мужа, продолжая при этом активно за-

2. Дэвис Н.З. *Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века*. М.: НЛО, 2021. С. 27–28.

ниматься коммерцией. Обращенные к потомкам записи служили ей пространством для размышления и диалога с Богом о превратностях своей жизни; сегодня же эти записи прочитываются как утверждение права на женскую независимость.

Французская монахиня Мари дель Энкарнасьон (вернее, правильной транслитерацией было бы «де л'Инкарнасьон», но далее будет использоваться версия переводчика этого издания), в миру Мари Гюйар, основательница первой урсулинской обители на территории Северной Америки, в Канаде, практически с самого начала своей религиозной жизни проживала мистический и нравственный опыт с помощью сочинительства, обычно не характерного для девушек и женщин ремесленного сословия, из которого она происходила. Тем не менее, даже избранное Мари имя отсылало к Господу как к Воплощенному Слову; в постоянном общении с Богом она провела свою жизнь. Озабоченная духовным наставлением канадских «дикарей», Мари выучила несколько аборигенных языков и написала на них педагогические сочинения. Однако куда большее значение в случае исследования эго-документов Дэвис имеют ее достаточно откровенные и подробные мемуары француженки, изложенные в частных письмах сыну, оставшемуся во Франции и также принявшему постриг. Несмотря на просьбы матери о сохранении конфиденциальности этой корреспонденции, он отредактировал, дополнил и издал письма как духовную биографию «Жизнь достопочтенной игуменьи Мари Воплощения» в 1677 году, после её смерти. «Маргинальное» положение монахини простого происхождения диктовало оптику крайнего доверия Господу, что из ее сочинения изъять было невозможно.

Замыкает триаду Мария Сибилла Мериан, прожившая, как и остальные героини, насыщенную и даже выдающуюся жизнь. Голландская художница и энтомолог оставила после себя иллюстрированный труд «Метаморфозы», посвященный насекомым Суринама, куда она отправилась вместе с дочерьми после нескольких лет жизни в реформатской общине лабадистов.

«Создать достоверный образ Марии Сибиллы <...> сложнее, поскольку она не оставила ни своей биографии, ни исповедальных писем, ни автопортрета», — пишет Дэвис. Но, «в каких бы обстоятельствах ни развивался духовный мир Мериан, мы можем лучше всего судить о нем в сфере работы»³. Альбомы с натурными этюдами были не только отражением естествоведческого энтузиазма, но и духовным и интеллектуальным упражнением, передающим пиетет перед

3. Дэвис Н.З. Указ. соч. С. 157.

сотворенным Господом миром и рассказывающим об актуальных на тот момент воззрениях автора. Любопытно, как спустя некоторое время после возвращения в Амстердам снискавшую известность и признание художницу, разведенную с мужем еще в свой лабадистский период, снова стали называть «юффрау» — «барышней», что также могло служить уважительным обращением к самостоятельной живущей зрелой даме, — а значит, ее репутация могла быть хотя бы частично восстановлена упорными научными изысканиями и публикациями. Сразу после смерти Марии Сибиллы ее дочь Доротея Мария отправилась в Санкт-Петербург вместе с мужем Георгом Гзёлем и писала флору и фауну для царской Кунсткамеры, где со времен петровского посольства хранились приобретенные в Амстердаме иллюстрации Мериан.

В самом начале главы об урсулинке Мари Дэвис использует очень емкое определение: «Подобно Гликль, Мари Воплощения была *femme forte* (“сильная женщина”), классический и библейский образ которой использовали во Франции XVII века и литературные феминистки, и монахини»⁴. К *femme forte* можно причислить и Марию Сибиллу Мериан. Все три героини были религиозны и потому разделяли представления о женском благочестии и природном легкомыслии, но при этом их объединяла большая жизненная энергия в сочетании с достаточно долгой жизнью. Они обладали мастерством в своих «ремеслах» и хорошо справлялись с ведением коммерческой деятельности. Каждая так или иначе занималась ведением хозяйства своего семейства и была удалена от средоточий политической, административной и общественной власти как ввиду гендерных ограничений, так и в силу своего незнатного происхождения. Именно в этом Дэвис и видит их «маргинальность», порой оборачивающуюся удивительным для современного читателя пространством для самостоятельного маневра при всех возникающих вызовах.

Практически единственное, в чем можно упрекнуть историка, — это, на первый взгляд, излишняя для научной работы беллетризация. Множество предположений, допущений, домыслов и гипотез могли бы бросить тень на научную обоснованность и качество работы с источниками, если бы автор постоянно не ссылалась на источники в тех местах, где приводятся документированные сведения. Свои собственные же интерпретации Дэвис неизменно сопровождает ремарками «вероятно» или «мне кажется».

Без сомнения передовое на момент написания, сегодня исследование уже не представляет собой одну из самых актуальных или про-

4. Дэвис Н.З. Указ. соч. С. 76.

вокационных работ — что, однако, нисколько не умаляет его значения как интересного методологического образца и захватывающего введения в проблематику, иногда достаточного, чтобы, например, восхищенный студент определился с областью исследования. Более того, «Дамы на обочине» являют собой успешно реализованный вариант компаративного подхода, подробно раскрывающий каждую героиню и в то же время деликатно проводящий между ними параллели. Это кладезь если не точных сведений, то научного вдохновения.

Полина Борисовна Гуккина
Санкт-Петербургский
государственный университет,
Факультет свободных искусств
и наук, ОП «Искусства
и гуманитарные науки»
pbg05@mail.ru

Polina Gukkina
Saint-Petersburg State University,
Faculty of Liberal Arts and Sciences,
BA programme
“Arts and Humanities”
pbg05@mail.ru

ГЕНДЕРНЫЙ ПОРЯДОК И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СОВЕТСКИХ АНДЕГРАУНДНЫХ ХУДОЖНИЦ И ХУДОЖНИКОВ

Алина Тайбулатова

УДК: 821.161.

Авраменко О. Гендер в советском неофициальном искусстве. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 308 с.

Gender order and everyday life of Soviet underground artists

Alina Taybulatova

Книга Олеси Авраменко «Гендер в советском неофициальном искусстве» предлагает читателю быстро ознакомиться с гендерной проблематикой в советском обществе сквозь призму работ андеграундных художников. Авраменко интересно и ясно излагает теоретические аспекты проблемы, добавляя собственные замечания и размышления. В данной рецензии мы попробуем проанализировать метод и подход авторки к вопросу, найти поводы с ней поспорить или, наоборот, согласиться, и постараемся предложить новые аспекты рассмотрения проблемы.

Гендерный вопрос в Советском Союзе всегда был очень острым, но никогда не освещался на государственном уровне открыто. Вместо публичного обсуждения правительство создавало особые институциональные условия для регулирования гендерного поведения граждан¹. Гендерный порядок, созданный советскими властями, стал механизмом утверждения неравенства и дифференциации, хотя на публичном уровне преподносился как равенство полов. Параллельно с советской гендерной проблематикой в СССР формируется неофициальное искусство — андеграундные художественные сообщества, неподцензурные советским властям, требующим от художников распространения официальной идеологии.

«Гендер в советском неофициальном искусстве» искусствоведки Олеси Авраменко — попытка проанализировать репрезентацию гендерно окрашенных тем в работах Московской концептуальной школы с помощью интерсекционального метода анализа. Авторка подробно разбирает разные аспекты художественной жизни советского общества и старается определить место женщин и мужчин в искусстве того времени. Авраменко приходит к выводу, что положение женщин в СССР было парадоксально: с одной стороны, на социальном уровне женщины находились практически наравне с мужчинами, но требований к ним было гораздо больше: они были вынуждены совмещать профессиональную деятельность, быт и творческую работу, если мы говорим о художницах². Мужчины же были в привилегированном положении, но от них требовалось соответствовать фигуре маскулинности: содержать семью, поддерживать конвенционально маскулинный внешний вид, быть эмоционально устойчивыми. Главный тезис авторки заключается в том, что женщинам в искусстве было тяжело проявлять себя в принципе, так как их всегда затмевали коллеги-мужчины. Эту мысль Авраменко подкрепляет другими примерами из социальной, политической и художественной жизни СССР, обращаясь по очереди к мужским и женским вопросам.

Стоит сразу отметить хорошо проработанную структуру и продуманное тематическое деление книги. Во введении тезисно сформулированы основные положения гендерной проблематики, сделана краткая историографическая справка и описана методология. В первой главе «Женское или феминистское? Художницы неофициального искусства СССР в контексте феминистского дискурса» Авраменко поднимает женские вопросы такие, как материнство, замужество, быт,

1. Здравомыслова Е., Темкина А. Государственное конструирование гендера в советском обществе // Журнал исследований социальной политики, 2003. Т. 1, № 3/4. С. 300–301.

2. Авраменко О. Гендер в советском неофициальном искусстве. М.: НЛО, 2021. С. 42.

объективация и социальное неравенство, и анализирует репрезентацию этих тем в работах советских художниц. Вторая глава «Мужское? История изучения» рассматривает произведения художников в связи с проблемой кризиса мужской идентичности, а также возникновением новой гегемонной маскулинности. «Творческие пары. Гендерная проблематика в советском неофициальном искусстве» — последняя глава, рассказывающая о ролях мужчин и женщин в творческих супружеских или партнерских союзах и искусстве в целом. В работе также есть приложение с расшифровками интервью, взятых Авраменко у различных художников и художниц, чьи высказывания подкрепляют тезисы авторки и поднимают новые вопросы.

Авраменко использует в качестве источников классические работы Джудит Батлер, Анны Темкиной, Елены Здравомысловой и Гэйл Рубин; она также включает в исследование междисциплинарные тексты, позволяющие более основательно рассмотреть вопрос. Так, например, для описания советской повседневности авторка использует работы Алексея Юрчака, а для объяснения системы властных отношений обращается к Мишелю Фуко.

Тем не менее, несмотря на очень обширную библиографическую базу, некоторые используемые работы могут показаться несколько устаревшими и неактуальными для современного текста. Например, Линда Нохлин в своем эссе «Почему не было великих художниц?» или Симона де Бовуар во «Втором поле» используют очень строгую бинарную систему рассмотрения гендерной проблематики, что может способствовать укреплению стереотипов о существовании исключительно мужских или женских атрибутов повседневности и социальных ролей. В то же время современный гендерный анализ все чаще отходит от оппозиции «мужское — женское» и, если не ставит под сомнение гендерную идентичность вообще, то хотя бы проблематизирует то, как она функционирует. Если подобный современный дискурс предполагает рассмотрение гендера как социального конструкта, то де Бовуар рассматривает гендерный вопрос с биологической точки зрения. Она критикует социальное конструирование гендерных различий, основанное на биологических предрасположенностях, но не предлагает ему альтернативы и не поднимает вопрос более широкого спектра гендерных идентичностей чем «мужчина — женщина». С другой стороны, стоит сказать, что так называемые «мужские» и «женские» вопросы стояли в СССР именно в бинарной оппозиции, и совсем стирать это противопоставление тоже было бы неправильно.

Нохлин, в свою очередь, в цитируемой работе не совсем различает отсутствие феномена и отсутствие фокуса на феномене: она

рассказывает, почему великих художниц не было вообще, но при этом все же приводит самые, на ее взгляд, выдающиеся примеры. Правильнее было бы задать вопрос, не почему не было великих художниц, а почему художницы не были великими. Рассматриваемая книга Авраменко как раз подтверждает вовлечение женщин в преимущественно «мужскую» сцену. Так же, как и Нохлин, она повествует о множестве ярких художниц, которые все же существовали и создавали целый социальный пласт — проблема была в том, что о них никто не писал и ими мало кто интересовался.

Хочется также уделить внимание искусствоведческой части работы Авраменко. Не вполне убедительным кажется решение авторки не разграничивать разные искусства, ставить в один ряд перформанс и визуальное: создается ощущение, что тем самым умаляется их значимость, как будто они не заслуживают отдельного рассмотрения. Образы и символы в таких разных видах искусства тоже разные, так же, как и методы их изображения. Это может говорить о том, что мы либо не воспринимаем визуальное искусство как достаточно интересное и современное для анализа, либо, наоборот, что искусство перформанса видится нам слишком новым и недостаточно обоснованным для рассмотрения как нечто автономное. Если опираться на Линду Нохлин как одного из основных авторов для построения дискурса работы, то, возможно, стоило бы сфокусироваться в первую очередь на живописи, скульптуре или архитектуре, ведь Нохлин пишет именно о классическом визуальном искусстве. В исторической парадигме рассматривать перформанс кажется непродуктивным, ведь пережитый им процесс становления несоизмерим с процессом, который пережила живопись.

Тем не менее авторка предлагает читателю ознакомиться с кратким формально-стилистическим искусствоведческим анализом на самом базовом уровне, что делает книгу доступной для понимания неспециалистами. Авраменко предпринимает попытку иконографии женского образа и довольно подробно описывает символизм работ различных художников и художниц, не забывая упоминать особенности стилей и материалов, а также предоставлять справочную информацию о значении и расшифровке всех этих факторов, что оказывается очень ценно для погружения в проблематику гендерных аспектов искусства.

Если обращаться к содержанию работы в целом, то она дает доступную базу знания о неофициальном искусстве в СССР. Работа Авраменко написана научно-публицистическим стилем, но язык ее простой и легко усваиваемый. Однако некоторые тезисы кажутся слишком общими и недостаточно раскрытыми и ставят под вопрос

узкую академическую специфику: авторка рассуждает на несколько довольно широких тем, давая к ним такие же широкие подводки, при этом упуская искусствоведческий фокус исследования и специфику поднимаемых вопросов. К примеру, она бегло упоминает темы советского феминизма или женской сексуальности, заявляя, что о сексе женщины вообще не говорили, а феминизм презирали, но не раскрывает эти тезисы и не объясняет, почему дела обстояли именно так.

Авраменко по большей части рассматривает социальные советские процессы через призму художественного вопроса, что может не совсем соответствовать ожиданиям читателя. Исходя из названия книги, читатель закономерно ожидает от работы анализ трансформации гендерных образов в советском неофициальном искусстве. В этом случае более логичным решением было бы в качестве основной части повествования представить подробную иконографию и историю развития гендерных образов и высказываний художников с параллельными отсылками к социальным процессам и их интерпретации. Авторка же скорее описывает именно социальный гендерный вопрос, подкрепляя свои тезисы примерами из искусствоведения, а не наоборот. При этом Авраменко уделяет много внимания повседневной жизни советских андеграундных художников и художниц, продолжая при этом рассуждение о проблеме, поднятой Линдой Нохлин, и размышляя, почему их работы так и не получили широкого признания. Эта линия повествования хорошо вписывается в тематику книги и дает понимание того, почему деятели искусства действовали именно так.

Также недостаточно освещенным читателю может показаться вопрос сексуальности и, в частности, сексуальной ориентации. Интерсекциональный анализ, выбранный Авраменко в качестве основного метода — несомненно, один из самых востребованных феминистских инструментов, так как он прорабатывает широкий спектр вопросов расы, гендера, социального положения, сексуальной ориентации, властных отношений и т.д.³ С другой стороны, проблематика квир-сообщества и отклонения от официальных конвенций сексуальности настолько широка, что заслуживает отдельной монографии. Как мне кажется, вопрос гетеронормативности и несоответствия ей может и должен присутствовать в рассмотрении условно мужских и женских вопросов, так как мы в любом случае говорим о конструировании строгих нормативных рамок⁴, включающих в себя

3. Здравомыслова Е., Темкина А. *12 лекций по гендерной социологии*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. С. 62.

4. Там же. С. 71.

образ жены-домохозяйки и матери, гегемонную маскулинность и образ мужчины-героя, о которых пишет Авраменко. Художники, акцентирующие внимание на этих аспектах, так или иначе ставят под вопрос искусственно сконструированную норму и уже этим отвергают нормативность, предлагая ей взамен определенного рода квинность.

Довольно большую часть работы Авраменко занимают тексты интервью с художниками и художницами, к которым авторка отсылает в своем тексте. Это действительно очень интересный материал, подкрепляющий глубокую работу с конкретными примерами объектов искусства и доказывающий небезосновательность их использования. Набор вопросов в интервью составлен так, чтобы максимально полно раскрыть взгляды нескольких людей на одни и те же вещи: Авраменко осознанно старается задавать респондентам похожие вопросы, что помогает заметить совпадения или, наоборот, несоответствия разных точек зрения. Материал интервью является абсолютно уникальным и, несомненно, имеет большую ценность для будущих исследователей темы.

Книга Олеси Авраменко — хороший способ ознакомиться с темой для неподготовленного читателя. Не перегруженный профессиональной лексикой, но при этом и не любительский язык, а также увлекательное повествование создают отличную базу для человека, который неглубоко знаком со спецификой гендерного вопроса в Советском Союзе, но хочет в нем разобраться: авторка просто и подробно рассказывает о социальных аспектах проблемы, а также анализирует их через призму неофициального искусства. Для человека, хорошо осведомленного в сфере гендерных исследований, книга может показаться несколько поверхностной: Авраменко все же не ставит перед собой цель открыть какие-то новые глубины и аспекты проблемы, а собирает воедино мнения разных исследователей и художников, анализируя их через призму конкретной темы. Тем не менее книга может быть интересна и для специалистов, так как авторка собирает в один текст множество аспектов советского гендерного вопроса и делает это максимально лаконично. В итоге читатель получает возможность и разобраться в вопросе гендера в советском обществе, и ознакомиться с андеграундным искусством того времени.

Алина Николаевна Тайбулатова
Национальный исследователь-
ский университет «Высшая
школа экономики» (Москва),
Школа культурологии и
философии, бакалаврская
программа «Культурология»
antaybulatova@edu.hse.ru

Alina Taybulatova
National Research University
“Higher School of Economics”
(Moscow), School of Cultural and
Philosophy Studies,
BA programme “Cultural Studies”
antaybulatova@edu.hse.ru

6

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МОЩИ СОВЕТСКОГО ИМПЕРАТОРА

Ксения Черкаева

Статья была впервые опубликована на английском языке в журнале «Anthropology and Humanism» в 2017 году: Cherkaev X. How Grades Had Been Gotten for Penguins and Money // Anthropology and Humanism. 2017. Vol. 42. No. 1. P. 127–134. Перевод публикуется с согласия автора.

The Soviet Emperor's Relics

Xenia Cherkaeva

The article was first published in the journal “Anthropology and Humanism” in 2017: Cherkaev X. How Grades Had Been Gotten for Penguins and Money // Anthropology and Humanism. 2017. Vol. 42. No. 1. P. 127–134. The author has given consent for this publication of the article to “In Your Own Words” (“Svoimi Slovami”).

*Благодарю Елену Т. за ее неоценимую помощь
в переводе этого текста на русский язык.*

Это история о советских пингвинах и о студенческих зачетках, об этике и практиках неформальных отношений в Ленинграде 1980-х и Санкт-Петербурге 2010-х годов, а также о том, как несоизмеримость ценности предметов внезапно становится началом для невымышленных историй и поводом для застольных рассказов. Я расскажу вам об одном императорском пингвине: о птице, которая однажды погибла, была найдена, продана, куплена, подарена, сделана чучелом, заброшена, найдена, украдена и подарена вновь.

Для меня эта история началась лишь в 2010 году в Санкт-Петербурге, где я собирала устные рассказы о вещах, которые советские люди исхитрились делать «налево» и выносить контрабандой с ленинградских заводов. Таких самодельных вещей и вещиц у моих фигурантов было много, и они были весьма разнообразными — от изящных титановых вязальных спиц, сделанных в Физико-техническом институте имени Иоффе, до внушительных надгробий из сверкающей нержавеющей стали, изготовленных в цехах Ижорского металлургического завода. Истории их создания казались мне иной раз совершенно фантастическими. Впрочем, люди любят травить приукрашенные байки о собственной доблести и обо всем, что грозило им неприятностями, но чудом сошло с рук.

Эту историю мне рассказал внук боевого контр-адмирала по имени Толя, муж моей подруги и человек, совсем не склонный к авантюрам, даже немного скучный в своей предсказуемой стабильности. Толя — биолог, токсиколог, начинавший свою карьеру в засекреченной советской лаборатории военных антидотов и ныне работающий в небольшой муниципальной фирме, занимающейся очисткой воды по заказам городского водоканала.

Вот его история: в 1983 году он учился на втором курсе Ленинградского ветеринарного института. Зимой наступила регулярная экзаменационная сессия. Толя стоял за воротами института со своими друзьями-однокурсниками, все они нервно курили и уныло обсуждали предстоящий экзамен по теме болезней птиц. Никто из этой компании молодых балбесов и будущих специалистов советского ветеринарного дела не посещал второстепенного класса и о болезнях птиц ровным счетом ничего не ведал... Ситуация казалась абсолютно безнадежной: профессор, принимавший экзамен, был старомоден и педантичен, невосприимчив к взяткам, к теле-

фонному праву и студенческому нытью. Он был человеком старой академической закалки, о котором всему институту были известно: профессор страстно любил только науку о птичьих болезнях и институтскую коллекцию чучел птиц, которую сам и создавал на благо научной орнитологии. Учить болезни птиц студентам было поздно, роковой час сдачи экзаменов наступил.

Однако... в сумеречном утреннем освещении промышленной улицы студенты внезапно заметили мужика, бредущего в обнимку с императорским пингвином, точнее с его замороженным трупом.

— Мужик, стой! — окликнули студенты мужика, — а что это такое у тебя?

Мужик ответил:

— Да вот, пингвин.

— Зачем тебе пингвин, мужик? — спросили студенты, и робкий лучик надежды блеснул в их кислом царстве уныния...

На самом-то деле, у мужика не было особой нужды в мертвом пингвине. Мужик не был орнитологом, он был работягой, отработавшим ночную смену, обычным забуддыгой-поденщиком, нанятым за три рубля для авральной выгрузки мороженой рыбы из вагонов на консервном рыбозаводе неподалеку. Он нашел труп мороженого пингвина в вагоне-рефрижераторе с мороженой рыбой, которую сортировал и перегружал на конвейер. Вооруженная вневедомственная охрана завода охраняла исключительно рыбу, мертвый пингвин ее вовсе не интересовал, и потому мужик вынес его с завода абсолютно беспрепятственно. Может быть, для того, чтобы детям во дворе показать?

Возможно, вы удивитесь, услышав об императорском пингвине в Ленинграде — городе, расположенном в относительной близости от Арктического полярного круга, потому что пингвины обитают ровно на противоположном конце земного шара, в Антарктиде. Но такая географическая странность события вовсе не была такой уж странной: Советский Союз занимался промышленным рыболовством в Южном океане с зимы 1969–70 года [Kock 1992:183]. Алчная добыча морских биоресурсов советскими монстрами — плавучими рыбозаводами — у антарктических берегов принимала столь угрожающие размеры, что к середине 1980-х годов американские организации, такие как Фонд защиты окружающей среды и Национальная служба морского рыболовства, были уже всерьез обеспокоены переловом рыбы и криля многотоннажными советскими судами в антарктических водах: «Нет сомнений, что советский рыболовный флот опасно конкурирует с пингвинами и тюленями» [Lammi 1987]. Так в статье 1987 года цитировалось беспокойство ученого Фонда

защиты окружающей среды — ведь животные Антарктики рисковали остаться на голодном пайке, пока советские фабричные цыплята жирели на антарктическом криле.

Мобилизовав свой военно-промышленный комплекс на исследование Южного океана, Советский Союз создал свою первую антарктическую станцию уже в 1956 году — всего за пять лет до того, как он вывел на орбиту первого человека. Идеологическое веяние хрущевской оттепели приняло во внимание и космос, и далекую Антарктиду, назначив их отдаленными уголками дружелюбной советской Родины. Пингвины именно в ту пору становились героями мультфильмов, их легко было встретить среди детских игрушек и в рекламе мороженого. Они, в конце-то концов, довольно милые и комичные существа. Но вот только сама Антарктида была очень, очень далеко от СССР. До Антарктиды и пингвинов было 45 дней морского пути! Полтора месяца дороги по морю — таков был путь гигантских плавучих заводов, возвращавшихся в Мурманский порт с огромным уловом криля, рыбной муки, рыбьего жира, консервов и замороженной рыбы.

Рыба из антарктических вод на столах в Ленинграде водилась. Кого в Ленинграде остро не хватало, так это настоящих живых пингвинов: даже в Ленинградском зоопарке их не было.

Так вот, Толя и его друзья дружно метнулись к мужику и принялись умолять его отдать им труп пингвина и тем лично вступить за славу ленинградского студенчества, за общественную пользу изучения болезней птиц, за благо и процветание всего человечества, за мир во всем мире. А еще мужику посулили все монеты, какие студенты совокупно наскребли в карманах. Бумажных денег у нерадивых учеников в карманах уже не было, ведь разорительные новогодние праздники миновали только что. Мелочи в денежном эквиваленте набралось на пять кружек разливного пива. Против пяти кружек пива мужик не устоял и мороженого пингвина студентам тотчас отдал ради торжества ветеринарной науки.

Затем студенты послали старосту своей группы на переговоры к профессору, чтобы намекнуть на существенный изъян институтской коллекции птиц: в ней остро не хватало чучела императорского пингвина. Советские корабли всю бороздили просторы Антарктики, а ветеринарный институт в Ленинграде все еще отставал от важной общественно-политической темы...

— Откуда у тебя императорский пингвин?

— Профессор, вот только не будем углубляться в детали, пожалуйста! — староста якобы ответил так. — Позвольте мне сразу обратиться к практической стороне вопроса.

Важно понимать, что этот мертвый пингвин не был взяткой в прямом смысле этого слова. Толя и его кореша лишь попросили профессора обойти экзаменационные правила в награду за то, что они смогли добыть самый желанный, почти невозможный предмет дефицита для общественной коллекции птиц своего института. И старания каждого из добытчиков пингвина были благодарно вознаграждены «тройкой» — минимально возможной для успешной сдачи экзамена оценкой.

В ту пору в СССР обход формальных правил большинством трудящихся граждан (и их начальством) признавался совершенно этичным, если только маневры такого рода служили общественно важным целям, а не личному корыстному стяжательству. Позднесоветская экономика всерьез зависела от возможности людей обходить нагромождение бюрократических глупостей, а этические взаимоотношения граждан за спиной закона были абсолютно необходимы для того чтобы разумно перераспределять материальные запасы, бессмысленно накопленные и обездвиженные в закромах родины. Этические отношения при совершении неформальных операций были спасительной «живой водой» для облегчения мук повсеместного товарного дефицита: поставки расходников на предприятия напрямую зависели от рабочих талантов своих юрких снабженцев, умевших «выбить», «добыть», «извернуться, но достать». Главными же качествами хорошего снабженца считались его наработанные личные связи в любых возможных эшелонах и отраслях. Негласное сгибание под нужным углом всех прямолинейных административных правил широко практиковалось в ту пору и открыто признавалось за гражданскую добродетель. Более того, умение действовать не вопреки, но параллельно закону, минуя его иррациональное русло, было совершенно необходимо гражданам для достижения важных экономических и социальных целей государственного масштаба. И даже детские телепрограммы учили своих маленьких зрителей помогать друг другу нарушать формальные правила, если сами эти правила были формализованы до абсурда: например, посылка должна быть доставлена получателю, но не может быть передана в силу отсутствия у него документов, которые он не может иметь, потому что он кот. Но у кота есть лапы и хвост! Это и есть документы кота! «На документах всегда печать бывает», — парирует почтальон. Кот протестует [Каникулы в Простоквашино. 1980]. Всем смешно, хотя этот мультфильм учит получать посылки без паспорта.

Исследователи неформальной советской экономики замечают, что товарищеской взаимопомощью советские люди часто оправдывали собственные хищения материальных ценностей

[Ledeneva 1998]. Но такой узкий подход к изучению незаконных сделок совершенно не раскрывает искренних оттенков личной доблести тех «несунов и несушек», кто бескорыстно обеспечивал дефицитом своих друзей и коллег, стремясь к коллективному благу. «У меня было невероятное богатство», — рассказал мне один математик, поведав о том, как однажды он раздобыл совершенно новые промышленные нейлоновые воздушные фильтры, из которых его друзья-альпинисты сшили легкие прочные рюкзаки для восхождения в горы. Фильтры он выменял на большую флягу технического спирта, а спирт умыкнул на работе. Обмен вожделенными товарами был совершен на заводе ночью. Сам он, нагруженный тканью, уходил от охраны через крышу и с риском спускался вниз со стены по пожарной лестнице, и да, он ликовал: «Я обладал огромным богатством, я мог осчастливить себя, своих друзей! Это было такое счастье!»

В этой системе этических понятий вырос сам Толя, внезапно раздобывший целого замороженного пингвина для институтской коллекции. Труп пингвина он получил из рук человека, имевшего рабочий допуск к изобилию мороженой рыбы, выловленной гигантскими советскими траулерами в Антарктической зоне.

Я записала рассказ о взятке пингином с некоторым недоверием, развенчав его до забавной сноски в будущей статье. А потом, зимой 2012 года, этот почти мифический пингвин был найден.

Той зимой Елена Т. (незримый соавтор этого рассказа), я и ризеншнауцер Бруна планировали посетить друзей в Украине. Напряжение между двумя странами было уже ощутимо, и Украина предъявляла России на удивление жесткие требования по ввозу домашних животных в страну. В частности, ветеринарные требования включали анализ собачьей крови на токсоплазмоз, который в Санкт-Петербурге можно было сделать только в Государственной ветеринарной лаборатории, расположенной в одном городском пространстве с Санкт-Петербургской ветеринарной академией.

Елена Т. повезла пробирку в лабораторию и три часа слонялась неподалеку без дела в ожидании результатов экспресс-анализа собачьей крови. Не имея чем себя занять, она гуляла по кафедрам академии, разглядывала плакаты на стенах и расспрашивала сотрудников института об их студенческой молодости и о пингвине, пока все-таки не встретила одного доцента, которая да, смутно припомнила, что где-то, когда-то в стенах ее родного института действительно был императорский пингвин. Если кратко: они вдвоем передвинули немало старого хлама, но нашли пингвина! В железном ящике, рядом с двумя чучелами породистых куриц и пластиковой моделью гуся без кожи.

Дела у пингвина обстояли совсем худо... Гораздо хуже, чем у его соседей по железному ящику. Курицы были невероятно грязны, но они еще имели сословную роскошь чучел, профессионально изготовленных таксидермистами на фабрике учебных пособий. А пингвин... Он уже потерял половину клюва, одно крыло и левый глаз. Его полуразвалившаяся голова была кое-как стянута медной проволокой, на взъерошенном теле имелись заметные залысины, проеденные молью и перьевыми клещами. Пингвин ветшал в шкафу, стоя с черным пластиковым мешком на голове, как приговоренный к смерти преступник, ожидающий казни.

К тому часу, когда пингвин был найден в железном ящике Еленой Т., самостоятельная кафедра птичьих болезней уменьшилась до пары рабочих столов в совмещенной кафедре болезней рыб, болезней пчел и болезней пушных зверей. Заслуженного профессора, знатока птичьих болезней на свете уже не было, и эпоха его знаменитой орнитологической коллекции закатилась вместе с ним: большие чучела орлов, журавлей, беркутов, глухарей и прочую роскошь давно растащили и распродали кого куда, а о маленьких пташках и вовсе спроса с сотрудников не было. Слепой облезлый пингвин без крыла и две самые заурядные курицы — вот и все, что осталось от знатной советской коллекции институтских чучел.

Времена, когда советские люди старательно выменивали, собирали, добывали и складировали «на всякий случай» все, что смог раздобыть и достать — закончились. Потому что сам советский тотальный дефицит закончился: единственное, чего всем стало остро не хватать — это денег. Постсоветские экономические рефор-



Илл. 1. Пингвин в шкафу в Ветеринарной академии. 2012. Из личного архива автора.

мы изменили материальные свойства дефицита и профицита, преобразовав их в сугубо денежные отношения. Пока пингвин стоял в металлическом шкафу с черным мешком на голове, большинство огромных заводов, которые делали Ленинград промышленным центром, были разорены и закрыты. Чего только эти заводы не выпускали ударными темпами! Огромные корабли и маленькие лодки, горные машины, танки и тракторы, микроскопы и фотоаппараты, противогазы и детские игрушки, шарикоподшипники и стеклянную смальту... Но в новых экономических реалиях гигантские антарктические траулеры оказались убыточной грудой железа, они заржавели в портах и позже были распилены и проданы на металлолом.

Централизованная система, прежде распределявшая госзаказы и обязательства промышленных предприятий, теперь стала распределять доступ к излишкам от прибыли продаж российской нефти на внешнем рынке. Цена на эту нефть в ту пору взлетела выше чем \$100 за баррель, и толстые денежные сгустки углеводородных излишков просачивались щедрой росой сквозь стенки магистральных трубопроводов, выстреливая нескончаемыми фейерверками пафосных народных гуляний. Шальная нефть проступила на обновленных фасадах столичных зданий лаковой пленкой отделки сорта «евростандарт», покуда разорялась и ветшала бедствующая деревня. Прибыль российских компаний, полученная от продажи углеводородов, имела пристрастие к пышным формам, но она была весьма бесчувственна ко всем тем, кто не имел доступа к трубе. Труба (и ее окружение) стала все больше слыть «коррупцированной», сочащиеся из трубы сливки распределялись в порядке старшинства родственных связей, взяток, откатов и старинных личных обязательств, но только не в силу оптимального развития национального бизнеса.

Коррупция, а не что иное, повсеместно обсуждалась в то время, когда Елена Т. нашла ветхого пингвина в забытом металлическом шкафу. Коррупция обсуждалась друзьями за ужином и незнакомцами в общественном транспорте, коррупция удобно выручала любое неловкое молчание приятной темой разговора, с которой каждый мог согласиться. Бездонная логика коррупции смешивала обвинения во взяточничестве и кумовстве с теориями заговора против неопределенных внешних сил: против Америки, демонов, арабов, сионистов, пятой колонны и международных корпораций. Левая и правая пресса равно выступали борцами против коррупции, неизменно обвиняя оппонентов в коррупционности, и сообщая все они обсуждали кризис в сфере образования. Некоторые упрямо настаивали на том, что в России еще существуют университеты, в которых оценки никогда и ни при каких обстоятельствах не мо-

гут быть куплены. Другие оспаривали такие заявления, так как сами в свой час оплатили взятками поступление в самые неподкупные вузы. Новое время породило и новую окраску застольных баек. Например, мой знакомый врач-невролог рассказала о ее собственных проблемах, которые ей пришлось решать в Медицинской академии: офицер, преподаватель военной кафедры, оптом принял взятку от всего курса за месяц вперед до экзамена. Он вписал оценки в зачетки впрок и уехал в летний отпуск, где скоропостижно умер, оставив свою бестелесную подпись для разбирательства в деканате с живыми участниками сделки.

Перестроечный коллапс ликвидировал сотни ленинградских предприятий промышленности и аграрного сектора, а вместе с ним — сотни тысяч рабочих мест и законы об обязательной занятости населения работой. Но высокая цена на нефть помогла устранить и этот инфраструктурный недостаток, создав рабочие места в частной охране — в ЧОПах, куда теперь нанимают мужчин, имеющих навыки военной службы. ЧОПы существуют, чтобы придавать вид охраняемых разным объектам: под их неусыпной охраной находятся детские сады, банки, автостоянки, заводы, школы и институты, включая и Ветеринарную академию.

Летом 2013 года Елена Т. пришла с большим рюкзаком в Ветеринарную академию ближе к вечеру, когда дневные лекции уже закончились. Она нашла искомое в том же пыльном шкафу (заранее оплаченное такси поджидало ее на улице), быстро сунула пингвина вниз головой в рюкзак и решительно вышла через проходную. Пингвин не поместился в рюкзак целиком — императорские пингвины велики ростом, и лапки пингвина предательски торчали наружу. Охранник предсказуемо остановил ее в проходной...

— Что несете в рюкзаке?

— Пингвина чучело несу.

— Разрешение на вынос пингвина имеется?

Невыносимая жара сжигала город вечером 17 июня 2013 года. И это всех изрядно раздражало. Елена Т. пояснила: нет, у нее нет пропуска для пингвина, она несет эту ветхую тушу на реставрацию, она просто курьер, никаких бумаг ей никто не дал, но если отсутствие удостоверения личности этого сгнившего пингвина столь беспокоит охранника, то она согласна останки пингвина немедленно вынуть и оставить на столе в комнате охраны вместе с императорскими власоедами, молью и перьевыми клещами. Сама Елена Т. при этом разговоре ярко пылала красными пятнами аллергии на щеках и безостановочно чихала. Охранник, взвесив свои ближайшие перспективы, принял мгновенное решение и открыл турникет.

В том же самом году, когда императорский пингвин был случайно пойман в рыбацкие сети и вместе с уловом рыбы заморожен в морозильной камере супертраулера, а далее прибыл в вагонехолодильнике в разделочный цех на ленинградский рыбоконсервный завод, я родилась в ленинградском родильном доме. Пока я росла, а промышленная инфраструктура Ленинграда рушилась, пока новая экономика гламурного потребления и денежного дефицита заменяла накопление материальных ценностей, пингвин становился все более и более бесполезным. Он стал настолько бесполезным и малопривлекательным, что даже избежал участи быть похищенным с целью продажи, в отличие от других чучел этой коллекции, разоренной дотла.

А потом, ровно три десятилетия спустя, мы встретились.

Утром, в день моего тридцатилетия, я обнаружила эту бесценную полуразрушенную птичью тушу на своем обеденном столе в питерской квартире. Пингвин был слегка почищен и обрамлен цветами. Теперь он назван Анатолием (в честь Толи, запевалы этой истории про пингвина), должным образом вымыт, обработан от клещей и тщательно отреставрирован искусным таксидермистом.

Беньямин замечает, что фабулы историй часто зарождаются и гнездятся в несоизмеримостях предметов обмена, цепляясь за грубые материальные тела вещей и за все те осколки и шероховатости, что неизбежно остаются после плавного перетекания их стоимости из одной в другую [Benjamin 1999]. Хорошие истории иной раз начинаются с чьих-то внезапных смертей, а выражи судьбы часто зави-



Илл. 2. Пингвин на прогулке. 2021, Всемирный день пингвинов. Из личного архива автора.

сят от ее собственных прихотей и шуток: например, от счастливой случайности наткнуться на труп императорского пингвина посреди промышленной ленинградской улицы далекой зимой 1983 года.

Я продолжаю историю императорского пингвина: теперь это рассказ о ценностях тех обменов, в которых пингвин был героем-участником, об эпохах, по которым он шествовал, о логике поступков в разные времена и о людях, которые его туда-сюда перемещали. О советских БМРТ, бороздящих просторы Антарктического океана в поисках источников дешевого белка, о грузчике-поденщике, о Толе-студенте, о профессоре-орнитологе, об охраннике на воротах Ветеринарной академии. И еще он — о Елене Т., которая подарила мне эти величественные мощи советского императора Антарктиды, моего ровесника и развенчанного короля институтской коллекции чучел.

Пусть эта история принесет славу всем тем, кто добыл его в разное время.

Список источников

1. [Каникулы в Простоквашино. 1980]— Каникулы в Простоквашино. Мультфильм. Реж. Владимир Попов. СССР, Союзмультфильм, 1980.

Список литературы

1. [Benjamin 1999]— *Benjamin W.* The Handkerchief // Selected Writings, Vol. 2, Part 2. Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999. P. 658–661.
2. [Kock 1992]— *Kock K.-H.* Antarctic Fish and Fisheries. New York: Cambridge University Press, 1992. 359 p.
3. [Lammi 1987]— *Lammi E.* Soviet Fishing Threatens Antarctic Sealife. United Press International. 4.03.1987.
URL: [link](#) (accessed: 15.02.2022).
4. [Ledeneva 1998]— *Ledeneva A.* Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking, and Informal Exchange. New York: Cambridge University Press, 1998. 256 p.

[Ксения Черкаева](#)
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербург),
Департамент истории,
старший преподаватель
xenia.cherkaev@gmail.com

[Xenia Cherkaev](#)
National Research University
“Higher School of Economics”
(St. Petersburg),
Department of History,
Senior lecturer
xenia.cherkaev@gmail.com

АВТОРАМ

Приглашение к публикации

Мы принимаем ранее не публиковавшиеся работы студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, посвященные исследованиям в области филологии, истории, антропологии и других гуманитарных наук. Если ваша статья подходит под темы ближайших выпусков, заполните эту форму. Мы свяжемся с вами по почте и обсудим детали нашего дальнейшего сотрудничества.

Если у вас нет готовой статьи, но есть отличная идея, заполните эту форму. Опишите ваш материал и методы исследования, примерную структуру будущей статьи. Мы напишем вам письмо, в котором расскажем, насколько редакция заинтересована в таком материале, или предложим, как можно доработать идею, чтобы статья лучше подошла для тематического выпуска.

Если тема вашей статьи не вписывается в анонсированные номера, но вы все равно хотите опубликоваться — заполните последний раздел той же формы, опишите кратко содержание вашей статьи, и редакция обязательно рассмотрит вашу заявку. Возможно, сейчас мы как раз планируем сделать выпуск по вашей теме в следующем учебном году.

Отобранные редакцией статьи проверяются на плагиат, а затем проходят процедуру двойного слепого рецензирования. После рецензирования статья может быть принята к публикации без изменений, возвращена автору для доработки или отклонена. На заключительном этапе проводится редактура и корректура рукописи, все правки обязательно обсуждаются с автором.

Вы можете задать любые вопросы, написав нам на почту: svoimi.slovami.journal@gmail.com.

Правила оформления статей

Текст статьи должен быть написан на русском или английском языке. Объем оригинальной статьи должен составлять не менее 20 000 и не более 40 000 знаков с пробелами (включая примечания, список источников и библиографический список).

Используемый текстовый редактор MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1.5, поля 2 см со всех сторон, отступ в начале абзаца 1.25, выравнивание текста по ширине.

Ссылки на литературу внутритекстовые, в квадратных скобках. Например: [Иванов 2020: 15]. На архивные источники: [ЦГА. Ф. 148. Оп. 1. Д. 84. Л. 1–2об]. Допускается наличие необходимых примечаний. Все примечания оформляются как концевые, при этом внутри текста указывается порядковый номер примечания в квадратных скобках. Например: [1].

При желании автор может выразить благодарность своему научному руководителю в первом примечании. Там же указывается участие в грантах, если это необходимо.

К статье прилагается список источников (в том числе архивных материалов) и библиография, двумя списками в алфавитном порядке. Русскоязычные источники ставятся в начало списка. Вот примеры оформления разнотипных позиций библиографического списка.

К статье могут быть добавлены иллюстрации, не более 5 изображений. Файлы в формате JPG или PNG, качеством 300 dpi. Обязательно указывайте автора и правообладателя, если изображение цитируется — то источник цитаты.

Наиболее актуальные требования к оформлению рукописей находятся на нашем сайте.

Другие варианты сотрудничества

В каждом выпуске журнала мы публикуем **переводы** статей зарубежных исследователей и исследовательниц. Если вы хотели бы перевести для журнала такую статью — оставьте заявку в **форме**, укажите, какими языками вы владеете и в какой области гуманитарного знания лежат ваши научные интересы. Как только у нас появятся переводческие задачи, требующие ваших навыков, мы с вами свяжемся. К сожалению, мы не можем просто взять и опубликовать перевод того, что вы выберете. Прежде всего, нужно получить разрешение на публикацию у владельца авторских прав, и эту задачу мы берем на себя. Именно поэтому, прежде чем начинать перевод, обязательно напишите в редакцию, и дальше мы расскажем вам, что делать.

Если вы хотите написать **рецензию** на книгу, взять **интервью** у ученого или сделать **репортаж** с культурного мероприятия — для вас открыт культурный раздел журнала. Статьи в нем публикуются только на сайте и не проходят процедуру слепого рецензирования. Мы с радостью примем новых авторов — напишите нам на почту svoimi.slovami.journal@gmail.com, приложите примеры ваших текстов и несколько тем, за которые вы готовы взяться.

В редакции журнала всегда есть, чем заняться. Напишите нам на почту svoimi.slovami.journal@gmail.com, расскажите о своих навыках, и мы попробуем найти им применение. Особенно ищем студентов, знакомых с версткой, с авторским правом или с литературным редактированием англоязычных текстов.

FOR AUTHORS

Call for Submissions

The journal accepts articles written by undergraduate, graduate and postgraduate students devoted to research in the fields of language and literary studies, history, anthropology and other humanities. Manuscripts submitted to In your own words (“Svoimi Slovami”) should not be under simultaneous consideration by any other journal, nor should they have been published elsewhere. If you have written an article and it fits within the aims of the announced topic of one of the next issues, please fill out this form ([link](#)). We will contact you to discuss the possibility of cooperation.

If you have not written an article yet, but do have a striking idea for it, fill out this form ([link](#)). In it, describe your idea, subject matter and research methods, as well as an approximate structure of the future article. We will let you know if we are interested in such an article, or suggest how to work on the idea so that the article fits better into the thematic issue.

If the topic of your article does not fit for our announced issues, please fill out the last section of the form ([link](#)). In that section, briefly describe the content of your article, and the editors will consider your application. That will be exceedingly valuable for our planning of the topics for the next issues.

Articles selected by the editors undergo plagiarism checking and double-blind peer review procedure ([link](#)), according to the results of which the article can be accepted for publication without changes, returned to the author for revision, or rejected. After this, editing and proofreading take place. All the alterations are made after negotiation and getting agreement from the authors.

If you have any questions left, feel free to write to us at: svoimi.slovami.journal@gmail.com.

Manuscript Submission Guidelines

The article should be written in Russian or English. The manuscript should be no less than 20,000 and no more than 40,000 characters (including spaces, as well as footnotes and a reference list). The text editor that must be used is MS Word, the font is Times New Roman, font size is 12, line spacing – 1.5, margins – 2 cm on all sides, indentation at the beginning of the paragraph – 1.25; text is left-aligned.

If your article is written in English, please format your paper in Chicago style (CMOS Author-Date). Please consult [The Chicago Manual of Style](#). You might also find it helpful to use the [guide](#) by Purdue Online Writing Lab.

If your article is written in Russian, consult the Russian version on our website ([link](#)).

If desired, the author can express gratitude to their supervisor in the first note. There the author also specifies any sources of funding (if applicable).

The article is accompanied by a reference list in alphabetical order. You will find examples of the formatting of some resources here ([link](#)).

Illustrations (no more than 5 images) can be added to the article – JPG or PNG file format; 300 DPI. Be sure to indicate the author and copyright holder, and if the image is cited – the source of the citation.

You can always find the most relevant submission guidelines on our website ([link](#)).

Other Forms of Collaboration

In each issue of the journal, we publish **translations** of articles by foreign researchers. If you would like to translate such an article for the journal (from any language to English or Russian), please, fill out the form (**link**) where you indicate which languages you can translate from and in what area of humanitarian knowledge your scientific interests lie. As soon as we have a task that requires your skills, we will contact you. Unfortunately, we cannot just publish a translation of whatever you choose. First of all, you need to obtain permission from the owner of the copyright, and we take on the task of negotiation. This is why, before starting your work on the translation, be sure to contact the editors.

If you would like to prepare a **book review**, an **interview** with a researcher or **reporting** from a cultural event, you might be interested in writing for the cultural section of the journal. Articles in it are published only on the website and do not go through the blind peer review procedure. Please, write to us at **svoimi.slovami.journal@gmail.com**, attach samples of your writing and several topics that you are ready to work with.

The editorial office of the journal always has something to do. Write to us at **svoimi.slovami.journal@gmail.com**, tell us about your skills, and we will try to find an option of engagement for you. We are especially looking forward to working with students who are familiar with layout design, copyright regulations or literary editing of texts in English.

